

ЛОГОС #3 (87) 2012

ФИЛОСОФСКО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

издается с 1991 г., выходит 6 раз в год

Учредитель Фонд «Институт экономической политики
им. Е. Т. Гайдара»

Главный редактор *Валерий Анашвили*

Редакционная коллегия: *Александр Бикбов, Илья Илишев,
Дмитрий Кралечкин, Виталий Куренной* (научный редактор),
Михаил Маяцкий, Яков Охонько (ответственный секретарь),
*Александр Павлов, Николай Плотников, Артем Смирнов,
Руслан Хестанов, Игорь Чубаров*

Научный совет: *С. Н. Зимовец* (Москва), *С. Э. Зуев* (Москва),
Л. Г. Ионин (Москва), *† В. В. Калинин* (Вятка), *М. Маккинси* (Детройт),
В. А. Мау (Москва), *Х. Мёкель* (Берлин), *В. И. Молчанов* (Москва),
А. Л. Погорельский (Москва), *Фр. Роди* (Бохум), *А. М. Руткевич* (Москва),
С. Г. Синельников-Мурылев (Москва), *К. Хельд* (Вупперталь)

Номер подготовлен при участии Центра современной
философии и социальных наук Философского факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова

Выпускающий редактор *Елена Попова*

Дизайн и верстка *Сергей Зиновьев*

Корректор *Юлия Николаева*

Редактор сайта *Анна Григорьева*

Address abroad: "Logos" Editorial Staff. Dr. *Nikolaj Plotnikov*
Institut für Philosophie Ruhr-Universität Bochum
D-44780 Bochum. Germany. nikolaj.plotnikov@rub.de

E-mail редакции: logosjournal@gmx.com

Сайт: <http://www.logosjournal.ru>

Facebook: <https://www.facebook.com/logosjournal>



Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-46739 от 23.09.2011

Подписной индекс 44761

в Объединенном каталоге «Пресса России»

ISSN 0869-5377

В оформлении обложки использована
работа *Вадима Жадько*

Публикуемые материалы прошли процедуру рецензирования
и экспертного отбора

© Издательство института Гайдара, 2012

<http://www.iep.ru/>

Отпечатано в типографии

. Тираж 1000 экз.

СОДЕРЖАНИЕ

- 3 Георгий Дерлугьян. Что социолог может толком сказать о насилии? **Контр-тезисы**
- 9 Инна Кушнарева. Кот и Cute

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ

- 18 Ханна Арендт. Традиция политической мысли
- 36 Майкл Уолцер. Философия и демократия
- 60 Юн Эльстер. Рынок и форум: три разновидности политической теории

ПРАКТИКИ ПЕРЕВОДА

- 88 Ибон Урибарри. Немецкая философия в Испании XIX столетия: восприятие, перевод и цензура на примере Иммануила Канта
- 105 Сергей Тюленев. Что перевод системе? Что ему она?
- 131 Андрей Азов. К истории теории перевода в Советском Союзе. Проблема реалистического перевода
- 153 Екатерина Кузнецова. Способы идеологической адаптации переводного текста: о переводе романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол»

К ДИСКУССИИ

- 172 Вячеслав Данилов. У дверей гамбургского трибунала над переводчиком

КРИТИКА

- 191 Дмитрий Бовыкин. Фундамент «нового государства»
- 199 Вадим Россман. Лебединые песни капитализма
- 207 Александр Павлов. Где работают аргументы *ad hominem*
- 216 Аннотации / Summaries
- 221 Авторы / Authors

Что социолог может толком сказать о насилии?

КОНТРТЕЗИСЫ

ГЕОРГИЙ ДЕРЛУГЬЯН

«Смешались в кучу...»
(Из классики)



ОРГАНИЗАТОРЫ одной из недавних конференций попросили участников высказаться на заявленную тему – о насилии во множестве его проявлений. Ниже следуют своего рода контртезисы, повторяющие предложенную повестку практически пункт за пунктом. Повестка весьма широка и, главное, очень показательна и типична для гуманитарных рассуждений наших дней. Повестка хороша тем, что в ней нет ничего провинциального. Она вполне могла бы обсуждаться в Париже или калифорнийском Беркли, либо в Петербурге и Нижнем Новгороде, хотя, сдается, едва ли в Токио и Пекине, о чем тоже интересно задуматься.

Насилие как таковое не может служить объектом даже абстрактного теоретизирования. Дебаты о сверхкатегориях, тем более взятых из политико-публицистического оборота, обычно заводят нас в бесконечную полемику и морализаторство. Аргументация в этом всем нам знакомом случае развивается вне привязки к контексту. А ведь там, в социальном контексте, и находится эмпирика, поддающаяся конкретному анализу, сравнению, и возможному обобщению.

Насилие не предмет, а отношение между людьми в совершенно разные эпохи и в разных ситуациях. Едва ли мы узнаем что-то вразумительное, сравнивая положение раба на плантации с положением современного гражданина, избитого на улице хулиганами или жертвы хакерской атаки в **Интернете**.

Насилие (агрессия) есть одна из стратегий поведения, судя по доступным на сегодня знаниям, заложенная в **биологической** генетике нашего вида — равно как заложена в ней любовь, друж-

ба и другие проявления альтруизма. Агрессия (как и альтруизм) есть способы добиться чего-то и почти чего угодно от других людей. Агрессия может выражаться в шлепанье ребенка ремнем, в повышении голоса на женщину («бабу») в семье или на подчиненного по службе, в базарной ссоре, а может и в сбрасывании напалма на города противника или во взрывах в метро. И все это — насилие. Кстати, многие виды спорта, вроде футбола и тем более бокса, есть ритуализованная форма насилия. Что мы надеемся получить, обобщая все это разом?

Тема очевидно модная среди интеллектуалов, обычно склонных лишь к самому символическому насилию, и просто среди современных образованных горожан, которые бывают скорее жертвами насилия. Насилие порождает в этих кругах чувства сильного отвращения и неприятия, вплоть до протеста.

Главное отличие, выявляемое среди основного электората республиканской и демократической партий США, как раз в отношении к насилию. Левые либералы американского типа не приемлют насилие, будь то война или массовая практика тюремного заключения нарушителей установленных социальных норм. Тем временем правый электорат мобилизуется вокруг элементарных призывов всыпать по первое число врагам американских ценностей за рубежом, внутренним воришкам и социальным иждивенцам, а также незаконным мигрантам. Правые ксенофобы обычно политически эффективнее на уровне агрессивных эмоций; однако их лево-либеральные оппоненты относятся к прогрессивной линии, восходившей с несколькими срывами со времен Просвещения. Эта линия достигла пика в 1968 году, но затем происходит не менее глубокий срыв. Какова будет дальнейшая динамика? Тема для изучения очевидно важная и далеко не только американская.

Здесь наглядно действует дюркгеймовский механизм генерирования социальной солидарности внутри своей группы, который проще всего достигается через конфликтное противопоставление хороших «наших» всем прочим «ненашим» и заведомо нехорошим группам. Поскольку был назван классик, давайте хотя бы пунктирно обозначим линию более плодотворных гипотез о насилии.

Дюркгейм в массе им написанного (и в массе заслуженно забытого) оставил нам, тем не менее, очень полезную общую теорию того, что вообще делает возможным человеческие сообщества. Дюркгейм убедительно связал человеческую склонность к насилию (конфликту) с не менее человеческой склонностью к совместному действию вплоть до альтруистически неравноценного обмена, т. е. самопожертвования как высшей социальной солидарности. В следующем поколении Норберт Элиас, по-

пытавшийся придать веберовскую историческую социологию фрейдистскому психологизму, встроил эволюцию форм насилия в исторический процесс «оцивилизации». Но и это была пока лишь полуметафора.

В наши дни Рэндалл Коллинз довел теорию Дюркгейма до применения в конкретной практике исследования через микросоциологию цепочек «ритуальных взаимодействий» Эрвина Гоффмана. В результате получилась спокойная, неочевидная и потому интересная социология микрооснов насилия в таких ситуациях, как драки в пивных, «безумные» массовые убийства в американских школах и кинотеатрах или отдавание предпочтений на американских выборах, о чем можно почитать в блоге Коллинза «Социологический глаз»¹.

Остается еще война, налоги и чудовищные, столь типичные именно для XX века, злодеяния, как массовые репрессии и геноцид. Здесь прежде всего следует вспомнить о Чарльзе Тилли, теоретике исторической эволюции государства, который показал на материалах протяженности европейского Нового Времени, что насилие и принуждение так часто встречаются в репертуаре государственной практики, потому что большей частью они приносят результат. Налоги в результате собираются, призывники отправляются на войну, революционеры содержатся в тюрьмах.

Другой макротеоретик, Майкл Манн (недавно наконец завершивший четырехтомную эпопею «Истоки социальной власти»), выделил свои развернутые «примечания» о войне, геноциде и терроре в три отдельные книги со знаковыми названиями: «Фашисты» (2004); «Бессвязная империя США» (2003) и «Темная сторона демократизации: к объяснению этнических чисток» (2005)².

Итак, площадка расчищена и позиции обозначены. Принципиальное замечание сводится к тому, что сравнивать надо не типы насилия, а типы ситуаций, в которых так или иначе применяется насилие. Далее можно кратко отвечать по пунктам предложенной повестки обсуждения.

Культ насилия. Науке неизвестен и не обнаруживается даже в самых жестоких воинских сообществах, вроде ацтеков или ранних казаков, ни в самых крайних культурах индуистской богини Кали. Даже в гитлеровском Рейхе культивировалось обожание фюрера, армии, войны ради выживания собственной расы, но не насилие как таковое.

1. См. URL: <http://sociological-eye.blogspot.com/>.

2. См. URL: <http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/mann/>.

Насилие в сфере трудовых отношений. Напротив, прекрасно известно и широко практикуется со времен всех первых цивилизаций и наверняка с возникновения рабства. Разгон забастовок полицией или бандитами — это безусловно насилие. Но забастовки и пикетирование — тоже форма насилия. Очевидно, здесь насилие есть либо форма контроля над рабсилой, либо способ разрешения трудовых конфликтов. Опять же исследовать надо конкретные трудовые отношения, а не возникающее из них насилие.

Законодательное ограничение насилия — основной признак государства по Максиму Веберу как монополии на легитимное (законное) принуждение (применение силы) на данной территории. Определение аналитически элегантно, ибо практикуется абсолютно всеми государствами: древними и современными, монархическими, демократическими, гибридными и тем более самыми тоталитарными. Если государственные органы не в силах контролировать насилие со стороны своих подданных, тем более сумевших вооружиться (в качестве мафии, сепаратистов или партизан), то такое государство, по определению, находится под угрозой слома.

Политическое насилие так широко практикуемо, потому что политика есть выбор противников и способов борьбы с ними (без обиняков, по определению рафинированного теоретика фашизма Карла Шмитта). Наиболее разрушительны насилие по поводу захвата власти внутри государств (революции и контрреволюции) и меж государств (война). Демократическая политика есть насилие в снятой и ритуализованной форме, как спорт есть война в снятой форме, т. е. возникают правила, по которым проигравшего не добивают, а дают шанс на реванш в следующем раунде, зато и проигравшие быстро признают поражение и не оказывают разрушительного сопротивления. Победа на выборах — это контролируемая революция без битвы окон во дворцах. Демократия аналогична договоренностям сверхдержав об ограничении ядерных вооружений: сдерживаем собственное насилие, понимая его самоубийственность.

Насилие в детско-юношеских коллективах не имеет ничего общего с политикой. Это один из распространенных (но не единственных) и почти биологических видов соперничества за статус в малой группе с неоформленной пока иерархией. Вчера малышей контролировали родители, а завтра они станут взрослыми и узнают, что кто-то из них банкир, мент или профессор, а кто-то водила маршрутки или люмпен. Юношеское насилие — культурная универсалия, встречается и в племени масаев, и в советской казарме, и в дормитории элитного Оксфорда. Пик везде приходится на 16–19 лет, а к 29 годам сходит на ноль,

если только парень не успел превратиться в профессионала насилия (бандита, воина, боксера).

Насилие в межэтнических отношениях. Здесь смешаны минимум три существенно разных конфликта: бытовая ссора по поводу личного статуса (сравнимо с подростковым соперничеством); экономическая конкуренция на рынке или рынке труда; политика, особенно при наступлении демократии и выборов, когда остро встает вопрос, кто граждане, а кто пришлые.

Насилие в киберпространстве есть соединение двух популярнейших жанров: научной фантастики и боевика. Насилие, конечно, всегда развлечение, особенно для тех, кто в нем не может серьезно пострадать (сравните с историями про Ваньку Каина или Аль Капоне).

Сексуальное насилие остается в центре идеологических дебатов вокруг моральных, религиозных и гендерных вопросов: главное тут «сексуальное» или «насилие»? Спор крайне горячий из-за сильнейшей моральной подоплеки. Потому же и довольно бесплодный. Проблема реальная, поскольку принуждение к сексу, от психологического и экономического давления до грубейшего изнасилования, встречается во всей истории человечества. (Что стоит за фразами исторических источников «подвергли разграблению и поруганию» или реалиями рабства?) Требуется, прежде всего, на массиве сравнительных данных из разных обществ и эпох установить, остается ли принуждение к сексу на одном уровне (к счастью, это сомнительно) или есть факторы сдерживания, и каковы они: ответное насилие (кровная месть семьи или государственная тюрьма), воспитание или, как предполагают радикальные феминистки, доступность альтернатив к сексуальному удовлетворению и умиротворению?

Насилие и наказания в семье несомненно варьируется в зависимости от эпохи, социального класса и от культуры к культуре. Видимо, в Китае одно, а в Саудовской Аравии другое. Тут уже можно строить теорию, например, как сила главы семейства варьируется вместе с его способностью устанавливать наказания.

Экстремизм — это просто разновидность политики на крайнем фланге, где обычные методы не приносят результатов. Экстремизм в идеологии или в деле (как в терроризме) тоже едва ли эффективен, но, несомненно, эффектен. Тут и надо, как мне кажется, искать пути к построению вразумительной теории.

Эмоционально-психологические формы насилия применяются, когда физическое насилие нежелательно или чревато ответом. Тут скорее применим кнут, нежели меч. Но разброс примеров слишком велик, чтобы создать теорию. Успешная мафия живет долго, если живет по принципу дозированной оптимизации

насилия, а не максимизации³. Психологическое подавление есть важнейшее условие (не) применения насилия как между людьми, так и между государствами.

Конструирование насилия. Боюсь, я вряд ли что-то могу сказать об этом, как и о *насилии символическом*, поскольку не очень пока представляю себе, что бы это означало на деле. Конечно, все социальное было сконструировано и, точнее, выстроено когда-то, как-то, кем-то и в каких-то целях — что не означает, будто цели были верно определены или достигнуты. Конструктивизм есть лишь еще одна программа историко-эволюционной реконструкции, что будет основным способом добывания научного знания об обществе, откуда будет такая наука. Я лишь сомневаюсь в полезности отделения ментальных, культурных и прочих гуманитарных процессов от их материальных условий, носителей и ресурсов.

Что отсутствует в тезисах к обсуждению. Бенедикт Андерсон в своих семинарах учил всегда выявлять не-сказанное в обсуждаемом тексте. Лакуны могут оказаться красноречивее самого текста. Среди множества реальных и менее реальных форм насилия, тезисы мало что говорят о войне и, напротив, о *ненасилии*. Тезисы конференции о насилии, сформулированные в 2012 году в России, очень похожи на тезисы, которые могли появиться в любой западной стране. Однако Россия (как и США) войны ведет; Лев Толстой остается русским писателем; и возможность революции в России остается на порядок выше, чем в любом западном государстве. Но со времен перестроечного дискурсивного переворота рассуждения о революции сфокусировались на осуждении революционного насилия. Куда реже можно найти суждения, тем более аргументированные сравнительно-историческим анализом, о том, как возникает политическое насилие справа и слева, как революции соотносятся с войнами и «человеком с ружьем», равно как и контрреволюции и реставрации соотносятся с людьми в погонах. И вовсе редко обсуждается, каким образом могло бы стать возможным ненасильственное изменение политических структур, запутавшихся в своих собственных конфигурациях и грозящих в какой-то момент рухнуть. Это не обязательно о России; это и о многих странах Запада.

3. См. работы Диего Гамбетта и Вадима Волкова.

Кот и Cute

ИННА КУШНАРЕВА



ИНТЕРНЕТ переполнен «котиками», как будто он — только средство для воспроизводства и трансляции этого мема. Котики, похоже, воспроизводят одного и того же «эгоистичного кота», размножающегося в лучах нашего умиленного внимания, но неизвестно, существует ли он в единственном числе. Откуда котики, зачем они в таком количестве? Слышнута ли когда-нибудь?

С одной стороны, котики, безусловно, множатся не сами по себе, а как часть культурной тенденции, которая известна уже довольно давно. Они стали главным воплощением *cute* — понятия, которое очень условно можно перевести как «миленький» или «хорошенький», хотя по большому счету оно, конечно, непереводаемо. Традиционно поставщиком *cute* была Япония (в которой он назывался «кавай»). Оттуда шли все эти инфантильные моды, игрушки и персонажи манг с огромными глазами и крошечными ротиком и носиком, все пушистое, трогательное, умилительное, (псевдо) невинное и (псевдо) наивное. Сейчас позиции японской культуры в культуре массовой поколеблены. Точнее, с одной стороны, она превратилась в достаточно узкую, специализированную субкультуру (можно даже сказать, что японская культура — единственная, которая совпадает с собой как с субкультурой). С другой стороны, на музыкальном рынке ее подвинули конкуренты, например южные корейцы с ярким и высокотехнологичным К-попом. Своя доходная статья по части *cute* имеется и у китайцев — панды. Тогда тот открытый *Wired*¹, культовым журналом гиков и венчурного хай-тек-капитала, факт, что многие из самых популярных видео с котиками происходят именно из Японии, можно объяснить

1. Lewis-Kraus G. In Search of the Living, Purring, Singing Heart of the Online Cat-Industrial Complex // *Wired*. Sept. 2012.

как компенсацию сократившегося производства *cute*: кажется, что теперь проще производить *cute* в натуральной форме, возможно даже, что уже произошел некоторый искусственный отбор, так что коттики — следующий этап эволюции котов, вытесняющий своих манга-предков. Вероятно, весь генетический материал Мару² был нарисован за десятилетия увлечения аниме.

Однако есть еще одна причина, по которой коттики нужны японцам. Поведение среднестатистического пользователя-японца в Сети разительно отличается от поведения большинства других пользователей. Отправившись в Японию знакомиться со знаменитыми котиками, прежде всего с котом Мару, залезающим в разные коробки, большие и малые, корреспондент *Wired* обнаружил, что пробить стену анонимности невозможно. Имя и место жительства хозяйки кота Мару скрывают. Кот законспирирован. Или, может, он работает под прикрытием — в конце концов, чем он еще занимается, если не «прикрывается»? Журналиста отфутболивали от японского агента хозяйки к американскому издателю (есть и такой), но он так ничего и не добился. Японцы сохраняют анонимность онлайн, стараются не выставляться и не высываться, не показывать лица, чтобы его не потерять. К тем, кто слишком увлекается саморекламой, набегают толпы троллей. И что самое главное, в Японии к избытку личной информации и личной истории работодателя до сих пор относятся с подозрением — он может сильно испортить карьеру. Котики становятся прокси или аватарами для тех, кто не может открыто встать перед камерой и, как весь остальной мир, снискать свои пять минут славы. То есть коттики прежде всего — это японский «анонимайзер», и вопрос в том, зачем он нужен всем остальным.

Японская тяга к анонимности отражается на стиле съемки. Мару снят длинными планами, с минимумом монтажа, без акцентов и спецэффектов, в минималистской обстановке, отстраненно и безэмоционально, с тем принципиальным невмешательством, которое так ценится в современной документалистике. Видео с Мару, в которых ощутим уверенный профессионализм и самоустранение автора, — противоположность *Lolcats*, разудалых, агрессивно-любительских и монтажных коллажей с надписями на искаженном «английском олбанском». В сюжетах с Мару присутствует намеренная повторяемость, граничащая с обсессивностью: кот залезает просто в коробки, потом в очень большие коробки, потом в коробки поменьше, совсем в маленькие, в которых ему не поместиться и не найти

2. См. URL: [http://en.wikipedia.org/wiki/Maru_\(cat\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Maru_(cat)).

убежища. Кот явно психотический — не ощущает границ своего тела и стремится изо всех сил вернуться в чрево матери. Видео с котом Мару — это кошачий артхаус.

* * *

В целом *cute*, очевидно, играет на грани смешения частного и публичного³. Как в случае с японцами, которые не в силах преодолеть жесткие границы между частным и публичным в «отсталом» японском **Интернете**, *cute* создает некоторую фальш-частность. Крупные корпорации уже давно заводят себе «прикольные» талисманы или меняют корпоративный стиль, чтобы он был *cute*, чтобы больше не отпугивать потребителя своими масштабами и величиной, а, наоборот, установить с ним доверительные, аффективные отношения. Величественное и возвышенное вышло из моды, все стремится быть *cute* — маленьким, трогательным, беззащитным. Интересно, что в первую избирательную кампанию Обама воспринимался именно как *cute* — чего совершенно невозможно сказать о нем сейчас⁴.

Американский культурологический журнал *Cabinet* предложил следующую родословную для *cute*:

Cute может рассматриваться как разбавленный вариант смазливового (*pretty*), которое является разбавленным вариантом красивового (*beautiful*), являющегося разбавленным вариантом возвышенного (*sublime*), являющегося разбавленным вариантом ужасного и пугающего⁵.

«Разбавителем», очевидно, может выступать рефлексия, вводящая различия в то, что ранее выступало монолитом. *Cute* как «разбавленная» красота сродни «смазливому» (возможный русский перевод для *cute*), отличающемуся от «красивого» назойливостью. В красоте есть объект и само качество красоты, которое на него проецируется, но в «смазливом» зазор между ними подчеркивается, даже выпячивается. В условно «классическом» прекрасном (скажем, кантовском) сама «работа» красоты в известном смысле мистифицируется: мы застигнуты красивыми объектами, но не понимаем, что они просто присвоены нашими познавательными способностями, уже окрашены нашими проектами. Граница между объектом и его красотой стерта. Тогда

3. Наиболее интересное на сегодняшний день исследование категории *cute* (а также некоторых других маргинальных эстетических категорий) см. в работе Сианн Нгаи: *Ngai S. Our Aesthetic Categories: Zany, Cute, Interesting*. Harvard: Harvard University Press, 2012.

4. *Wondolf J.* Addicted to Cute // *Vanity Fair*. Dec. 2009.

5. *Richard F. Fifteen Theses on the Cute* // *Cabinet*. Fall 2001. Issue 4: Animals.

как в *cute* и его одушевленном варианте — «смазливости» — подчеркивается то, что эти объекты «уже сделаны», чтобы произвести эффект красоты. Это некие полуфабрикаты прекрасного, которые ничего не скрывают. На каждый смазливый объект словно бы наклеена его собственная красивая маска — именно такое намеренное стирание отличия подчеркивает его. Мы опасаемся объектов, которые слишком явно подыгрывают нашему синтетическому аппарату, потому-то от *cute* так легко устать — котики притягивают взгляд, но при злоупотреблении начинают вызывать некоторое отвращение.

Чтобы получить эстетический объект с каким-то качеством, нужно, по законам современной эстетики, взять объект без этого качества и сыграть на различии. Так, цветы уже не могут выступать в качестве эстетически прекрасных объектов, потому что они просто красивые. Если сравнивать кошек и собак, то эксплуатация последних в качестве *cute*-объектов окажется географически ограниченной. Известно, например, что в иерархии материалов о животных британского таблоида *Daily Mail* на первом месте стоят именно собаки, на втором — обезьянки и только на третьем — кошки. Но это, по-видимому, чисто британская специфика. Собаки, в отличие от кошек, которые в реальности совсем даже не *cute*, а становятся таковыми в системе репрезентации, на самом деле хотят понравиться. Этологи обычно говорят, что собаки — *anxious to please* — почти так же, как все смазливое. А кошки не хотят понравиться, поэтому это качество можно им приписать и сыграть на этом диссонансе. Натуральная кошка возмутительна, как правило, тем, что она способна совсем ничего не демонстрировать. Для человека такое поведение всегда означает как «устранение» и «пренебрежение» (некая гордыня, позволяющая себе «не замечать»), но, конечно, это означивание не имеет отношения к кошке, и это еще более неприятно. Превращение кошек в котиков играет именно на этом различии между онтологическим пренебрежением, равнодушием и маской смазливости: мы можем обратить на себя внимание тех, кто совершенно не желает с нами коммуницировать, заставить их играть в наши репрезентативные игры. Но, кстати, кошки не всегда были *cute* и в репрезентации. В «Томе и Джерри» этим качеством наделен мышонок, а не нескладный гуттаперчевый кот. Мышонок Джерри — воплощение заложенной в *cute* манипулятивности и умения играть на чужих слабостях.

* * *

Cute — попытка замаскировать и замять насилие хотя бы в его минимальной коммуникативной форме — как равнодушный отказ от коммуникации, который *вообще ничего не значит* (по-

тому что в случае с животными такого отказа, разумеется, нет и не было). Если вернуться к Японии, производство *cute*, начавшееся там в послевоенный период, было стратегией в отношениях с Америкой — стремлением позиционировать себя как слабого и безобидного младшего брата, а не врага или конкурента⁶. Тот, кто был выведен из сферы международной коммуникации (и едва ли не уничтожен физически), получил возможность нравиться, но без особого ущерба для собственного чувства самоуважения, то есть опять же через прокси, анонимайзер. Но насилие все равно присутствует в этом понятии как фон. В отношении к объекту, который *cute*, одновременно наблюдаются и нежность, и агрессия, порой ведущие к инвалидизации. Кажется, что мы неявно стремимся наказать *cute*-объект за то, что в нем запечатана сама разница между предельным равнодушием и назойливым стремлением захватить наш взгляд. Например, существовал популярный блог *You can't make it up* с фотографиями разнообразных животных в гипсе — преимущественно, конечно, котиков. Немалый процент видео с котиками представляет их злоключения: например, нарезка лучших прыжков и падений, влекущих за собой разрушения разной степени тяжести — от обрушившихся полок или посуды до накрывшего котика сверху ведра или мусорной корзины. Что если котики должны инвалидизироваться именно для того, чтобы вырваться из своей изоляции, прийти к доктору Айболиту, с которым у них есть общий язык?

Важным источником *cute* всегда были дети. *Cute*, по сути дела, и есть инфантилизация вполне серьезных вещей, таких, например, как корпорации. У этой эстетической категории даже есть заезженное объяснение в духе поп-эволюционизма. Любовь ко всему маленькому, хорошенькому и беззащитному — проявление родительского инстинкта: должно возникать неодолимое желание согреть и защитить. Важная составляющая любой *cute*-коллекции в агрегаторах контента, специализирующихся на «фишках» и «приколах», — фотографии детенышей. Котики, даже взрослые, как будто никогда так по-настоящему и не вырастают. Так, маленькое и слабенькое получает неожиданное эволюционное преимущество — как панды, на сохранение которых уходят огромные деньги, хотя мало кто (пусть среди презервационистов такие и есть) задается вопросом, нужно ли тратить именно на их охрану в ущерб другим, не настолько «спектаклярным» биологическим видам. Но если ты не *cute*, то у тебя

6. *Kelts R. Japanamerica: How Japanese Pop Culture Has Invaded the U. S. NY: Palgrave Macmillan, 2007.*

нет шансов — возможно, вместе с человеком выживут только те виды, которые уже *cute*.

Однако все, что связано с ребенком, сегодня все чаще оказывается под подозрением. Борьба с педофилией и распространением детской порнографии может со временем наложить запрет на целый ряд образов и репрезентаций, которые раньше казались в культуре совершенно нормальными. Сайт с животными в гипсе есть, но возможен ли такой же сайт с детьми? Да и вообще кто сегодня станет по почте обмениваться ссылками на фотографии детей, если только это не собственные дети? Кем заменить ребенка? Тем более, если принять прямолинейный эволюционизм, как наложить запрет на изображение всего «маленького»? Как определять размер репрезентации?

Домашние животные, особенно собаки и кошки, всегда психологически были заместителями детей. Теперь им приходится замещать их и в репрезентации. В фильме Миранды Джулай «Будущее» относительно молодая, 30-летняя пара собирается взять кота из приюта. Кота отдают не сразу, а через месяц. Пара решает прожить этот месяц, как будто он последний в их жизни, ибо дальше их ждет груз тяжелой ответственности. Они уходят с работы, запираются дома, спешно бросаются искать себя и смысл жизни, в конце концов почти расходятся и воссоединяются в последнюю минуту возле дверей приюта. Но опаздывают — несчастный котик (с забинтованной лапкой, кстати), чей трогательный «голос» за кадром все это рассказывает, умер, их не дождавшись. Понятно, что речь на самом деле о так и не обретенном ребенке. Ход вроде бы простой и тривиальный, но представленный в фильме так, что вызывает у зрителя ощущение беспокойства и неудобства. Как будто он указывает на то, что теперь ребенок — это тот, кого нельзя называть.

Есть такой плагин, который, если самовлюбленные родители достали вас фотографиями своих младенцев в ленте фейсбука, позволяет едва не автоматически заменять их на что-то другое — ну, например, на котиков. Игрушка, задуманная как сервис для мизантропов, может оказаться вполне эффективным идеологическим инструментом: чтобы бес не попутал, детей лучше не видеть, сделать их слепым пятном. Безопаснее умиляться котикам, тем более с учетом того, как ловко японцы приспособили их для сохранения собственной анонимности. Котики выступают как демонстрация лояльности и благонамеренности, не обязательно политической. *Cute*, как положено, выполняет здесь свою функцию прикрития и камуфляжа.

Котики, если не вытесняют порно, то, по всей видимости, могут потягаться с ним в привлечении трафика, что само по себе достойно внимания: оказывается, что такой — вроде бы слабый

и маргинальный — аффект, как умиление *cute*, побеждает или почти побеждает мощный драйв. Но для *cute* есть реальная опасность: его детскость, соблазнительная и соблазняющая, рассчитанная не на детей, а на взрослых, может сослужить ему дурную службу. Не случится ли так, что и котики окажутся под подозрением, поскольку известно, кого они на самом деле замещают?

* * *

Не так давно в **Интернете** нашумела серия фотографий, на которых с котиком позировали сирийские повстанцы. На агрегаторе интернет-приколов *Buzzfeed* фото сопровождалась подписью в стиле: «Ну разве не прелесть? Даже в тяжелое военное время люди находят способ проявить любовь к животным». Первый вопрос, который приходит в голову, когда видишь фото с котиками — эти или, например, блог на *Tumblr* с подборкой фотографий знаменитостей с кошками (Сартр с котом): настоящее оно или это фотошоп? Вот он — новый фронт теории фотографии: не документальное против постановочного, а настоящие (котики) против котиков в фотошопе. Действительно ли можно подобрать сколько-то фотографий знаменитостей, в том числе вполне солидных и заслуженных, на которых они снялись с котами? В этом случае котики еще могли бы быть бартовским пунктумом — истиной, которая может лишь случайно мелькнуть, попасть в объектив, но тут же улетучиться, если намеренно направлять усилия на то, чтобы ее уловить — «постить котиков». Бродил ли худой рыжий котенок среди бородатых людей с автоматами (подтверждая простодушный тезис о том, что найдется время для любви к животным), захотели ли они сами с ним попозировать или же это циничная манипуляция, когда серьезная тема вставляется в рамку *cute*, так что ко всему добавляется иронический метауровень? Вскоре, по-видимому, придется рассуждать о границах репрезентации котиков: едва ли долго придется ждать на каком-нибудь агрегаторе подборку «Котики в Аушвице». Вопрос: что делать, когда такая появится, — подводить статью об экстремизме или нет?

* * *

Эволюционное объяснение котиков пропускает важный момент: если котики скрывают детей, то, возможно, именно потому, что дети скрывают котиков, то есть тот факт, что в какой-то момент в них слишком много опасного и нечеловеческого, «иного» (более прямолинейный разворот этой темы — традиционный хоррор с участием младенцев и маленьких детей). Если *cute* — это в конечном счете попытка установить минимальные коммуникативные условия (пусть даже предельно фальшивые) в ситуа-

ции, когда они невозможны (например, когда говорить, собственно, не с чем), тогда логика детей как «истинного» референта *cute* может быть развернута в совсем другом направлении, свободном от эволюционного прагматизма самособирающихся человеческих автоматов.

У колыбели или коляски можно услышать взрослых, которые говорят: «Родился мальчик, похож на отца». Говорят чаще сами родители, хотя фраза явно бессмысленна, и ждут повторений от окружающих и даже восторгов («удивительно похож!», «просто поразительно!»). Ребенок в таких случаях выступает как экранизация родителей, сделанная так, что высказывания о нем идеологичны вдвойне. С одной стороны, на кого он еще может быть похож, если не на родителей, если это действительно их ребенок? С другой стороны, только родители видят в нем то, чего нет, считая его удачным фильмом, снятым по сценарию собственных генов, однако ясно, что значительная часть не вошла в кадр либо исказилась онтогенетическим рендерингом, и им просто надо додумывать то, чего нет. Собственно, отношение фенотипа и генотипа можно представить как отношение экранизации, а родители выступают в качестве тех, кто пытается обмануть всех остальных (слепцов по определению) своим всевидящим якобы зрением, то есть недостаточно родить ребенка, надо, чтобы он был с самого начала защищен визуальным экраном (возможно, ребенок, ни на кого не похожий, слишком легко виртуально десоциализируется).


Родители занимаются своеобразными гештальтскими экспериментами, понимая, однако, что гештальт, поставляемый ими, удерживается только в их присутствии их же собственными силами, то есть, так сказать, «на ручном управлении» (простой наследственности, таким образом, недостаточно — дети могут походить на тех, кто удерживает их гештальт чисто ситуативно) — в отличие от стандартного гештальта, сажающегося как влитой на определенное визуальное пятно, так что снять его с этого «исходного» пятна уже нельзя. Родители — это просто те, кто играет в двойную игру: с одной стороны, надо делать вид, что это пятно уже сложилось, причем невидимым для всех остальных образом, а с другой — ждать, когда гештальт действительно сядет на пятно, приклеится к нему. Большинство «развивающих» практик, образовательных и т.п., являются в этом смысле не более чем продолжением того же гештальтского упражнения в отсутствие собственно гештальт-эффекта. Гештальт-мичуринство, прикрывающееся натуральным порядком генов и наследственности. Собственно, помимо дурного критического жеста (родители видят в ребенке то, что позволяют им увидеть их родственные отношения, то есть практикуют некий

визуально-критический непотизм и клиентелизм или даже своеобразную видеокоррупцию), в этом есть и доля некоего магического импринтинга: стадия зеркала наоборот, на которой родители пытаются увидеть в ребенке себя, пока в нем себя не увидел — не дай бог — кто-то другой.

В эстетическом плане такая процедура представляется не как подражание, а именно как фальшивое, безапелляционное признание подражания, которое по отношению к стандартному мимесису выглядит неким рефлексивным и магическим удвоением (мы готовы увидеть подобие только для того, чтобы оно сложилось позднее). Но в то же время это элементарная эстетическая процедура, в которой набросок подражания того, что еще ничему не подражает, отвечает именно нашим коммуникативным или синтетическим требованиям. Это действительно крайне разбавленная и рефлексивная эстетика, но она же, возможно, в генетическом плане наиболее примитивна. Подобный импринтинг — не более чем первопроизводство *cute*, поспешное и топорное отвержение того, что на какой-то стадии дети (и их субституты) не только находятся вне коммуникации, но и легко заменимы, серийны (отсюда невротический страх подмены). Чтобы они превратились в настоящих детей, из них еще надо сделать котиков, ввести их, хотя бы условно и без их ведома, в пространство, где случайный изгиб на обоях должен казаться улыбкой, но для этого сначала надо увидеть на их лице улыбку или хотя бы как-то ориентированный и обращающийся взгляд. Известный психологический факт, состоящий в том, что мы в любой каракуле (вроде впадин на поверхности Марса) готовы видеть человеческое лицо (или, скорее, рожицу), объясняется поэтому тем, что мы видим не лицо, а именно *сам cute*, самого главного котика, без которого и от которого никуда не деться.

Традиция политической мысли¹

ХАННА АРЕНДТ

 ОГДА мы говорим о конце традиции, мы явно не отрицаем того факта, что многие люди — возможно, даже большинство (хотя лично я в этом сомневаюсь) — все еще живут стандартами традиций. Но важно, что, начиная с XIX века, традиция при столкновении со специфическими современными вопросами хранит молчание, а политическая жизнь, везде, где она приняла современные формы и прошла через реформы индустриализации и утверждения всеобщего равенства, все время меняет собственные стандарты. Эта ситуация была прочувствована великими историческими пессимистами, найдя свое величайшее, хотя и не слишком драматичное выражение в работах Якоба Буркхардта. Самое интересное, что первые предзнаменования грядущей катастрофы — не в физическом или строго политическом смысле, но в смысле разрыва в традиционной преемственности — мы обнаруживаем в середине XVIII века у Монтескье, а чуть позднее у Гёте. Ни Монтескье, ни Гёте никто никогда не считал глашатаями рока, но при этом они достаточно недвусмысленно высказывались по данному вопросу.

В работе «О духе законов» Монтескье пишет: «Большая часть народов Европы еще управляется обычаями. Но если вследствие долгого злоупотребления властью или крупной победы деспотизм утвердится там в каком-нибудь пункте, то никакие нравы и климаты не устоят перед ним». Монтескье видел опасность в том, что, что в обществе XVIII века традиции остались единственными стабилизирующими факторами, а законы, которые, согласно ему, «управляют действиями граждан», стабилизируя тем самым пространство политики подобно тому, как традиции стабилизи-

руют общество, утратили свою весомость. Чуть менее тридцати лет спустя Гёте в письме делился с Лаватером схожими наблюдениями: «Подобно большому городу наш нравственный и политический мир подрывается подземными дорогами, подвалами и канализациями, об устройстве и состоянии которых никто не беспокоится; однако те, кто знает что-то об этом, отнюдь не удивятся, если однажды здесь или там земля разверзнется, повалит дым, а из дыры послышатся голоса». Обе цитаты относятся ко временам, предшествующим Французской революции, понадобится еще более ста пятидесяти лет, покуда традиции европейского общества окончательно не обвалятся и подземный мир не выступит на поверхность. Тогда его странные голоса наконец-то будут услышаны в политическом концерте цивилизованного мира. На мой взгляд, лишь с этого момента можно утверждать, что современная эпоха, начавшаяся в XVII столетии, действительно породила современный мир, в котором мы обитаем по сей день.

В природе традиции быть принятой и усвоенной на уровне здравого смысла, приспособляющего особые и идиосинкразические данные, получаемые нашими органами чувств, к миру, который мы все вместе населяем и делим друг с другом. В таком понимании здравый смысл обозначает следующее: в условиях плюрализма люди проверяют имеющиеся у них особые чувственные данные, соотнося их с общими данными, имеющимися у других (так, зрение слух и другие чувственные восприятия относятся к свойствам человека в его сингулярности, они гарантируют, что он может получать информацию сам по себе: для восприятия как такового ему не нужны другие). Когда говорится, что плюральность или общность человеческого мира представляют собой особые зоны компетентности здравого смысла, то имеется в виду, что последний функционирует главным образом в общественной сфере морали и политики и что именно они пострадают, если здравый смысл и его само собой разумеющиеся суждения перестанут функционировать и обесмыслятся.

Исторически здравый смысл — это такое же творение Рима, как и традиция. Не то чтобы греки или иудеи были лишены здравого смысла, но лишь римляне развили его до такой степени, что он стал высшим критерием в управлении общественно-политическими делами. Вместе с римлянами память о прошлом стала делом традиции, и именно в контексте традиции здравый смысл получил наиболее важное политическое развитие. С тех самых пор здравый смысл оказался увязан с традицией, он оберегался ею. Поэтому всякий раз, когда традиционные стандарты утрачивали смысл и переставали служить общими правилами, под которые могли быть подведены все или большинство конкретных случаев, здравый смысл с неизбеж-

1. Перевод выполнен по изданию: © Arendt H. The Tradition of Political Thought // Arendt H. The Promise of Politics. NY: Schocken, 2005. P. 40–62.

ностью атрофировался. Точно так же и прошлому, как памяти о том, что нас объединяет в смысле общности происхождения, начинала в этом случае грозить опасность забвения. Увязанные с традицией суждения здравого смысла извлекали из прошлого и спасали все, что было концептуализировано традицией и оказывалось по-прежнему применимо в текущих условиях. Подобный «практический» метод припоминания, используемый здравым смыслом, не требовал от нас никаких усилий, он давался нам как наше общее наследие. Следовательно, атрофия здравого смысла тут же приводила к атрофии чувства прошлого, она инициировала ползучее и непреодолимое нарастание пустоты, распространяющей бессмыслие на все сферы современной жизни.

Таким образом, в значительной степени само существование традиции привело к ее опасному отождествлению с прошлым. Это отождествление, укорененное в здравом смысле, проявилось в чрезвычайной согласованности и цельности традиционных категорий, выдержавших столкновение со многими иногда очень радикальными переменами. Разве не впечатляет тот факт, что они пережили упадок Греции и подъем Рима, а затем закат Римской империи и свое полное поглощение (по крайней мере, в том, что касается политической мысли) христианским учением? Вышеперечисленные радикальные перемены из нашей истории куда более величественны, чем все случившееся со времен начала современной эпохи (хотя в этом плане мы очень плохие судьбы), несмотря даже на то, что политические и промышленные революции XVIII–XIX веков бросили вызов всем традиционным нравственным и политическим стандартам. Размах современных революционных изменений обретает значимость, только если рассматривать его в контексте судеб традиции, но никак не политических бурлений нашей многовековой истории.

Конец традиции явно не будет ни концом истории, ни концом прошлого. История и традиция — это не одно и то же. У истории есть много концов и много начал, каждый конец — это новое начало, а каждое начало — конец того, что было прежде. Более того, мы можем датировать нашу традицию с большей или меньшей точностью, но мы не можем датировать нашу историю. Современное историческое сознание — и едва ли хоть когда-то в прошлом было что-то напоминающее его — зародилось и получило свое законченное выражение не более двух столетий назад, когда старая практика исчисления столетий от одной стартовой точки — основание Рима или год рождения Христа — была оставлена в пользу исчисления времени вперед и назад от первого года².

2. См.: *Cullmann O. Christ and Time. Philadelphia: Westminster Press, 1950.*

В этой практике значимо не то, что рождение Христа представляет собой поворотный момент истории (так оно виделось во все прежние столетия, однако это не приводило к современной хронологии), но то, что прошлое и будущее отныне делятся бесконечно, можно безгранично углубляться как в прошлое, так и в будущее. Подобная двойная перспектива бесконечности, точно соответствующая нашему вновь учрежденному историческому сознанию, не просто противоречит библейскому мифу о творении, но и упраздняет куда более древний и общий вопрос о том, может ли само историческое время иметь начало. В самой своей хронологии современность провозгласила потенциальное земное бессмертие для человечества.

Лишь относительно небольшая часть этой истории была концептуализирована в нашей традиции, ведь любой опыт, мысль или деяние, не вписывающиеся в ее основополагающие категории и стандарты, сформировавшиеся в момент ее самого зарождения, оказываются под постоянной угрозой забвения. Или же если данная опасность была преодолена за счет поэзии или религии, то оставшееся неконцептуализированным оказывается обреченным на непроявленность в философской традиции, а значит (неважно, сколь почетно и набожно оберегаемое в ином смысле), на то, чтобы оставаться без того основополагающего прямого влияния, которое может оказать и пронести через столетия лишь традиция, но никак не всеобъемлющая власть красоты или всепроникающая сила набожности. Ущербность нашей традиции по отношению к нашей истории в случае с традицией политической мысли оказывается еще более очевидной по сравнению с традицией философии в целом. Можно с легкостью составить длинный перечень тех политических переживаний западного человечества, которые так и не получили прописки в традиционной политической мысли. Тут можно упомянуть ранний дополисный опыт греков, относящийся к временам Гомера, с его пониманием величия человеческих дел и замыслов, что нашло свое отражение в греческой историографии. В начале своей работы Фукидид поясняет, что пишет историю Пелопонесской войны, так как, на его взгляд, она представляет собой «величайшее событие из имевших место в человеческой истории». Геродот ведет свой сказ не только для того, чтобы спасти от забвения все, что было создано людьми; он также пытается сделать так, чтобы великие и чудесные деяния не остались без восхваления. Восхваление необходимо в силу хрупкости человеческого действия, которое единственное среди достижений человека является еще более мимолетным, чем сама жизнь; действие целиком зависит от памяти в хвалебных речах поэтов или в записях историков, работам которых приписыва-

лась большая долговечность (хотя никто не предполагал, что им суждено стать более великими, чем сами деяния).

Герой, «делатель великих дел и сказитель великих слов» (так говорили про Ахиллеса), нуждается в поэте — не в пророке, но в провидце, — божественный дар которого видит в прошлом то, что достойно пересказа в настоящем и будущем. Это дополисное греческое прошлое служит источником греческого политического словаря, который до сих пор жив во всех европейских словарях; однако традиция политической философии, начавшаяся в момент угасания полисной жизни греков, не могла ни сформулировать, ни категоризировать этот ранний опыт в понятиях полиса. Результатом этого стало то, что само наше слово «политика» является производным от слова «полис», оно фактически обозначает именно эту особую форму политической жизни, наделяя ее своего рода универсальной значимостью. Что касается таких слов, как *ἀρχεῖν*³ и *πράττειν*⁴, то до нас дошли лишь отголоски их изначального смысла; так что всякий раз — независимо от того, знаем мы об этом или нет, — когда мы говорим или думаем о действии, самом важном, возможно, центральном понятии политической науки, мы имеем в голове систему категорий из целей и средств, правящих и управляемых, интересов и нравственных стандартов. Данная система обязана своим существованием традиционной политической философии, но в ней едва ли найдется место для духа решимости приступить к некоему делу и совместно с другими довести его до конца; именно этот дух некогда оживлял слова *ἀρχεῖν* и *πράττειν*. В период классической Греции слово *ἀρχή* имело два смысла — «начало» и «правление», но еще раньше оно обозначало, что начавший является естественным лидером всего дела, требующего *πράττειν* последователей для своего завершения.

Дело в том, что, как полагалось, лишь людские дела обладают особым величием, поэтому никакая «цель», никакой высший *телос* не требовался и не мог быть использован для их оправдания. Ничто не могло быть более чуждым для дополисного переживания человеческого действия, чем аристотелевское определение *πρᾶξις*, ставшее официальным в нашей традиции: «по отношению к прекрасному и непрекрасному действия отличаются не столько сами по себе, сколько тем, какова их конечная цель и ради чего они совершаются»⁵. Отличие тех вещей, которые даны природой как часть космоса и как сам космос, от действий человека, обязанных своим совершением самому чело-

веку, не в том, что последние являются более великими, а в том, что они не бессмертны. Ни смертность человека, ни хрупкость его дел еще пока не были аргументами против величия человека и потенциального величия его усилий. Слава, сугубо человеческий аналог бессмертия, подобала всему, что являло величие. В своем переживании величия человеческих дел и свершений греческие историки Геродот и в не меньшей степени Фукидид были продолжателями Гомера и Пиндара. Когда они записывали то, что было достойно избежать забвения в силу своего величия, ими не двигало стремление современных историков описать и представить непрерывный ход событий. Подобно поэтам они рассказывали свои истории во имя человеческой славы; в этом смысле у поэзии и истории один и тот же предмет — действия людей, которые определяют их жизни и от которых зависит их удача или несчастье⁶. Ощущение того, что человеческое величие может раскрываться лишь в делании и страдании, все еще остается в понятии «исторического величия» Буркхардта, это ощущение всегда присутствует в поэзии и драме. Но оно даже не рассматривается в нашей традиции политической мысли, которая зародилась сразу же после того, как идеал героя, «делателя великих дел и сказителя великих слов», уступил идеалу государственного деятеля как законодателя, главная функция которого не действие, но навязывание постоянных правил меняющейся среде и нестабильной активности действующих людей.

Подобная изоляция нашей традиции от любого опыта, не вписывающегося в ее рамки, — даже если это опыт из ее же далекого прошлого, требующий переинтерпретации понятий и придания словам новых смыслов, — есть одна из самых значимых черт этой традиции. Простая склонность исключать все, что не умещается в ее понятия, стала великой мощью исключения, сохранявшей традицию неприкосновенной для всех новых, противоречивых и конфликтующих переживаний. Хотя, конечно, традиция не могла помешать этим переживаниям ни случаться, ни оказывать формообразующее влияние на реальную духовную жизнь западного человечества. Иногда это влияние было колоссальным по той причине, что не существовало соответствующей артикулированной мысли, способной послужить основой для аргумента или детального размышления, в результате содержание данного влияния принималось за нечто само собой разумеющееся. Именно так все обстоит и в случае нашего понимания самой традиции, римской по своей основе, по-

3. Править, начинать, быть первым (др.-греч.). — Прим. пер.

4. Делать, совершать что-либо для кого-либо (др.-греч.). — Прим. пер.

5. Аристотель. Политика. VII. 1333a9–12.

6. Ср.: Он же. Поэтика. VI. 1450a 12–13.

коящейся на особом римском политическом опыте, который сам едва ли сыграл хоть какую-то роль в истории политической мысли.

Римский опыт, согласно которому политическое действие заключается в основоположении и сохранении *civitas*⁷, сильно отличается от опыта греческого — как полисного, так и дополисного. Хотя убежденность в сакральности акта основания как связующей силы для всех будущих поколений соответствует одному именно греческому политическому опыту, из которого мы узнаем (об этом повествуют несколько источников в греческой литературе) какую большую роль, должно быть, он играл в жизни греческих городов-государств: опыт колонизации, отъезда граждан из дома, их блуждания в поисках новой земли и, наконец, основания нового полиса. Таков повсеместный смысл страданий и блужданий, описанный в «Энеиде»: у них есть одна единственная цель, и они завершаются основанием Рима — *dum conderet urbem*⁸, — которое Вергилий в начале своей эпопеи суммирует одной строчкой: *tantae molis erat Romanam condere gentem*⁹ (i, 35). Усилия и муки по учреждению римского народа, неоднократно воспеты римскими поэтами и историками как основополагающий момент истории, были столь велики, что через легенду об основании из «Энеиды» римский народ связал себя с греческой историей подобно тому, как он связал себя с ней алфавитом, который получил из греческой колонии Кумы. Эта связь была осуществлена с точностью, за которую мы, всякий раз окидывая взором историю, должны испытывать благодарность; история явно никогда не теряла из виду, не забывала ничто воистину великое и всегда выводила из него соответствующие последствия. Когда же был перенят греческий опыт колонизации, утраченный для самой греческой мысли, римская история также инкорпорировала и негреческий политический опыт сакральности дома и семьи, с которым греки столкнулись в Трое. Он сохранился в гомеровском восхвалении Гектора, его прощании с Андромахой и смерти, которая в отличие от смерти Ахиллеса не была связана с обретением бессмертной славы, это была жертва во имя города, семьи и домашнего очага, — короче говоря, во имя всего того, что позднее будет обозначаться как *pietas*, то есть как благоговейная почтительность по отношению к домашним богам (*penates*) семьи и города, составлявшая самую суть религии Рима. «Энеида» читается, как если бы именно Гектору была уготована судьба Одиссея в том смысле, что ре-

7. Гражданственность, общество, город (лат.). — Прим. пер.

8. Покуда город не построил (лат.). — Прим. пер.

9. Вот сколь огромны труды, положившие Риму начало (лат.). — Прим. пер.

зультатом странствий оказывается не возвращение, но основание нового дома; тут как основание, так и домашний очаг обретают новую эмпатическую силу.

Именно потому, что опыт греческой колонизации стал для римлян основополагающим событием, сами римляне не могли повторить акт своего собственного основания посредством учреждения колоний. Основание Рима так и осталось уникальным и неповторимым: ответвления Рима в Италии так и остались под юрисдикцией Рима в отличие от греческих колоний, которые никогда не были подчинены материнскому полису. Вся римская история покоится на факте основания как на истоке бесконечности. Основанный для вечности Рим так и остался даже для нас единственным вечным городом. Освящение этого колоссального, почти сверхчеловеческого, а значит, легендарного акта основания, учреждения нового очага, нового дома стало краеугольным камнем римской религии, в которой политическая и религиозная деятельность рассматривалась как единое целое. По словам Цицерона, «более всего человеческая добродетель приближается к божественной в случае основания новой или сохранения уже существующей *civitas*»¹⁰. Религия была силой, подпиравшей основание; она обеспечивала богам жилище среди людей. Боги римлян жили в храмах Рима в отличие от богов греков, которые хотя и защищали города и иногда могли обитать в них, но все же жили на Олимпе вдали от домов простых смертных.

Римская религия, замешанная на акте основания, превратила сохранение всего того, что досталось нам от предков (*maiores*¹¹ или просто великих людей), в священную обязанность. Таким образом, традиция обрела сакральный характер, она не только пронизала всю Римскую республику, но и пережила ее превращение в Римскую империю. Традиция сохранила и смогла транслировать на следующие поколения свой авторитет, основанный на свидетельствах предков, бывших очевидцами сакрального основания. Религия, власть (авторитет) и традиция оказались неразрывно связанными друг с другом, выражая сакральную связующую силу легендарного основания, к которому человек оставался привязанным посредством мощи традиции. Куда бы ни распространился этот *paх Romana* Римской империи, описанная троица пускала свои корни вместе с римским понятием человеческого сообщества как *societas*¹², как совместного бытия *socii*, то есть людей, объединенных на основе доб-

10. Cicero. De re publica. vii. 12.

11. Предки (лат.). — Прим. пер.

12. Общество (лат.). — Прим. пер.

росовестности. Однако настоящая сила римского духа — или сила основания, достаточная для учреждения политических обществ, — проявила себя лишь после падения Римской империи, когда христианская церковь столь прониклась этим духом, что переинтерпретировала воскресение Христа как краеугольный камень, на котором должен был быть основан еще один перманентный институт. Вместе с повторением акта основания Рима в акте основания католической церкви великая римская политическая троица, связующая религию, традицию и власть, смогла проникнуть в христианскую эпоху, где она явила чудо долгожительствования одного института, сравнимое лишь с чудом тысячелетней истории Древнего Рима. Христианская церковь как общественный институт, унаследовавший политическую концепцию религии Рима, смог преодолеть сильный антиинституциональный уклон христианской веры, столь четко прослеживающийся в Новом завете. Церковь уже имела свою собственную традицию, основанную на жизни и деяниях Иисуса, описанных в Евангелиях, когда она — еще до падения Римской империи — была облагодетельствована императором Константином, стремившимся гарантировать для империи поддержку «самого могущественного Бога» и пытавшимся обновить римскую религию, боги которой уже не обладали прежней силой. Краеугольным камнем Церкви стали — и с тех пор оставались таковыми — не просто христианская вера или иудейское послушание божественному закону, но скорее свидетельства *autores*¹³, на которых покоится ее авторитет до тех пор, пока она передает (*tradere*) их в качестве традиции из поколения в поколение. Именно потому, что Церковь в своей роли нового защитника Римской империи сохранила основополагающую римскую троицу религии, авторитета и традиции в неприкосновенности, она смогла со временем стать наследником Рима и предложить людям «за счет членства в христианской Церкви чувство гражданства, которое ни Рим, ни его муниципалитеты уже больше не могли им дать»¹⁴. Тот факт, что римская формула смогла нетронутой дожить до христианского Средневековья, попросту заменив основание Рима на основание католической церкви, есть свидетельство высшего триумфа римского духа. Разрыв с этой традицией во времена Реформации не был окончательным, так как последняя бросила вызов лишь авторитету католической церкви, но отнюдь не троице религия — авторитет — традиция. Данный разрыв привел к появлению нескольких «церквей» вместо одной католической, но он никогда не ставил

13. Повествователь, автор (*лат.*). — Прим. пер.

14. Barrow R. H. The Romans. NY: Pelican, 1949. P. 194.

своей целью уничтожение религии, покоящейся на авторитете тех, кто был свидетелем ее основания как уникального исторического события и чье свидетельство живо за счет традиции. С тех самых пор крушение любого элемента этой троицы — религии, авторитета или традиции — неминуемо влечет за собой крушение и остальных двух. Без санкционирования религиозной веры ни авторитет, ни традиция не могут чувствовать себя в безопасности. Без поддержки традиционных инструментов понимания и вынесения суждений как религия, так и авторитет просто обречены на нерешительность. Ошибочно полагать, что авторитет может пережить упадок институциональной религии и разрыв в преемственности традиции, можно объяснить авторитарными наклонностями политической мысли. Все три элемента были обречены, когда с началом современности прежняя вера в сакральность легендарного основания уступила место новой вере в прогресс и в будущее как бесконечный прогресс, бесконечные перспективы которого не просто не нуждаются ни в каком прошлом акте основания, но которым даже повредит и помешает любой подобный новый акт.

* * *

Упомянутое выше превращение действия в управление и управляемость — то есть в тех, кто управляет, и тех, кем управляют, — есть неизбежный результат ситуации, когда модель для понимания действия берется из частной сферы домовладельческой жизни и переносится в общественно-политическую реальность, где происходит действие как таковое, то есть действие, касающееся лишь персон¹⁵. Рассмотрение действия как исполнения приказов и тем самым различие в политической сфере тех, кто *знает*, и тех, кто *делает*, укоренилось в понятии правления именно потому, что эта концепция проникла в политическую теорию через очень специфический опыт философов задолго до того, как она смогла быть оправдана в общем политическом опыте. Жажда управлять до того, как она стала политической необходимостью во время упадка и разрушения политических институтов античности, была либо тиранической волей к доминированию, либо результатом неспособности философа приспособить свой собственный образ жизни и свои собственные заботы к общественной политической сфере, которая для него,

15. Ср.: Arendt H. Prologue // Responsibility and Judgement / J. Kohn (Ed.). NY: Schocken Books, 2003. P. 12–14. В этой работе слово «персона» выводится из слова *per-sonare*, то есть голос, «звучающий через» публичную маску. Здесь же слово «персона» используется в римском смысле носителей гражданских прав и обязанностей. — Прим. ред.

равно как и для любого другого грека, была пространством, где человек мог адекватно реализовать имеющиеся у него особые возможности. Понятие правления в том виде, в каком мы находим его у Платона и в каком оно становится доминирующим для традиции политической мысли, имеет в сфере частного два важных источника. Первый — это опыт, который Платон разделял со всеми другими греками. Согласно этому опыту, правление было прежде всего управлением рабами, оно выражалось в отношениях хозяина — слуги и строилось на принципах приказания/послушания. Второй источник — это «утопическая» потребность философа стать правителем города, то есть навязать городу те «идеи», которые можно понять лишь в процессе уединенного размышления. Они не могут быть сообщены множеству привычным путем, то есть через убеждение (традиционный греческий способ завоевать расположение и влияние), так как их понимание и озарение ими невозможно передать через речь, и уж тем более через убеждающую речь.

Таким образом, хотя опыт основания и имел колоссальное влияние не только на нашу правовую систему, но и на весь ход нашей религиозной и духовной истории, его политическое значение было бы полностью утрачено, если бы не революции XVIII века во Франции и Америке, которые не только осуществлялись, по словам Маркса, в римских одеяниях, но и вновь высветили фундаментальный вклад Рима в историю Запада. Всякий энтузиазм, который вызывало в сердцах людей слово «революция», коренился в гордости за величие основания и благоговении перед ним; причина же, по которой опыт основания, несмотря на колоссальное влияние Рима на наши концепции традиции и авторитета, не оказал никакого особого влияния на традицию политической мысли, заключается, как это ни парадоксально, в римском уважении к факту основания, в какой бы области он ни случился. Греческой философии, несмотря на то, что ее принимали не до конца, а некоторые мыслители (например, Цицерон) даже яростно ее критиковали, все же удалось навязать политической мысли свои категории; это было связано с тем, что римляне считали ее единственной подходящей, а значит, и вечной основой для философии. Точно так же они требовали, чтобы основание Рима было признано всем миром в качестве единственного настоящего бессмертного акта основания. Ошибочно полагать, что то, что мы, люди западной цивилизации, называем традицией — и крушение чего мы наблюдаем и претерпеваем с момента начала Нового времени, — идентично традиционным обществам так называемых первобытных народов или же вечно тождественным самим себе древним азиатским цивилизациям. (Хотя и верно, что круше-

ние нашей традиции привело к обрушению традиционных обществ по всему миру.) Если бы Рим не освятил акт основания как уникальное событие, греческая цивилизация — в том числе и греческая философия — никогда не стала бы фундаментом традиции. При этом она бы, конечно, сохранилась за счет усилий ученых из Александрии, но именно как нечто не обязательное и не обязывающее. Собственно говоря, наша традиция начинается с римского принятия греческой философии как неоспоримого, авторитарного, обязывающего основания мысли, и это сделало для Рима невозможным развитие собственной — даже политической — философии. Соответственно, специфический римский политический опыт так и остался без должной интерпретации.

Хотя это и не является предметом нашего непосредственного интереса, но заметим, что для истории философии влияние римского понятия традиции было не менее судьбоносным, чем для истории политической мысли. В отличие от политики, где триада традиция — власть — религия имеет свой аутентичный фундамент в опыте основания и сохранения *civitas*, философия является антитрадиционной по самой своей природе. Именно так ее понимал Платон, если верить его тезису о том, что философия коренится в *θαυμάζειν*, то есть в удивлении, в потрясенности чудом, в претерпевании («Ибо как раз философу свойственно испытывать такое удивление. Оно и есть начало философии»¹⁶). Это суждение потом почти дословно цитирует Аристотель, но придает ему совсем другую интерпретацию¹⁷. Конечно, Платон, когда он замечал, что началом философии является *πάθος*¹⁸ удивления всему, что есть, не осознавал того, что традиция, основная функция которой давать ответы на все вопросы за счет втискивания их в предопределенные категории, однажды может стать угрозой существованию философии как таковой. Эта опасность со всей четкостью обозначается философами современности — Лейбницем и Шеллингом, она эксплицитно подразумевается Хайдеггером, когда тот провозглашает, что истоки философии коренятся в вопросе, на который нет ответа: «Почему есть нечто, а не ничто?». Жесткое порицание Платоном Гомера, который тогда уже много столетий считался «просветителем всех греков», представляет собой наиболее изумительное проявление культуры, осведомленной о своем прошлом, но не имеющей никакого представления о принуди-

16. Платон. Теэтет. 155d.

17. Аристотель. Метафизика. i 982b9.

18. Событие, случай; всё, что случается, испытывается, претерпевается; впечатление, страдание (др.-греч.). — Прим. пер.

тельной власти традиции. Ничего даже близко похожего на это просто невысказано в римской литературе. Однако то, что могло бы стать с философией, если бы римское чувство традиции не соотносилось бы постоянно с греческой философией, можно увидеть на примере ремарки, сделанной Цицероном в одной из своих так называемых философских работ. В контексте, который не имеет для нас никакого значения, он восклицает: «Разве не постыдно для философа ставить под сомнение то, что даже крестьяне не считают сомнительным?», как если бы неблагодарным занятием философа не было бы именно сомнение в том, что каждый из нас полагает само собой разумеющимся, и как если бы было что-то более достойное философского размышления или сомнения, чем то, что, по словам Канта, принадлежит к очевидностям (*Selbstverständlichkeiten*) мира и жизни. Философия, как только и всякий раз, когда она достигает величия, должна совершать разрыв даже со своей собственной традицией, однако то же самое не может быть сказано в отношении политической мысли; вследствие этого политическая философия стала самой замешанной на традиции дисциплиной западной метафизики.

Наверное, нигде дефектность нашей традиции в плане учета всего спектра реального политического опыта западного человечества не раскрывается столь явно, как в тихом замалчивании схоластами основополагающего политического опыта раннего христианства. Как только Августин стал неоплатоником, а Фома Аквинский — последователем Аристотеля, их политическая философия начала замечать в Евангелиях лишь то, что соответствовало — как *civitas terrena* и *civitas Dei*¹⁹ — платоновской дихотомии жизни в «пещере» людских дел и жизни, проживаемой на ослепительном свете истин «идей»; или дихотомии *vita activa* и *vita contemplativa*²⁰, вытекающей из аристотелевской иерархии, в которой *βίος πολιτικός* уступает *βίος θεωρητικός*, так как лишь *θεωρεῖν*, то есть «видение», ведущее к знанию, имеет свое собственное достоинство, тогда как действие всегда совершается во имя чего-то иного. При этом я ни в коем случае не отрицаю, что в христианской философии эти дихотомии приобрели совсем другой смысл и что содержание христианских понятий *civitas Dei* и *vita contemplativa* имеет мало общего с их предшественниками из философии античности. Мой тезис таков: всякий опыт, не укладывающийся в дихотомии, заданные политической философией Платона и Аристотеля, попросту не попадает в сферу политической теории и остается привя-

занным к сфере религии, где постепенно теряет всякую значимость для действия, пока наконец после подъема секуляризма не становится обычной благочестивой банальностью.

Именно так обстояло дело с дерзким и оригинальным выводом, который Иисус из Назарета сделал в отношении одной специфической трудности человеческого действия, которая не давала покоя ни античной, ни современной политической и исторической мысли. Неопределенность человеческого действия в том смысле, что мы никогда не можем со всей определенностью знать, что именно мы делаем, когда действуем в условиях паутины взаимоотношений и взаимозависимостей, составляющих пространство действия, рассматривалась античными философами как главный аргумент против серьезности человеческих действий. Позднее эта неопределенность привела к возникновению хорошо известного высказывания о том, что действующий человек обречен на ошибки и неизбежную вину. Уже средневековая философия и еще больше христианская философия Нового времени видела руку Провидения в том факте, что, по словам Боссюэ, нет такой «человеческой силы, которая бы не способствовала помимо своей воли продвижению чужих планов вместо своих собственных»²¹; Канту с Гегелем как *deus ex machina* понадобилась таинственная действующая за спинами людей сила («уловка природы» или «хитрость разума»), для того чтобы доказать — история, которая делается людьми, не ведающими, что творят, и всегда достигающими результата, отличного от желаемого и задуманного, все же может иметь смысл; она все же представляет собой последовательность, из которой можно извлечь смысл. В ответ на эти традиционные размышления о «высших силах», которым подчинены действующие люди и по сравнению с которыми человеческие деяния оказываются лишь игрушечными движениями куклы, которую бог дергает за ниточки²², или лишь предопределенными Провидением действиями, возникает конкретный политический интерес: найти в самой природе человеческого действия средство защитить человеческое сообщество от фундаментальной неопределенности и неизбежности ошибок и вины. Это средство Иисус нашел в человеческой способности прощать, оно покоится на осознании того, что в действии мы никогда не ведаем, что творим (Лк. 23:34), а значит, раз мы не можем, пока мы живы, избегать действия, мы должны также никогда не прекращать прощать (Лк. 17:3–4). Он дошел до того, что начал отрицать прощение как исключительную прерогативу Бога (Лк. 5:21–24); Иисус осмелился

19. Град земной и град Божий (лат.). — Прим. пер.

20. Деятельная жизнь и созерцательная жизнь (лат.). — Прим. пер.

21. Bossuet J.-B. Discours sur l'histoire universelle. iii. 8.

22. Платон. Законы. vii. 803.

считать, что милость Божья по отношению к людским грехам, в конце концов, зависит от желания человека прощать прегрешения окружающих (Мф. 6:14–15).

Дерзость и гордыня концепции прощения как основы отношений между людьми заключается не в мнимом превращении бедствий вины и ошибок в возможные добродетели великодушия или солидарности, а в том, что прощение посягает на невозможное: аннулировать то, что было сделано; ему удастся задать новое начало там, где никакое новое начинание, как казалось, уже невозможно. То обстоятельство, что люди не знают, что они делают по отношению к другим, что они могут желать блага, а приходится ко злу, и наоборот, и что тем не менее они все же стремятся в действии к реализации собственного намерения, что является знаком их превосходства над природными, материальными вещами, было великим лейтмотивом трагедий со времен греческой античности. Традиция никогда не забывала об этом трагическом элементе всякого действия, не утрачивала она и понимания того (правда, в основном в неполитическом контексте), что прощение — это одна из величайших человеческих добродетелей. Лишь внезапный дезориентирующий натиск колоссального технического развития, последовавший за промышленной революцией, привел к тому, что опыт производства обрел столь большие масштабы, что отныне можно было забыть о любых неопределенностях действия; в этот момент смогла начаться дискуссия о «делании будущего» и «строительстве и улучшении общества», как если бы речь шла о делании стульев и улучшении домов.

Что было утрачено традицией политической мысли и что сохранилось лишь в религиозных традициях постольку, поскольку оно касалось *homines religiosi*²³, — так это связь между деланием и прощением как определяющий элемент во взаимодействии действующих людей; таково было сугубо политическое — в отличие от религиозного — нововведение учения Иисуса. (Свое единственное политическое воплощение прощение обрело в сугубо негативном праве на извинение, являющемся прерогативой глав государств во всех цивилизованных странах.) Действие, служащее началом чего-то нового, обладает обрекающим на провал свойством приводить к формированию цепочки непредсказуемых последствий, которые тяготеют к тому, чтобы навеки сковать актора. Каждый из нас знает, что он является как инициатором, так и жертвой в цепи последствий, которую древние называли «судьбой», христиане — «провидением»,

23. Религиозные люди (лат.). — Прим. пер.

а мы — современные — высокомерно свели к простой случайности. Прощение — это единственное сугубо человеческое действие, которое освобождает нас и окружающих от принуждения со стороны последствий, порождаемых любым действием; как таковое прощение — это действие, гарантирующее преэминентность способности к действию, так как новое начало для каждого человека, не могущего прощать и быть прощенным, будет напоминать ситуацию из сказки про человека, которому сначала предлагается загадать одно желание, а потом он на веки вечные оказывается наказанным исполнением этого желания.

* * *

Наше понимание традиции и власти коренится в политическом акте основания, который, как указывалось выше, сохранился лишь в великих революциях XVIII века. Те редкие философские определения человека, которые принимают во внимание не только людей, живущих совместно во взаимной зависимости (аристотелевская модель), но и человека как действующее существо, были даны вне контекста политической философии даже тогда, когда их авторы специализировались на политических темах. Именно так обстоит дело со знаменитым высказыванием Августина «*Initium ut esset homo creates est ante quem nemo fuit*» («Чтобы быть этому началу, был сотворен человек, прежде которого не было никакого человека»²⁴), тут действие, то есть способность к начинанию, увязывается с тем фактом, что каждый человек уже по своей природе является новым началом, которое никогда до этого не возникало и не присутствовало в мире. Однако подобное понимание человека никак не влияет ни на политическую философию Августина, ни на его понимание *civitas terrena*. Также и Кант никогда не предполагал, что его концепция умственной деятельности как спонтанности, под которой он имел в виду как способность начинать новую линию мысли, так и способность формировать синтетические суждения — то есть суждения, которые не дедуцируются ни из данных фактов, ни из навязанных правил, — может оказать хоть какое-то влияние на его политическую философию, которую он, подобно Августину, строил так, как если бы та первая линия мысли никогда не приходила ему в голову. Это рассогласование, наверное, наиболее очевидно прослеживается в случае с Ницше, который, рассматривая волю к власти, однажды определил человека как существо, «смеющееся обещать», так никогда и не осознав, что это определение несет в себе большую «переоценку всех ценно-

24. Августин. О граде Божьем. Кн. XII. Гл. XX.

стей», чем практически любой другой позитивный компонент его философии²⁵.

Есть, конечно, объяснения тому, почему традиция политической мысли с самого начала утратила понимание человека как действующего существа. Двум доминирующим философским традициям понимания человека — как *animal rationale*²⁶ и как *homo faber*²⁷ — свойственно это упущение. Как в первой, так и во второй человек рассматривается так, как если бы он существовал в единственном числе: о разуме, равно как и о производстве, можно говорить лишь при условии единичности человеческого рода. Рассмотрение факта человеческой плюральности в традиции политической мысли осуществляется так, как если бы он обозначал не более чем общую совокупность разумных существ, которые по причине некоего решающего дефекта оказываются вынужденными сожительства и формировать общее политическое целое. Однако три политических опыта, оставшихся за пределами традиции, то есть опыт действия как начинания нового дела в дополисной Греции, опыт акта основания в Риме и христианский опыт взаимосвязи действия и прощения, когда всякий действующий должен быть готов прощать, а всякий прощающий оказывается действующим, должны иметь для нас особую значимость, так как их влияние на нашу историю, пусть и обойденное вниманием со стороны политической мысли, никуда не делось. В некоем фундаментальном смысле они все имеют отношение к одной черте, касающейся участи человека, без которой политика была бы не нужна и не необходима: к факту плюральности человека в противовес единичности Бога вне зависимости от того, понимается ли последний как философская «идея» или как личный Бог монотеистических религий.

Плюральность человека, обозначенная в словах из Бытия, где рассказывается о том, что Бог создал не человека, но «мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27), конституирует сферу политического. Она делает это, во-первых, в том смысле, что никакой человек не *существует* в одиночестве, это придает действию и говорению их особую политическую значимость, так как они являются единственными видами деятельности, которые не просто затронуты фактом плюральности (это можно сказать про все виды человеческой деятельности), но именно немислимы без нее. Да, вполне возможно мыслить мир людей как

некое сооружение, воздвигнутое в соответствии с предпосылкой о единичности человека, сам Платон сетует на тот факт, что на земле живет много людей, а не один. Он сожалеет о том, что что-то «от природы является частным — глаза, уши, руки», так как это мешает превратить множественное в политическое целое, где все будут жить и вести себя как «единое целое»²⁸. Платон мыслил это «единое целое» как завершение мысли в бессловесности и бездействии, тут истина понимается как предельная возможность соответствовать единству «идеи» или Бога. Однако все же действующее и говорящее существо едва ли может быть помыслено как существующее в единственном числе. Во-вторых, человеческое состояние плюральности не является ни плюральностью объектов, изготовленных в соответствии с единой моделью (или *эйдосом* Платона), ни плюральностью вариаций в рамках одного вида. Подобно тому как не существует никакого человека как такового, но лишь конкретные мужчины и женщины, которые в своей абсолютной различности являются одним и тем же, то есть людьми, так и эта общая человеческая одинаковость есть *равенство*, которое, в свое очередь, проявляет себя лишь в абсолютном отличии одного равного от другого. Это так до такой степени, что феномен близнецов всегда вызывает в нас немалое удивление. Таким образом, если действие и говорение — это две особые формы политической деятельности, то тогда различие и равенство — это два составляющих элемента политических объединений.

Перевод с английского Дмитрия Узланера

25. Ницше Ф. К генеалогии морали. II. 1–2; Arendt H. The Human Condition. Chicago: University of Chicago Press, 1998. P. 245; n. 83. — Прим. ред.

26. Рациональное животное (лат.). — Прим. пер.

27. Человек производящий, человек созидающий (лат.). — Прим. пер.

28. Платон. Законы. V. 739.

Философия и демократия¹

Майкл Уолцер

1



РЕСТИЖ политической философии сегодня как никогда высок. Она завладела вниманием экономистов и юристов — двух академических сообществ, наиболее тесно связанных с формированием государственной политики. Ничего подобного не было уже давно. Кроме того, с новой и радикальной силой она претендует также на внимание со стороны политических лидеров, бюрократов, судей (особенно судей). Это обусловлено не столько тем, что философы занимаются творческой работой, сколько тем, что их творческая работа особого рода — после долгого перерыва они вновь актуализируют возможность поиска объективных истин, «истинного смысла», «правильных ответов», «философского камня» и т. п. Я намереваюсь солидаризироваться с этой возможностью (но мне не хотелось бы вдаваться в подробности) и поразмышлять над тем, что она может значить для демократической политики. Каково место философа в демократическом обществе? Это старый вопрос; тут есть свои трения: между истиной и мнением, разумом и волей, ценностью и предпочтением, одним и многими. Эти пары антиподов отличаются друг от друга, но ни одна из них не соответствует паре «философия и демократия». Тем не менее между ними есть и нечто общее: они указывают на общую проблему. Философы притязают на то, что их выводы обладают авторитетом определенного рода; народ притязает на то, что его решения обладают авторитетом несколько другого рода. Какая связь между двумя этими притязаниями?

1. Перевод выполнен по изданию: © Walzer M. *Philosophy and Democracy* // *Political Theory*. August 1981. Vol. 9. No. 3. P. 379–399.

Начну с цитаты из Витгенштейна, которая, как может показаться, мгновенно решает проблему: «Философ не является гражданином никакой общности идей. Именно это и делает его философом»². Перед нами не просто утверждение о факте обладания способностью к отстранению; граждане тоже иногда оказываются способными на суждения, независимые от их идеологий, практик и институтов. Витгенштейн говорит о куда более радикальном отстранении. Философ — это посторонний (он должен им быть); он должен стоять в стороне не периодически (в суждении), но систематически (в мысли). Правда, не знаю, должен ли философ также быть посторонним и в политическом смысле. Витгенштейн говорит о *любой* общности, а государство (полис, республика, содружество, королевство и пр.) — это, безусловно, общность идей. Общности, *не*-гражданином которых является философ, могут быть как больше государства, так и меньше его. Тут все зависит от того, о чем философствует философ. Однако если перед нами политический философ (а Витгенштейн имел в виду не его), то тогда государство есть наиболее вероятная общность, от которой философ должен отстраниться не физически, но именно интеллектуально и — в некотором смысле — нравственно.

Радикальная отстраненность имеет две формы, здесь я буду говорить лишь об одной из них. Первая форма — созерцательная и аналитическая; те, кто ее практикует, не имеют никакого интереса в том, чтобы менять то сообщество, идеи которого они изучают. «Она [философия] оставляет все так, как оно есть»³. Вторая форма — героическая. Я бы не хотел отрицать героические аспекты анализа и созерцания. Всегда можно гордиться тем, что тебе удалось разорвать узы общности; это не так-то просто сделать, многие важные философские достижения (равно как и все разновидности философского высокомерия) коренятся именно в такого рода отстраненности. Но мне бы хотелось все же сосредоточиться на традиции героического действия, которая, как кажется, в наше время до сих пор жива: в такой ситуации философ отстраняется от общности идей для того, чтобы вновь учредить ее — сначала интеллектуально, а затем и материально: идеи же не проходят бесследно, и каждая общность идей есть также вполне реальная общность. Он отступает и возвращается. Он напоминает зако-

2. Wittgenstein L. Zettel/G. E. M. Anscombe, G. H. von Wright (Eds.). Berkeley: University of California Press, 1970. No. 455.

3. Витгенштейн Л. Философские исследования // Витгенштейн Л. Философские работы. Ч. I/Пер. с нем. М. С. Козловой и Ю. А. Асеева. М.: Гнозис, 1994. С. 130 (§124).

нодателей из древних легенд, деятельность которых исключает обычное гражданство⁴.

В долгой истории политической мысли существует также и альтернатива отстраненности философов, я имею в виду вовлеченность софистов, критиков, публицистов и интеллектуалов. Нет, конечно, софисты, которых критиковал Платон, были космополитами и кочующими учителями, но их никоим образом нельзя назвать посторонними в греческой общности идей. Их учение опиралось и в огромной степени зависело от ресурсов общего членства. В этом смысле Сократ также был софистом, хотя для его же собственного понимания своей миссии критика и овода был очень важен факт его гражданства: афиняне считали бы его куда менее докучливым, не будь он одним из них. Но затем сограждане убили Сократа, доказав тем самым, что вовлеченность и членство невозможны для того, кто верен поиску истины. Философы не могут быть софистами. По практическим и интеллектуальным соображениям та дистанция, которую философы устанавливают между собой и согражданами, должна перерасти в разрыв. Лишь затем, опять же по практическим соображениям, она должна быть вновь сокращена путем обмана и скрытности. Так возникает фигура философа — сепаратиста в мысли и конформиста на практике. Таков Декарт в своем «Рассуждении о методе».

Он конформист, пока не почувствует себя способным трансформировать практику хотя бы в некое подобие своих мыслей. Он не может быть участником жесткой и беспорядочной политики города, но он может быть законодателем или основателем, королем, серым кардиналом или же судьей — или, если мыслить чуть более реалистично, он может быть советником данных фигур, он может шептать в ухо власти. У него, сформированного самой природой философского занятия, едва ли есть тяга к торгу и взаимным договоренностям. Так как истина, которую он знает или утверждает, что знает, единична, он ждет того же самого и от политики: целостной концепции, бескомпромиссной реализации. Как пишет Декарт, в философии (а также в политике), как и в архитектуре, то, что складывалось постепенно в руках разных мастеров, менее совершенно, чем творение одного мастера. Поэтому «старые города, бывшие когда-то лишь небольшими поселениями и с течением времени ставшие большими городами, обычно скверно распланированы по сравнению с теми правильными площадями, которые инже-

4. Детальное рассмотрение этой особой формы философского героизма см.: Sheldon S. Wolin. *Hobbes and the Epic Tradition of Political Theory*. Los Angeles: University of California Press, 1970.

нер по своему усмотрению строит на равнине»⁵. Сам Декарт отрицает любую заинтересованность в политической разновидности подобных проектов; похоже, он считает, что единственное место, где он может царить безраздельно, — это его собственный разум. Но всегда сохраняется возможность партнерства между авторитетом философии и властью политики. Размышляя о подобной возможности, философ может, подобно Томасу Гоббсу, «питать некоторую надежду, что рано или поздно этот мой труд может попасть в руки суверена, который, <...> покровительствуя всей силой своей верховной власти широкому изучению этого труда, превратит его умозрительные истины в полезную практику»⁶. Ключевые слова в этих цитатах из Декарта и Гоббса — это «по своему усмотрению» и «суверен». Философские начинания — это авторитарное занятие.

2

Краткое сравнение может оказаться тут как никогда кстати. У поэтов тоже есть своя традиция отстранения и вовлеченности, но радикальное отстранение среди них не так уж распространено. Рядом с цитатой из Витгенштейна вполне можно поместить следующие строчки К. П. Кавафиса, написанные для того, чтобы утешить молодого поэта, все серьезные усилия которого увенчались лишь одним стихотворением. По словам Кавафи, это первая ступень, значимость которой не стоит преуменьшать:

Подняться на нее дано тому,
кто проявил себя достойным гражданином
в достойном городе идей⁷.

Витгенштейн пишет так, как если бы существовало много общностей (так оно и есть на самом деле); Кавафи, похоже, предполагает, что поэты населяют один-единственный всеобщий город. Но кажется мне, что греческий поэт намекает на вполне конкретное место: город греческой культуры. Поэт должен доказать свое гражданство именно там; философ же должен доказать, что он нигде не является гражданином. Поэт нуждается в своих согражданах, в других поэтах и читателях, разделяющих

5. Декарт Р. *Рассуждение о методе*/Пер. с лат. В. В. Соколова// Декарт Р. Соч. СПб.: Наука, 2006. С. 98.

6. Гоббс Т. *Левиафан*/Пер. А. Гутермана// Гоббс Т. Соч.: В 2 т. Т. 2 М.: Мысль, 1991. С. 286–287.

7. Перевод С. Ильинской.

с ним общий исторический и чувственный фундамент и не требующих от него объяснений относительно того, что он пишет. Без подобных людей его аллюзии будут потеряны, а его образы будут отзываться лишь в его собственном разуме. Что касается философа, то он боится сограждан, так как узы истории и чувства портят мышление. Ему требуется взгляд на мир со стороны, взгляд свежий, подобный взгляду абсолютно постороннего. Его отстраненность созерцательна, осознанна и всегда неполна.. При этом я нисколько не сомневаюсь в том, что умный социолог или историк обнаружит в работах философа (так же легко, как и в любом стихотворении) указания на время и место написания. И все же амбиции философа (в той традиции, что я описываю) радикальны. Поэт, напротив, куда более скромн — как писал Оден:

Мечта поэта:
 быть, как сыр — местным,
 Но ценимым в других местах⁸.

Поэт может быть пророком и предсказателем; он может жаждать изгнания и проблем; однако он, сохраняя здравый ум, просто не может отчуждать себя от общности идей. Возможно, именно по этой причине поэт не может притязать на то, чтобы быть сувереном. Если он и надеется стать «законодателем для человечества», то скорее за счет направления своих сограждан, чем за счет управления ими. Но о прямых указаниях речь не идет: «Поэзия ничего не совершает»⁹. Это не равнозначно тезису о том, что она оставляет все как есть. Поэзия оставляет в умах своих читателей некий намек на истину поэта. Ничего подобного согласованности философского суждения, ничего подобного ясности правового предписания: стихотворение всегда остается частичной, несистематизированной истиной, удивляющей нас своей чрезмерностью, терзающей нас своей недосказанностью и никогда не говорящей по делу. Как писал Китс: «Я никогда не мог понять, как нечто может быть признано за истину посредством логического мышления»¹⁰. Знание поэта несколько иного рода, оно ведет к истинам, которые, возможно, и могут быть сообщены, но никогда не могут быть применены напрямую.

8. Перевод Е. Тверской.

9. In Memory of W. B. Yeats // The English Auden: Poems, Essays and Dramatic Writings, 1927–1939 / E. Mendelshon (Ed.). NY: Random House, 1977.

10. The Letters of John Keats / M. B. Forman (Ed.). London: Oxford University Press, 1952. P. 67.

Истины же, обнаруженные и разработанные политическими философами, вполне могут быть применены на практике. Они с легкостью позволяют воплотить себя в правовые установления. Законы ли это природы? Так используйте их. Схемы ли это распределения? Так введите их. Базовое ли это право человека? Так гарантируйте его. Иначе зачем интересоваться подобными вещами? Идеальное государство — это самый подходящий объект для размышления, а «есть ли такое государство на земле, и будет ли оно — это совсем не важно», ведь это никак не влияет на истину самого видения. Но, естественно, было бы лучше, если бы данное видение было реализовано. Тезис Платона о том, что «человек <...> занялся бы делами такого — и только такого — государства», подтверждается попыткой самого Платона вмешаться в политику Сиракуз, когда представилась — или ему так показалось — возможность начать реформирование под началом философии¹¹. Хотя сам Платон никогда не предполагал становиться гражданином того государства, которое он хотел реформировать.

В такой ситуации философ притязает на знание того, «как все устроено на небесах». Он знает, что должно быть сделано. Однако сам он этого сделать не может, поэтому ему нужен подходящий политический инструмент. По очевидным практическим соображениям, сговорчивый государь — самый оптимальный инструмент. Но в принципе сгодится любой инструмент: аристократия, руководство, чиновники — даже народ сгодится, если, конечно, он предан философской истине и обладает суверенитетом. Хотя понятно, что с народом будет больше всего трудностей. Если он и не представляет собой многоголового чудовища, то, по крайней мере, он многоголов, эти головы трудно обучить, и они склонны не соглашаться друг с другом. Едва ли философским инструментом может быть народное большинство, ведь большинство в любой настоящей демократии — это нечто временное, изменчивое и непостоянное. Истина одна, а у народа всегда много мнений; истина вечна, а народ все время склонен менять свои позиции. Таковы противоречия между философией и демократией, изложенные в самой простой форме.

Притязания людей на власть не опираются на их знание истины (хотя они и могут опираться — как полагает традиция утилитаризма — на их знание множества мелких истин: только отдельные личности знают свой собственный баланс удовольствий и неудовольствий). На мой взгляд, данное притязание

11. Платон. Государство / Пер. А. Н. Егунова // Платон. Соч.: В 4 т. Т. 3. С. 386–388 (591A — 592B).

наиболее убедительно звучит не в контексте того, что люди знают, но в контексте того, кем они являются. Они субъекты права; и если закон притязает ограничить их как свободных мужчин и женщин, то значит, они сами должны быть творцами этого закона. Таков аргумент Руссо. Я не собираюсь его здесь обосновывать, я хотел бы рассмотреть лишь некоторые его следствия. Данный тезис превращает закон в производное от народной воли, а не от разума — благородных мужей, мудрецов, судей — как было до этого. Народ — правопреемник богов и королей, но никак не философов. Он может не знать, как правильно, но он притязает на право делать то, что считает правильным (то есть то, что ему нравится)¹².

Сам Руссо отшатнулся от подобных притязаний, и именно это хотело бы сделать большинство современных демократов. Я могу себе представить три способа сдерживания и ограничения демократических решений. Ниже я кратко изложу их с опорой на Руссо, но мне бы не хотелось вдаваться в подробный анализ. Во-первых, можно ввести формальное ограничение на народное волеизъявление: народ должен выражать свою волю сообща¹³. Он не может выделить (за исключением случаев выборов на государственные посты) из своего числа конкретного индивида или группу индивидов и придать ему/им особый статус. Хотя это и не препятствие для программ социальной поддержки, направленных, например, на больных или пожилых людей, так как мы все можем заболеть, равно как мы все хотели бы дожить до старости. Цель — изжить дискриминацию в отношении вполне конкретных индивидов и групп. Во-вторых, следует настаивать на неотчуждаемости народной воли и на неуничтожимости тех институтов и практик, которые обеспечивают ее демократический характер собраний, дебатов, выборов и т. д. Народ не может сейчас отказаться от своего будущего права на волеизъявление (или можно сказать, что подобное отречение никогда не сможет быть ни легитимным, ни действенным в нравственном отношении)¹⁴. Не может народ также отказать какой-то группе внутри себя в праве участвовать в будущем волеизъявлении.

12. Отсюда обращение афинского оратора к собранию: «В вашей полной власти распоряжаться тем, что принадлежит вам: вы можете делать это хорошо, а можете — если желаете — плохо» (цит. по: *Dover K. J. Greek Popular Morality in the Time of Plato and Aristotle*. Berkeley: University of California Press, 1974. P. 290–291).

13. *Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре, или Принципы политического права*/Пер. с франц. А. Д. Хаютина, В. С. Алексеева-Попова // *Руссо Ж. Ж. Об общественном договоре*. М.: Канон-пресс-Ц, 2000. С. 220–224, 226–229 (Кн. II. Гл. IV, VI).

14. Как мне кажется, это следует из тезиса о том, что общая воля является неотчу-

Очевидно, что эти два способа позволяют пересматривать решения народа, позволяют оказывать давление на людей, если в этом возникает необходимость, позволяют предотвращать дискриминацию и блюсти демократические права. Кто бы ни взялся за этот пересмотр, он просто будет вынужден выносить суждения о дискриминационном характере конкретных разделов законодательства, а также о значении для демократической политики конкретных ограничений свободы слова, свободы собраний и т. д. Однако данные суждения — при этом я не хотел бы преуменьшать ни их значимость, ни их сложность — по своей ответственности будут значительно уступать тому, что связано с ограничением третьего рода. Именно на этом последнем ограничении я бы и хотел сконцентрироваться, так как мне не верится, что философы, представляющие героическую традицию, удовлетворятся первыми двумя. В-третьих, народ должен желать то, что правильно. Как говорит Руссо, народ должен желать общего блага; далее он продолжает: народ будет желать общего блага, если это настоящий народ, а не сборище эгоистических индивидов и корпоративных групп¹⁵. Как мне кажется, тут идея такова: существует единый — хотя и не всегда исчерпывающий — набор корректных или справедливых законов, который собравшиеся люди, избиратели или их представители не всегда могут правильно понять. Нередко они понимают его неправильно, тогда им требуется помощь законодателя или же ограничение судьи. Законодатель у Руссо — это тот же философ, но только в героическом одеянии; хотя Руссо и отрицает за ним право принуждать людей, он настаивает на его праве их обманывать. Законодатель говорит от имени Бога, а не философии¹⁶. Подобный обман можно найти и у современных юристов. В любом случае данное третье ограничение поднимает наиболее серьезные вопросы относительно фундаментального тезиса Руссо о том, что политическая легитимность опирается на волю (согласие), а не на разум (правоту).

4

Данный фундаментальный тезис может быть выражен в парадоксальной форме: особенностью демократического правления является то, что у людей есть право на неправильное поведение — равно как и право на глупость. Я бы сказал, что у них

ждаемой, хотя Руссо, похоже, делает из неотчуждаемости еще более радикальные выводы — см. его критику идеи представительства (Кн. III. Гл. XV).

15. Там же. Кн. II. Гл. III и далее.

16. Там же. Кн. II. Гл. VII.

есть право на неправильное поведение лишь в некоторой сфере (и — в соответствии с двумя указанными ограничениями — лишь в том случае, если данное поведение общепринято в данной сфере и не затрудняет будущее демократическое действие). Суверенность есть всегда суверенность и в отношении конкретных вещей; она не повсеместна и не всеобъемлюща. Например, народ с полным правом может осуществлять перераспределение доходов за счет налогов, но он может перераспределять лишь свой собственный доход, а не доход соседней нации. Однако важно то, что сам избранный механизм перераспределения не подлежит авторитарному корректированию в соответствии с философскими стандартами. Его, конечно, можно критиковать, но до тех пор, пока критик остается демократом, он должен признать, что избранный паттерн — пока люди не склонились к точке зрения критика — подлежит исполнению.

Ричард Вольхейм в своей знаменитой статье писал, что понятая таким образом демократическая теория не просто парадоксальна в некоем смутном смысле этого слова; она является парадоксом в строгом смысле¹⁷. Он реконструирует этот парадокс в три шага.

1. Как гражданин демократического сообщества я рассматриваю те альтернативы, которые стоят перед сообществом, и делаю вывод о том, что А — это и есть политика, подлежащая реализации.
2. Народ, руководствуясь своими соображениями или своим упрямством, выбирает политику Б — прямую противоположность А.
3. Я все еще считаю, что должна быть реализована политика А, но, как убежденный демократ, я одновременно полагаю, что политика Б также должна быть реализована. Таким образом, получается, что я выступаю за реализацию обеих политик. Но это явное противоречие.

Возможно, данный парадокс во многом зависит от способа его изложения. Можно представить более скромного человека — и тогда первый шаг будет выглядеть следующим образом:

17. Wollheim R. A Paradox in the Theory of Democracy // Philosophy, Politics and Society (Second Series) / P. Laslett, W. G. Runciman (Ed.). Oxford: Basil Blackwell, 1962. P. 71–87. Подчеркну, что в этом случае аргумент касается именно реализации, а не послушания. Речь идет о том, как и по каким критериям следует определять политику для всего сообщества в целом. Должны ли конкретные граждане поддерживать ту или иную политику (или способствовать ее реализации), раз уж она была избрана, — это совсем другой вопрос.

1. Я делаю вывод о том, что народу следует выбрать для реализации политику А.

Тогда не будет противоречием сказать:

2. Раз люди не выбрали А, а выбрали Б, значит, теперь я полагаю, что должна быть реализована политика Б.

Может, это и не так интересно, но это непротиворечиво и это делает демократическую позицию осмысленной. В основе варианта первого шага Вольхейма лежит философский и, возможно, антидемократический тезис, который имеет следующую форму:

1. Я делаю вывод о том, что А — это правильная политика и что она должна быть реализована, *так как она правильна*.

Но вовсе не очевидно, что правильность политики есть правильная причина для ее реализации. Это может быть правильной причиной надеяться на то, что она будет реализована, это может быть правильной причиной ее отстаивания на народном собрании. Допустим, у меня на столе находится устройство, которое приводит к реализации политики после нажатия соответствующей кнопки (А или Б). Какую кнопку мне следует нажать, и по какой причине? Я, естественно, не могу нажать А просто по той причине, что я решил, что А — правильная политика. Кто я такой? Как гражданин демократического сообщества я должен дожидаться народного решения, ведь только народ имеет право принимать решения. И если народ остановится на варианте Б, то это вовсе не значит, что передо мной встанет экзистенциальный выбор: мои философские аргументы указывают на А, а мои демократические убеждения — на Б, и что у меня не будет никакого способа принять решение. Способ принять решение есть.

То различие, которое я пытаюсь здесь наметить, — между правом принимать решения и знанием относительно того, в чем это решение должно заключаться, — может быть описано в понятиях процедурной и сущностной правоты или справедливости. Можно сказать, что демократы преданы идее процедурной справедливости, они могут лишь надеяться на то, что результатом применения правильных процедур станет сущностная справедливость. Однако я не спешу солидаризироваться с данной формулировкой, так как различие между процедурой и сущностью представляется мне менее очевидным, чем может показаться. В дискуссиях о процедурной справедливости на кону стоит делегирование власти, а это точно сущностная проблема. Всякое

процедурное установление может быть обосновано лишь с помощью сущностного основания, за всяким сущностным основанием (в политической философии) следует соответствующее ему процедурное установление. Как я уже отмечал, демократия основывается на свободе и политических обязательствах. Отсюда следует, что демократия не может быть сведена к процедурному праву людей принимать законы. Согласно демократической позиции, правильно, что люди принимают законы — даже если они делают это из рук вон плохо.

На это представитель героической традиции мог бы возразить, что неправильное действие (при условии, что мы знаем или можем знать, в чем именно заключается действие правильное) никогда не может быть оправдано. Таково же начальное возражение против самой идеи делегирования политической власти, из него вытекают два следствия. Во-первых, власть народа должна быть ограничена степенью правоты того, что он делает; во-вторых, должен существовать некто, наделенный властью следить за деяниями народа и вмешиваться, если тот переходит некоторый рубеж. Кто же этот «некто»? Я полагаю, что это может быть всякий, кто знает, как правильно. Однако на практике в любом существующем политическом порядке будет избрана группа, которая будет считаться знающей истину лучше или более полно, чем народ в целом. Данная группа будет наделена процедурным правом вмешиваться, это право будет обосновываться неким сущностным основанием, касающимся знания и нравственной истины.

Надзор за народным законодательством вполне может быть демократическим: так, в Афинах граждане, обеспокоенные вопросом легитимности некоего решения собрания, могли обращаться к небольшой группе граждан, избранной жребием, чтобы та выступила в качестве судей. Судьи буквально устраивают судебный процесс над законом: одни граждане выступают в роли прокуроров, а другие — в роли адвокатов; вердикт же суда оказывается более значимым, чем сам акт законодательства¹⁸. Очевидно, что в данном случае не подразумевается никакая особая мудрость; один и тот же аргумент или один и тот же вид аргумента может обосновать как акт, так и вердикт. Однако очень часто подобные группы формируются на аристократической, а не на демократической основе. Тут апелляция идет от народного сознания, частных интересов, корыстной или недальновидной политики к высшему пониманию немногих, будь то корпус гегелевских чиновников, партийный авангард Ленина

18. Jones A. H. M. Athenian Democracy. Oxford: Basil Blackwell, 1960. P. 122–123.

и т. д. В идеале призываемая группа должна быть связана с некоей общностью идей, она должна действовать внутри нее, но при этом не забывая и о тех, кто находится снаружи. Она должна быть внутри, но не совсем, чтобы обеспечивать для философа возможность отступать и возвращаться.

5

В США сегодня эту роль, похоже, призваны выполнять девять судей Верховного суда. На такое призвание наиболее явно указано в работах группы профессоров, изучающих современное право, все они одновременно еще и философы или, по крайней мере, влияние политической философии на них очевидно¹⁹. Действительно, возрождение политической философии оказало наиболее заметное влияние на школы права. Причины этого не так уж таинственны. В устоявшейся демократии, когда нет никакой угрозы революции, именно судьи являются самыми подходящими инструментами философского реформирования. Конечно, общепризнанная власть Верховного суда не идет дальше обеспечения соблюдения конституции, которая сама является плодом демократического согласия и которая открыта для новых демократических поправок. Даже в тех случаях, когда действия судей выходят за пределы простого поддержания текстуальной целостности конституции, они не притязают на особое понимание истины и права; вместо этого они апеллируют к историческим прецедентам, устоявшимся правовым принципам и общепризнанным ценностям. И все же их место в системе, та власть, которой они обладают, открывает для них возможность налагать философские ограничения на демократический выбор. Кроме того, они очень восприимчивы (в отличие от народа) к философским наставлениям, касающимся природы этих ограничений. Судьи меня волнуют здесь лишь в той степени, в какой они являются объектами наставлений, а философы в их связи с судьями — лишь в силу того, что среди них есть много желающих стать наставниками. Противоречие между судебным надзором и демократией во многом перекликается с противоречием между философией и демократией. Однако второе противоречие куда глубже, так как судьи склонны расширять

19. См., напр.: Дворкин Р. О правах всерьез // Пер. с англ.; ред. Л. Б. Макеева. М.: РОССПЭН, 2005; Michelman F. I. In Pursuit of Constitutional Welfare Rights // University of Pennsylvania Law Review. 1973. 121:962–1019; Fiss O. The Forms of Justice // Harvard Law Review. 1979. 93:1–58; Ackerman B. Social Justice in the Liberal State. New Haven: Yale University Press, 1980.

свои конституционные права и брать курс на экспансию, лишь если они находятся под влиянием философского учения.

Теперь следующий момент: судьи и философы — это очень разный тип людей. Конечно, можно себе представить философа-судью, однако такое сочетание не так чтобы очень распространено. Судьи в очень важном смысле являются членами политического сообщества. Большинство из них до этого либо занимали пост на государственной службе, либо были политическими активистами, либо ратовали за ту или иную политику государства. Они работали в данной сфере; они участвовали в дебатах. Когда на слушаниях перед утверждением им задают вопросы, предполагается, что их мнения совпадают с мнением спрашивающих — по большей части это банальные мнения, в противном случае данных кандидатов никто бы не выдвинул. Однако сразу после своего утверждения на должность они удаляются от повседневной политики; их особое положение в демократическом строе подразумевает некоторую отстраненность и вдумчивость. Судьи облачаются в мантию мудрости; их одеяние представляет собой то, что может быть названо философским искушением: любить мудрость больше закона. Но судьи должны быть мудрыми в понятиях конкретной правовой традиции, которая роднит их с их прежними коллегами по работе и политике.

Положение философа совершенно иное. Истины, которые он разыскивает, универсальны и вечны, едва ли они могут быть обнаружены изнутри какого-либо реального исторического сообщества. Отсюда следует отстранение философа: он должен отвергнуть гарантии банальности. (Его никто никуда не утверждает.) Куда уходит философ? Сегодня нередко он сооружает для себя идеальное государство (ведь в отличие от Платона он не может его обнаружить), населенное существами, не имеющими никаких конкретных черт и не разделяющими мнений или пристрастий его бывших сограждан. Он воображает совершенное собрание в «исходной позиции» или же «идеальную речевую ситуацию», когда собравшиеся мужчины и женщины оказываются полностью свободными от своих идеологий или же когда они следуют универсальным правилам дискурса. Затем философ задается вопросом о том, какие принципы, правила и конституционные установления выберут эти люди, если они решатся создать действующий политический порядок²⁰. По сути, это философские представители всех нас, они принимают законы

20. В отношении данного типа аргументации Джон Ролз явно оказывается великим первопроходцем. Однако рассматриваемое мной особое использование новой философии не обосновывается им ни в его работе «Теория справедливости», ни в последующих статьях.

от нашего имени. Однако единственный настоящий обитатель подобного идеального государства — это сам философ, он же — единственный участник совершенного собрания. Следовательно, получающиеся принципы, правила и конституции — это продукты его собственного мышления, упорядоченные «по своему усмотрению», подвластные лишь тем ограничениям, которые он сам на себя накладывает. Не требуются никакие иные участники и в том случае, если процедура решения в идеальном государстве мыслится в понятиях консенсуса и единодушия. Ведь даже если бы присутствовал еще кто-то, то он либо был бы идентичен философу, подчинен тем же ограничениям и склонен к тем же вещам и умозаключениям, что и он, либо был бы конкретным человеком с исторически обусловленными чертами и мнениями, а значит, его присутствие подрывало бы универсальность аргументов философа.

Философ возвращается из своего отступления с выводами, отличными от результатов любого реального демократического спора. Как минимум они имеют — или философ пытается представить их в качестве таковых — совершенно иной статус. Они воплощают то, что является правильным, они — результат консенсусного решения ряда идеальных представителей, тогда как решения демократической дискуссии — это просто результат согласия народа или его реальных представителей. Далее народу или его представителям может быть предложено пересмотреть свои выводы в свете работы философа. Мне кажется, что предложение такого рода всплывает всякий раз, как философ публикует книгу. По крайней мере, в момент публикации он является истинным демократом: его книга есть дар народу. Однако дар редко оценивается по заслугам. В реальной политике истины философа, скорее всего, превратятся в еще один набор суждений, который будет испытан, рассмотрен, отчасти принят, отчасти отвергнут или проигнорирован. Судьи же могут предложить философам совсем другой прием. Как я уже утверждал, их особая роль в демократическом сообществе связана с их вдумчивостью, вдумчивость же — это философская черта: судейский статус лишь еще больше упрочится, если к нему добавить немного реальной философии. Более того, судьи находятся в восхитительном положении посредников между мнениями, (временно) утвердившимися в демократической системе, и истинами, выработанными в идеальном государстве. Посредством искусства интерпретации они могут делать то, что законодатель Руссо делал с помощью искусства прорицания²¹.

21. И вновь, подобно законодателю Руссо, судьи лишены суверенной власти принуждения: в некотором очень важном смысле они всегда должны ис-

Теперь рассмотрим вопрос «прав». Согласно философскому проекту, наши идеальные представители выходят с перечнем прав, который относится к каждому конкретному человеческому существу. Допустим, что данный перечень, как это принято среди современных философов, глубоко осмыслен и серьезен. Перечисленные права представляют собой согласованное целое, поясняющее, что может значить признание личности другого человека и его особых качеств нравственной деятельности. Философский перечень отличается от того перечня, который принят законодательно, однако есть и пересечения как с самим законодательством, так и с тем, что может быть названо «окружением закона» — я имею в виду мнения, ценности и традиции, в которых мы находим утешение всякий раз, когда внутренний град закона кажется нам чрезмерно стеснительным. Философ — я имею в виду представителя героической традиции, философа как основателя — призывает судей решиться на более системный отход от закона, чтобы в результате, пробравшись через пригороды, оказаться в идеальном государстве. Подобный призыв как никогда актуален в случае рассматриваемых прав. У прав есть одна характерная особенность: их нарушение требует незамедлительного вмешательства/восстановления. Судьи же являются не просто доступными, но именно подходящими инструментами этого самого вмешательства и восстановления²².

По сути, философ предлагает судьям процедуру решения, скопированную с модели идеального государства. Отчасти это лесть, но отчасти под этим есть и фактическое основание. Дискуссии судей в своем кругу действительно напоминают споры

като поддержки у народа или у альтернативных политических элит. Значит, фраза «судейская тирания» в применении к внедрению философски, но не демократически обоснованной позиции есть всегда некоторое преувеличение. С другой стороны, и помимо тирании существуют формы власти, ставящие препоны демократическому правлению.

22. Призыв и упор на актуальность особенно четко прослеживаются в работе Дворкина «О правах всерьез». Однако Дворкин, похоже, верит, что идеальное государство действительно существует, так сказать, в окружении. По мнению Дворкина, перечень философски обоснованных прав может также быть обоснован и в понятиях истории конституции и основополагающих правовых принципов Соединенных Штатов. Когда судьи претворяют эти права в жизни, они исполняют свой долг, учитывая то государство, которое мы имеем. Иное прочтение истории конституции см.: Ely R. *Democracy and Distrust*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980. Тезисы Или в определенном смысле созвучны двум ограничениям, за которые я ратовал. Для него идеальное государство также находится где-то по ту сторону американской конституции. Это подобающая цель для партий и движений, но не для судов.

в идеальном государстве куда больше, чем любые демократические дебаты. Можно с достаточно большой степенью правдоподобности утверждать, что права будут определены гораздо более корректно в результате размышлений немногих, чем в результате голосования многих²³. Философ предлагает судье в своих палатах всего лишь повторить тот аргумент, который был выработан философом во время уединенных размышлений, а затем превратить этот аргумент в «полезную практику», сначала расположив его или в законе, или в традиции, а также в тех ценностях, которые сопутствуют закону, а после чего начав принимать решения в свете нового закона. И тогда с необходимостью судьи начинают дозвон над решениями законодателей. Перед нами решающий момент, так как именно здесь напряжение между философией и демократией обретает свои материальные очертания.

Законодательная власть — это если и не реальность, то по крайней мере эффективная репрезентация народа, управляющего собой самостоятельно. Его члены имеют права действовать в рамках определенной сферы. Юридически установленные права могут трактоваться в контексте данной сферы двумя различными, но совместимыми способами. Во-первых, это границы, определяющие сферу. Отсюда следует простое уравнение: чем более обширный перечень прав, тем шире область правоприменения, а значит — тем уже пространство для законодательной активности. Чем больше прав судьи делегируют людям как индивидам, тем меньше свободы у народа как законодательной инстанции. Во-вторых, права — это принципы, структурирующие деятельность в рамках данной сферы, они определяют политику и институты. Таким образом, судьи действуют не просто на границах, какими бы узкими или широкими последние ни были. Их суждения представляют собой воздействия, глубоко проникающие в сферу законодательных решений²⁴. Теперь следующее: все три описанных выше ограничения народного волеизъявления могут быть представлены либо как защита, либо как проникновение. При этом очевидно, что третье ограничение одновременно сужает границы и делает возможным более глубокое воздействие. Как только философский перечень прав выходит за пределы двойного запрета на правовую дискриминацию и политическое подавление, он начинает способствовать

23. Осторожное и несколько неуверенное обоснование этого эффекта см.: Scanlon T. M. «Due Process» in *Nomos XXII/R*. Pennock, J. Chapman (Ed.). NY: New York University Press, 1977. P. 120–121.

24. В работе «Формы справедливости» Фисс предлагает наглядные примеры этого.

юридической активности, которую можно охарактеризовать как радикальное вмешательство в демократическое пространство.

Тут можно возразить, что данная позиция рассматривает права лишь в формальном смысле, игнорируя их содержание. А их содержание может именно подчеркивать, а не ограничивать народный выбор. Например, представьте себе философски, а затем и юридически признанное право на благосостояние²⁵. Смысл данного права вполне очевиден. Оно гарантирует каждому гражданину возможность полноценно практиковать свое гражданство; едва ли бы он имел подобную возможность, если бы ему приходилось голодать и искать кров, как для себя, так и для своей семьи. Безо всяких сомнений, вполне разумное право, однако мой тезис все еще остается в силе. Правовое внедрение прав на благосостояние приведет к радикальному сокращению диапазона действия демократического решения. Впредь именно судьи будут решать — а по мере накопления подобных случаев решать во всех подробностях, — каким именно должен быть характер и охват системы благосостояния, а также какого рода перераспределение для этого потребуются. Подобные решения с неизбежностью потребуют значительного правового контроля над государственным бюджетом, а также — косвенно — над уровнем налогообложения, то есть над теми вопросами, которые находились в самом эпицентре борьбы демократической революции.

Подобный ход событий будет принят убежденными демократами с гораздо большей легкостью, если расширенный перечень прав окажется инкорпорированным в конституцию посредством контролируемого народом процесса внесения поправок. В этом случае возникнет демократическое обоснование для новой (недемократической) власти философов и судей. На мой взгляд, народу едва ли стоит соглашаться на подобное решение, подразумевающее уступку столь большой части их каждодневной власти. Однако в современном государстве данная власть, которая лишь с большой натяжкой может быть названа каждодневной, реализуется столь косвенным образом, что вышеобозначенная уступка может оказаться не столь болезненной. Права, которые люди получают как индивиды (в данном случае — права на благосостояние, дарованные благоволящей бюрократией), могут в их понимании перевесить те права, которые они теряют как члены. Соответственно, нет ничего неправдоподобного в конституционных установлениях, напоминающих два

25. См.: *Michelman F.I. Welfare Rights*, а также: *Idem. On Protecting the Poor Through the Fourteenth Amendment* // *Harvard Law Review*. 1969. 83.

принципа справедливости Ролза²⁶. В этом случае вся сфера распределительной справедливости будет передана в распоряжение судов. Какое же разнообразие решений им предстоит принять! Только представьте себе дело о групповом иске, в котором рассматривается смысл принципа различия. Судьям предстоит решить, является ли группа, представленная в суде, самой обделенной группой в обществе (и все ли — и достаточное ли число — члены общества входят в эту группу). Если это так, то судьям предстоит решить, какие права вытекают из принципа различия, учитывая преобладающие материальные условия. Нет никакого сомнения в том, что судьям придется консультироваться по этому вопросу у экспертов и чиновников. Однако едва ли им будет иметь смысл консультироваться с законодательным органом, так как на эти вопросы, если речь действительно идет о правах, просто должны существовать правильные ответы — эти ответы с гораздо большей вероятностью будут известны философам, судьям, экспертам и чиновникам, а не рядовым гражданам или их представителям²⁷.

И все же, если народ будет чувствовать себя стесненным новыми утвержденными властями, он всегда может лишиться их полномочий. Процесс внесения поправок вполне доступен, однако постепенная эрозия законодательной энергии может сделать его на практике куда менее реальным, чем в теории²⁸. Отчасти по этой причине, а отчасти по тем причинам, к рассмотрению которых я сейчас перейду, я бы хотел отметить, что философам не следует спешить использовать инструмент судебной власти (или любой иной инструмент), а судьям, хотя им и подобает до некоторой степени быть философами права, не стоит торопиться превращаться в политических философов. Ошибочно пытаться внедрять философские принципы в закон посредством либо интерпретации законодательства, либо внесения в него поправок. В обоих случаях мы имеем дело с вырыванием философии из того политического контекста, к которому она относится. Вмешательство философа должно ограничиваться теми дарами, которые он предлагает. Иначе получается ситуация, аналогичная ситуации с приносящими дары греками, которых следует опасаться, так как у них на уме захват города.

26. Отстаивание данной позиции см.: *Gutmann A. Liberal Equality*. Cambridge, England: Cambridge University Press, 1980. P.199.

27. См.: *Дворкин Р.* Указ. соч. Особенно гл. 4 и 13.

28. Судейские вмешательства во имя широко трактуемых индивидуальных прав могут, помимо всего прочего, привести к эрозии народных энергий — по крайней мере, на левом фланге. Обоснование данного эффекта см. в моей статье «Левые и суды» (*Walzer M. The Left and the Courts* // *Dissent*. Spring 1981).

«Философ не является гражданином никакой общности идей. Именно это и делает его философом». Я привел эту цитату, чтобы указать на необходимость для политического философа отделить себя от политической общности, отрезать себя от эмоциональных уз и конвенциональных идей. Лишь в этом случае он может притязать на решение самых фундаментальных вопросов о смысле и цели политического сообщества (и вообще любого сообщества), а также о его должной структуре и должном управлении. Такого рода знание можно получить лишь извне. Изнутри доступен иной род знания, знание более узкое, партикуляристское. Я бы назвал его политическим знанием в противовес философскому. Оно отвечает на следующие вопросы: каков смысл и назначение данного конкретного сообщества? Какова подходящая структура для нашего сообщества и государства? Даже если допустить, что на поставленные вопросы есть правильные ответы (но все же вряд ли на конкретные вопросы есть ответы, даже если таковые имеются на вопросы общие), то их будет столько же, сколько существует сообществ. Однако извне сообществ будет существовать лишь один правильный ответ. Как существует множество пещер и лишь одно солнце, так и политическое знание является партикуляристским и плюралистическим, тогда как знание философское — универсальным и сингулярным. Следовательно, политический успех философов будет обозначать торжество сингулярной истины над плюралистической, что значит повторение структуры идеального государства в каждом доселе партикуляристском сообществе. Только представьте себе дюжину философов-царей: их вотчины будут одинаково устроены и одинаково управляемы, исключение будут составлять лишь неискоренимые географические отличия. (Если бы Бог был философом-царем, он бы обязательно выделил каждому сообществу идентичные или эквивалентные географические условия.) Все будет одинаковым и в случае дюжины сообществ, учрежденных в исходной позиции: существует лишь одна исходная позиция. Одинаковым все будет и в случае дюжины сообществ, сформированных неискаженной коммуникацией идеального состава участников: особенностью неискаженной коммуникации в отличие от обычного разговора является то, что сказать можно лишь ограниченное количество вещей²⁹.

29. Даже если бы нам пришлось связать философские выводы с неким набором исторических обстоятельств, как то делает Хабермас, воображая «дискурсивное формирование воли», происходящее «на определенной ста-

Теперь следующее: мы можем быть готовыми к тому, чтобы признать особую ценность за партикуляризмом и плюрализмом. А можем быть и не готовыми к этому. Принять тут решение не так-то просто. Плюрализм подразумевает целый ряд инстанций (мнений, структур, режимов, политик), по отношению к каждой из которых можно испытывать разные чувства. Мы можем ценить множественность или саму идею множественности, но при этом ужасаться огромному количеству инстанций и искать некое основание для их ограничения. Многие плюралисты на самом деле являются ограниченными плюралистами, и те ограничения, за которые они ратуют, вытекают из универсальных принципов. Можно ли в этом случае утверждать, что они ценят плюрализм? Они могут просто любить разнообразие, или они могут быть еще не готовыми вынести суждение по каждому вопросу, или они могут быть толерантными, или они могут быть безразличными. Или у них может быть инструменталистский подход: социальные эксперименты однажды (пусть и очень не скоро) приведут к установлению единой истины. Все это философские установки в том смысле, что они требуют взгляда извне. И в свете такого взгляда плюрализм навсегда останется в лучшем случае очень неопределенной ценностью. Но у большинства людей другая перспектива. Они находятся внутри своих сообществ и ценят свои собственные мнения и договоренности. К плюрализму они пришли через эмпатию и представление себя на месте другого; они понимают, что у других людей есть чувства, подобные их собственным. Также и философ может прийти к плюрализму, отказавшись от позиции «извне» и представив себя гражданином каждого сообщества. Но в этом случае ему грозит утрата твердого ощущения себя, а также той единенности, которая и делает его философом. Следствием такого хода событий станет снижение ценности приносимых философом даров.

Я никоим образом не стремлюсь принизить значимость этих даров. Просто мне представляется важным отметить, что ценность универсальной истины, увиденная изнутри конкретного сообщества, является столь же неопределенной, что и ценность плюрализма, увиденная извне каждого конкретного сообщества.

дии развития производительных сил»; или Ролз, утверждая, что принципы, выработанные в исходной позиции, применимы лишь для «демократических обществ в современных условиях», — все равно было бы верным утверждать, что эти выводы объективно истинны или правильны для целого ряда конкретных сообществ независимо от их наличной политики. См.: *Habermas J. Legitimation Crisis*. Boston: Beacon, 1975. P. 113; *Rawls J. Kantian Constructivism in Moral Theory // The Journal of Philosophy*. September 1980. 77. P. 518.

Но именно неопределенной, а не нереальной или незначительной: я абсолютно не сомневаюсь в том, что конкретные сообщества могут улучшать себя за счет стремления к реализации универсальных истин, а также за счет инкорпорирования (конкретных) аспектов философского учения в свой образ жизни. Все это граждане прекрасно понимают. Однако, с их точки зрения, вовсе не очевидно, что права абстрактных мужчин и женщин, обитателей некоего идеального государства, должны быть претворены в жизнь здесь и сейчас. Подобное претворение может вызывать у них беспокойство по двум причинам. Во-первых, оно приведет к замещению их собственных традиций, установлений и ожиданий. Последние тут же станут объектом философской критики; они не были разработаны «по своему усмотрению» мудрецом или основоположником; они есть результат исторических согласований, интриг и препираний. Но в этом-то все и дело. Данные традиции есть порождение коллективного опыта, они ценятся народом куда выше философских даров, так как первые принадлежат ему, а вторые — нет. Точно так же я могу ценить привычную мне неоднократно использованную вещь и испытывать неудобство с новым более совершенным аналогом.

Вторая причина для беспокойства куда больше связана с демократическими принципами. Люди ценят не просто хорошо знакомые им плоды своего опыта, но и сам опыт, сам процесс получения этих плодов. У них будут явные проблемы с пониманием того, почему гипотетический опыт неких абстрактных мужчин и женщин должен значить больше, чем их собственная история. Собственно, на это и претендует героический философ: гипотетический опыт не только преобладает, но и эффективно замещает опыт реальный. Как только универсальная истина была реализована, больше не остается никакого места для согласований, интриг и препираний. И тогда политическая жизнь сообщества оказывается навечно прерванной. Там, где когда-то у граждан была свобода действия, ее больше нет. Зачем им это нужно? Народ вполне может предпочесть истине политику, и этот выбор, если он будет сделан, неизбежно приведет к плюрализму. В любом политическом сообществе, члены которого сами формируют свои законы и институты, обязательно установится партикулярный, а не универсальный образ жизни. Эта партикулярность может быть преодолена лишь извне и лишь за счет подавления внутренних политических процессов.

Может показаться, что это второе — наиболее важное — беспокойство несколько преувеличено. Как и закон, философское учение прежде своей реализации нуждается в интерпретации. Интерпретации должны быть конкретными, они требуют ре-

альных, а не только гипотетических аргументов. Пока философ не отвоюет себе «абсолютной суверенности», его победа не сможет прервать или оборвать политическую активность. Если его победе суждено принять ту форму, которая была обрисована мной, то тогда нас ждет просто переключение фокуса политической активности с органов законодательной власти на органы власти судебной, с процесса принятия законов на процессы судебных тяжб. Но одновременно, раз уж это будет именно победа, она просто обязана будет способствовать универсализации; по крайней мере, она обязательно введет ограничения на плюрализм свободно развивающейся политики. Чем больше судьи будут являться «строгими исполнителями» философской доктрины, тем больше различные управляемые ими сообщества будут походить друг на друга и тем больше будут сужены возможности коллективного выбора граждан. Получается, что преувеличение не лишено смысла: граждане хоть в какой-то степени, но утрачивают контроль над своими жизнями. А значит, у них нет никаких оснований — демократических оснований — для того, чтобы следовать указаниям судей.

8

Конечно, всего этого можно избежать, если судьи начнут проводить политику «судейской сдержанности», блокируя или меняя законодательные решения лишь в самых крайних и редких случаях. Но мне представляется, что судейская сдержанность, равно как и судейское вмешательство, покоятся на некоей более фундаментальной философской позиции. Исторически сдержанность всегда связывалась со скептицизмом и релятивизмом³⁰. Конечно, верно, что философские взгляды меняются, и судьи должны внимательно следить за тем, чтобы не попасть под власть какой-нибудь преходящей моды. Но я склонен полагать, что судейская сдержанность вполне согласуется с самым сильным поступком, совершаемым философом во имя открываемых или конструируемых им истин. Существует определенное отношение, сопутствующее подобному поступку, его корни уходят в идеальное сообщество или же в совершенное собрание, из которых и вытекают тезисы философа. Это отношение — философская сдержанность, то есть банальное уважение по отношению к решениям, которые граждане совместно принимают в отношении себя. Философ совершил уход из сообщества.

30. См. например: *Ely R. Democracy and Distrust*. P. 57–59.

По той причине, что искомое им знание может быть обнаружено лишь снаружи данного конкретного сообщества, оно не имеет никаких прав внутри него.

Но все же следует заметить, что отстранение философа является спекулятивным, поэтому как рядовой гражданин он не теряет никаких своих прав. Его мнения ценны в той же мере, что и мнения всех остальных граждан; как и любой другой человек, он уполномочен добиваться реализации своих суждений, он уполномочен спорить, интриговать, препираться и т. д. Но ведя себя таким образом, он становится вовлеченным философом, то есть софистом, критиком, публицистом, интеллектуалом, а значит, он должен принимать и все риски, связанные с исполнением подобных социальных ролей. Я не подразумеваю, что он должен принимать риск смерти; это будет зависеть от условий вовлеченности в жизнь своего сообщества, философы, как и все прочие граждане, будут всегда надеяться на нечто более приятное, чем гражданская война и политическое преследование. У меня в голове два риска несколько иного рода. Первый риск — это риск поражения, ведь хотя вовлеченный философ и может притязать на правоту, он не может притязать ни на привилегии, ни на благоприятность окончательного решения. Он должен смириться с привычными несуразицами демократической политики. Второй риск — это риск партикуляризма, также являющегося для философа разновидностью поражения. Вовлеченность всегда подразумевает утрату — не тотальную, но вполне существенную — дистанции, критической перспективы, объективности и т. п. Софист, критик, публицист, интеллектуал должен всегда ориентироваться на заботы своих сограждан, он должен искать ответы на их вопросы, должен вплетать свои аргументы в ткань их истории. Философ должен сделаться настоящим согражданином в общности идей, тогда он просто не сможет полностью избежать всех нравственных и даже эмоциональных затруднений гражданства. Он может оставаться приверженцем философских истин естественного права, распределительной справедливости или прав человека, но его политические аргументы, скорее всего, будут казаться паллиативами этих истин, адаптированными под нужды конкретного народа: с точки зрения исходной позиции — провинциальными; с точки зрения идеальной речевой ситуации — идеологическими.

Следует отметить, что философ, вовлеченный, вновь вернувшийся в общность идей, подобен политическому поэту, он подобен законодателю Шелли, но никак не Руссо. Хотя он и надеется по-прежнему, что значимость его аргументов выходит далеко за пределы данного сообщества, он прежде всего «локален». Значит, философ должен быть готовым оставить приви-

легии дистанции, целостного замысла и абсолютной суверенности, чтобы с помощью «мыслей, которые дышат, и слов, которые горят», пробиваться к собственному народу и вдохновлять его на свершения. Ему также придется отказаться от любых прямых мер по установлению идеального государства. Подобная капитуляция и является философской сдержанностью.

Отсюда следует судейская сдержанность (а также сдержанность авангарда и бюрократическая сдержанность). Судьи должны стараться как можно точнее придерживаться решений демократического собрания, они должны проводить в жизнь прежде всего базовые политические права, способствующие поддержанию существования этого собрания и защищающие его членов от дискриминационного законодательства. Судьям не следует навязывать никаких прав сверх указанных, если только на то не было соответствующего демократического решения. Судьи как судьи должны не обращать внимания на то, что возможен и более исчерпывающий перечень прав и что где-то он уже был обоснован. В данном случае это «где-то» не имеет силы.

И вновь я не отрицаю, что права могут быть обоснованы где-то еще, кроме демократического собрания. Собственно, базовые политические и нравственные истины могут быть обоснованы лишь в философской реальности, а сама эта реальность находится вне/по ту сторону/отдельно от каждого конкретного сообщества. Но философское обоснование не следует путать с политическим санкционированием. Они относятся к двум совершенно разным сферам человеческой активности. Санкционирование — это дело граждан, управляющих самими собой. Обоснование — это дело мышления одинокого мыслителя, населяющего мир, обитаемый лишь им самим или лишь плодами его размышлений. У демократии нет никаких прав в сфере философии, также и у философов нет никаких особых прав в политическом сообществе. В мире мнений истина — лишь еще одно мнение, а философ — лишь еще один его производитель.

Перевод с английского Дмитрия Узланера

Рынок и форум

ТРИ РАЗНОВИДНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ¹

ЮН ЭЛЬСТЕР



ХОЧУ сравнить три представления о политике в целом и о демократии в частности. Сначала я рассмотрю теорию социального выбора как одну из разновидностей более широкого класса теорий, имеющих некоторые общие черты. В частности, эти теории разделяют представление о том, что политический процесс — это средство, а не самоцель, и о том, что политическое действие — это частный, а не общественный акт (например, индивидуальное и тайное голосование). Параллельно с этим обычно утверждается, что цель политики — оптимальный компромисс между имеющимися и непримиримо противоречащими друг другу частными интересами.

Две другие разновидности политической теории возникают, когда начинают отрицать, во-первых, частный характер политического поведения и, во-вторых, заходят еще дальше, отрицая инструментальную природу политики. Согласно теории Юргена Хабермаса, целью политики должен быть не компромисс, а рациональное согласие, и решающим политическим действием — участие в общественной дискуссии с целью достижения консенсуса. Согласно теоретикам «демократии участия», от Джона Стюарта Милля до Кэрол Пэйтман, целью политики является воспитание и преобразование ее участников. Политика, считают сторонники этой точки зрения, является самоцелью — многие даже утверждали, что она служит олицетворением благой жизни. Я рассмотрю три этих взгляда в обозначенном порядке. Я представлю их в несколько упрощенном виде, но, надеюсь, не настолько, чтобы моя критика создала вообразяемого противника.

1. Перевод выполнен по изданию: © Elster J. The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory // Foundations of Social Choice Theory / J. Elster, A. Hylland (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1986. P. 103–32.

Принято считать, что политика имеет дело с общественным благом, и особенно с теми случаями, когда его невозможно достичь путем суммирования действий индивидов, преследующих свои частные интересы. В частности, нескоординированные действия на основе множества индивидуальных выборов могут привести к последствиям худшим, чем те, которых можно было достичь в результате координации действий. Политические институты создаются как средство исправления таких «провалов рынка», понимаемых как в статическом смысле неспособности обеспечить общественные блага, так и в более динамическом — разрушения саморегулирующихся качеств, обычно приписываемых рыночному механизму². В дополнение к этому существует распределяющая задача политики — движение вдоль границы Парето-оптимальности, как только она была достигнута³. Согласно первому представлению о политике, эта задача по своей сути связана с борьбой интересов и достижением компромиссов. Препятствием для достижения согласия служит не только то, что большинство людей хотят перераспределения в свою пользу (по крайней мере, не к своей невыгоде)⁴. Более глубокая причина того, что достижение консенсуса блокируется, кроется в том, что люди расходятся в своих взглядах на то, что такое справедливое распределение.

Я намерен проанализировать теорию социального выбора как образец такого «частно-инструментального» представления о политике, потому что она очень хорошо демонстрирует логику и ограничения такого подхода. Другие версии таких представлений — например, шумпетеровские и нешумпетеровские

2. В своей более ранней работе я называю эти два варианта провалов рынка соответственно *субоптимальностью* и *контрфинальностью*, связывая их обоих с коллективным действием; см.: Elster J. Leibniz et la Formation de l'Esprit Capitaliste. Paris: Aubier-Montaigne, 1975. Ch. 5.

3. Это упрощение. Во-первых, как было показано Самуэльсоном (Samuelson P. The evaluation of real national income // Oxford Economic Papers. January 1950. Vol. 2. № 1. P. 1–29), могут быть политические ограничения, препятствующие достижению Парето-эффективной границы. Во-вторых, само существование некоторых точек, которые Парето-превосходят статус-кво, но включают разные выгоды для участников, может блокировать достижение какой-либо из них.

4. Хаммонд (Hammond P. J. Why ethical measures need interpersonal comparisons // Theory and Decision. October 1976. Vol. 7. Issue 4. P. 263–274) предлагает полезный анализ последствий эгоистических предпочтений для распределения доходов, показывая, что «без межличностных сравнений какого-то рода любое социальное ранжирование предпочтений в пространстве возможных распределений дохода должно быть диктаторским».

теории — ближе к реальному политическому процессу и именно поэтому менее подходят для моих целей. Например, тезис Шумпетера о том, что предпочтения электората формируются и являются объектом манипуляции со стороны политиков⁵, затемняет ключевое для моего анализа различие между политикой как суммой имеющихся предпочтений и политикой как трансформацией предпочтений с помощью рациональной дискуссии. И хотя неошумпетерианцы справедливо подчеркивают роль политических партий в аккумуляции предпочтений⁶, я не затрагиваю здесь эти посредствующие механизмы. В любом случае политические проблемы также возникают внутри политических партий, и мои утверждения могут быть применены к таким политическим процессам низшего уровня. Вообще-то многое из того, что будет мной сказано, более применимо к политике меньших масштабов — внутри фирмы, организации или местного сообщества, чем к национальным политическим системам.

В самых общих чертах структура теории социального выбора такова⁷. 1) Мы начинаем с *данной* совокупности агентов, так что вопрос нормативного обоснования политических границ не возникает. 2) Мы предполагаем, что агенты имеют *данный* набор альтернатив, так что, например, проблема манипуляции повесткой дня не возникает. 3) Предполагается, что агенты имеют предпочтения, которые также просто *даны* и не меняются в ходе политического процесса. Более того, предпочтения каузально независимы от набора альтернатив. 4) В стандартной (и пока единственной работающей) версии теории предпочтения считаются чисто ординальными, так что индивид не может выразить интенсивность своих предпочтений, а внешний наблюдатель — сравнить интенсивность предпочтений разных индивидов. 5) Мы предполагаем, что для каждой пары индиви-

дов предпочтения являются определенными и завершенными и обладают формальным свойством транзитивности — то есть если А предпочтительнее В, а В предпочтительнее С, то тем самым А предпочтительнее С.

В рамках этой структуры задачей теории социального выбора является ранжирование предпочтений относительно тех или иных альтернатив. Может показаться, что требуется нечто большее: почему не определить цель как выбор одной из альтернатив? Обычно, однако, имеется некоторая неопределенность относительно того, какие альтернативы реально достижимы, так что полезно иметь ранжирование на тот случай, если наиболее предпочтительные альтернативы окажутся недостижимыми. Ранжирование должно удовлетворять следующим критериям: 6) Как и индивидуальные предпочтения, оно должно быть полным и транзитивным. 7) Оно должно быть Парето-оптимальным, в том смысле, что не существует одной альтернативы, которая была бы предпочтительна перед другой для общества в целом и при этом оставалась индивидуально предпочтительной для каждого. 8) Социальный выбор между двумя данными альтернативами должен зависеть только от того, как индивиды ранжируют эти два варианта, и не зависеть от изменений их предпочтений относительно других альтернатив. 9) Социальное ранжирование предпочтений должно отражать и уважать индивидуальные предпочтения даже более, чем это делают условия Парето-оптимальности. Это положение включает в себя многое; наиболее важными здесь являются условия *анонимности* (все индивиды должны выступать как равные), *отсутствия диктатуры* (ни один индивид не должен диктовать социальный выбор), *либерализма* (все индивиды должны иметь частную сферу, в рамках которой их предпочтения являются решающими) и *устойчивости к стратегическому манипулированию* (выражение ложных предпочтений не должно вознаграждаться).

Содержание теории социального выбора выражается группой теорем о «невозможности» и «уникальности», каждая из которых либо утверждает, что невозможно одновременно удовлетворить данный набор предпочтений, либо описывает уникальный метод суммирования предпочтений. Теоремам невозможности было уделено много внимания, но для нас сейчас они не очень важны. Они в основном основываются на недостаточности имеющейся информации о предпочтениях, в связи с исключительным вниманием к порядковым предпочтениям⁸. Действительно, в настоящее время мы еще толком не зна-

5. По словам Шумпетера (*Шумпетер Й.* Капитализм, социализм и демократия. М.: Экономика, 1995. С. 348), «воля народа есть продукт, а не движущая сила политического процесса». Не следует, однако, заключать, как это делает Лайвели (*Lively J.* Democracy. Oxford: Blackwell, 1975), что Шумпетер тем самым отказывается от аналогии с рынком, поскольку, с точки зрения Шумпетера (*Schumpeter J.* Business Cycles. NY: McGraw-Hill, 1939. P. 73), потребительские предпочтения не в меньшей мере могут быть объектом манипуляции (с некоторыми ограничениями, описанными в: *Elster J.* Explaining Technical Change. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Ch. 5).

6. См. в особенности: *Downs A.* An Economic Theory of Democracy. NY: Harper, 1957.

7. См. подробнее: *Эрроу К. Дж.* Коллективный выбор и индивидуальные ценности. М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2004; *Сен А. К.* Collective Choice and Social Welfare. San Francisco: Holden-Day, 1970 и *Kelly J.* Arrow Impossibility Theorems. NY: Academic Press, 1978, а также раздел, написанный Хьюлландом в: *Foundations of Social Choice Theory/J. Elster, A. Hylland (Eds.).* Cambridge: Cambridge University Press, 1986..

8. Ср.: *D'Aspremont C., Gevers L.* Equity and the informational basis of collective choice // *Review of Economic Studies.* October 1977. Vol. 44. P. 199–210.

ем, как выйти за пределы порядковости. Оказание взаимных услуг и торговля голосами могут помочь выразить некоторые из порядковых аспектов предпочтений, но не без некоторых проблем⁹. Но даже если концептуальные и технические проблемы для внутриличностных и межличностных сравнений интенсивности предпочтений будут преодолены¹⁰, многие возражения против теории социального выбора все равно останутся.

Я намерен осветить два типа таких возражений, относящихся к постулированию предпочтений как данных. Я попытаюсь показать, во-первых, что предпочтения, которые люди выражают, не всегда хорошо демонстрируют то, что они действительно предпочитают; и, во-вторых, что то, что они действительно предпочитают, может быть лишь шатким основанием для социального выбора.

В реальной жизни предпочтения никогда не «даны», в том смысле, что они не могут быть непосредственно наблюдаемы. Для того чтобы служить началом процесса социального выбора, они должны быть как-то *выражены* индивидами. Выражение предпочтений есть действие, которое предположительно направляется теми же предпочтениями¹¹. Но тогда далеко не очевидно, что индивидуально рациональным действием является выражение предпочтений такими, как они есть. Некоторые методы суммирования предпочтений таковы, что для индивида может быть выгодно выразить ложные предпочтения, то есть результат в плане реальных предпочтений может в некоторых случаях быть лучше, если не выражать их честно. Условие устойчивости к стратегическому манипулированию для механизмов социального выбора было выработано специально для того, чтобы исключить такую возможность. Однако случается, что системы, в которых честность всегда выгодна, оказываются довольно непривлекательными в других отношениях¹². Получается, что мы должны признать возможность того, что, даже если

9. Riker W., Ordeshook P. C. An Introduction to Positive Political Theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1973. P. 112–111.

10. Ср. разделы, написанные Дональдом Дэвидсоном и Алленом Гиббардом в: Foundations of Social Choice Theory.

11. Вероятно (но не очевидно), потому что актер может иметь несколько ранжирований предпочтений и основываться на предпочтениях высшего порядка для определения того, какие из предпочтений первого порядка следует выражать, как это предполагается в работе: Sen A. K. Liberty, unanimity and rights // *Economica*. 1976. Vol. 43. P. 217–245.

12. Паттанаик (*Pattanaik P.* Strategy and Group Choice. Amsterdam: North-Holland, 1978) дает обзор известных результатов. Единственным «стратегически устойчивым» механизмом социального выбора оказывается диктаторский (у диктатора нет никаких причин искаженно выражать свои предпочтения) и один из случайных — приравнивание вероятности того, что

мы потребуем, чтобы социальные предпочтения были Парето-оптимальны по отношению к выраженным предпочтениям, они, то есть социальные предпочтения, могут оказаться не оптимальны по отношению к предпочтениям реальным. Устойчивость к стратегическому манипулированию и коллективная рациональность живут и умирают вместе. Поскольку получается, что первая должна пасть, то же постигнет и вторую. Но тогда становится очень трудным защищать представление о том, что результат социального выбора выражает общее благо, поскольку есть возможность, что все предпочли бы другой результат.

Амос Тверски указал на другую причину того, почему выбор — или выраженные предпочтения — не могут однозначно восприниматься как выражение реальных предпочтений во всех случаях¹³. Согласно «гипотезе скрытых предпочтений», выбор часто не выявляет, а скрывает предпочтения. Это особенно проявляется в двух типах ситуаций. Во-первых, это случаи предвиденного сожаления, связанного с рискованным решением. Рассмотрим следующий пример, предложенный Тверски:

Когда Джуди исполнилось двенадцать лет, ей был предложен выбор: провести уик-энд в городе вместе со своей тетей (Г) или устроить вечеринку для всех ее друзей. Вечеринка могла быть организована либо в саду (ВС), либо в доме (ВД). Вечеринка в саду была бы намного более приятна, но мог пойти дождь, и в этом случае было бы более разумно устроить вечеринку дома. Оценивая три эти возможности, Джуди замечает, что погодные условия не влияют существенно на Г. Но если она выбирает вечеринку, то все обстоит по-другому. Вечеринка в саду доставит много радости, если погода будет хорошей, но будет обречена на провал, если пойдет дождь, в каком случае вечеринка в доме будет вполне приемлема. Беда в том, что Джуди предвидит, как она будет сожалеть, если вечеринка будет дома, а погода окажется хорошей.

Теперь предположим, что по каким-то причинам возможность устроить вечеринку в саду исключается. В этом случае вечеринка дома при хорошей погоде не вызовет никаких сожалений, поскольку теперь у Джуди все равно нет другого места для нее. Поэтому устранение возможного варианта действий (устройства вечеринки в саду) позволяет избежать сожалений, связанных с вечеринкой дома, и увеличивает ее ценность. В таком случае разумно полагать, что если для Джуди Г и ВД были одинаково ценны при наличии ВС, то, когда ВС более не существует, ВД она предпочтет Г.

данный вариант будет выбран к пропорции избирателей, имевших его в качестве первого выбора.

13. Tversky A. Choice, preference and welfare: some psychological observations. Paper presented at a colloquium on «Foundations of social choice theory», Ustaset (Norway), 1981.

Мы видим здесь нарушение условия (8), так называемой независимости от иррелевантных альтернатив. Выраженные предпочтения каузально зависят от набора альтернатив. Мы можем постулировать, что реальные предпочтения, определенные через набор возможных результатов, остаются постоянными в противоположность случаю, который будет рассмотрен ниже. Но предпочтения по отношению к *парам* (выбор, результат) зависят от набора возможных вариантов выбора, потому что «цена ответственности», по-разному связанная с различными такими парами, зависит от того, «что еще можно было бы сделать». Хотя Джуди не могла бы избежать затруднения, нарочно сделав вечеринку в саду невозможной¹⁴, она могла бы обрадоваться событию, которое она не контролировала за пределами ее возможности управления, которое привело бы к тому же результату.

Второй класс ситуаций, в которых Тверски разграничивает реальные и выраженные предпочтения, касается решений не рискованных, но неприятных. Например, «общество может предпочесть спасти жизнь одного человека, пожертвовав другим, но не может решить, кого спасти». Фактически потерю двух жизней из-за бездействия могут предпочесть потере одной жизни из-за намеренного действия. Эти примеры тесно связаны с проблемами соотношения «утилитаризма действий» и «утилитаризма правил»¹⁵. Человек вполне может считать желательным достижение состояния А и в то же время не желать быть тем, благодаря кому оно наступит. Причина этого может быть уважительной, а может и не быть. Последнее возможно в том случае, когда человек боится обвинений со стороны родственников того человека, которого сознательно обрекли на смерть, или просто если он путает каузальную и моральную ответственность. В таких случаях выраженные предпочтения могут вести к выбору, который явно идет против реальных предпочтений участников ситуации.

Вторая, вероятно, более фундаментальная трудность — в том, что реальные предпочтения могут сами каузально зависеть от на-

бора достижимых альтернатив. Один из таких случаев проиллюстрирован басней о лисе и зеленом винограде¹⁶. Для порядкового утилитариста, каким называет себя Кеннет Эрроу¹⁷, для лисы нет никакой потери, если не дать ей винограда, так как она и так посчитала его зеленым. Но, конечно же, причиной того, что она посчитала его зеленым, было ее убеждение в том, что винограда в любом случае не достать, так что трудно обосновать распределение винограда, ссылаясь на предпочтения лисы. Противоположный случай «контрадаптивных предпочтений» — у соседей трава всегда зеленее и запретный плод всегда слаще — также ставит в тупик теоретика социального выбора, так как подразумевает, что если уважать такие предпочтения, то они не будут удовлетворены, а ведь весь смысл уважения подобных предпочтений был в том, чтобы дать возможность удовлетворения их.

Адаптивные и контрадаптивные предпочтения являются только особыми случаями более общего класса желаний, которые не удовлетворяют некоторому содержательному критерию приемлемых предпочтений, в противоположность чисто формальному критерию транзитивности. Я намерен проанализировать два таких критерия: автономию и мораль.

Автономия характеризует способ, каким формируются предпочтения, а не их конкретное содержание. К сожалению, я не в состоянии дать позитивное определение автономных предпочтений, так что я буду полагаться на два непрямых подхода. Во-первых, автономия для желаний есть то же, что и суждение для представлений. Понятию суждения также трудно дать формальное определение, но мы по крайней мере знаем, что есть люди, наделенные способностью суждения в большей степени, чем другие: это люди, которые могут принять во внимание множество разнообразных обстоятельств, имеющих отношение к рассматриваемой проблеме, таким образом, что никому из ее элементов не будет придано ненадлежащего значения. В таких людях процесс формирования представлений не нарушен когнитивными дефектами, пустыми размышлениями и т. д. Сходным образом, автономные предпочтения — это те, которые не сформированы иррелевантными каузальными процессами (исключительно бесполезное объяснение...). Чтобы немного улучшить его, рассмотрим небольшой список таких иррелевантных каузальных процессов. Они включают адаптивные и контрадаптивные предпочтения, конформизм и антиконформизм,

16. Ср.: *Elster J. Sour Grapes*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Ch. III, где обсуждается это понятие.

17. *Arrow K. Some ordinalutilitarian notes on Rawls's theory of justice* // *Journal of Philosophy*. 1973. Vol. 70. P. 245–263.

увлечение всем новым и одинаково неразумное сопротивление новому. Другими словами, предпочтения могут быть сформированы приспособлением к возможному, к тому, что делают другие люди, или к тому, что человек сам делал в прошлом, — или желанием как можно больше отличаться от всего перечисленного ранее. Во всех этих случаях источник предпочтений не в самой личности, но извне — что подрывает ее автономию.

Мораль, несомненно, есть нечто еще более спорное. В рамках кантианской традиции будет даже поставлено под сомнение, может ли она вообще отличаться от автономии. Предпочтения моральны или аморальны в силу своего содержания, а не способа, каким они были сформированы. Вполне бесспорными примерами неэтичных предпочтений являются злорадные или садистские желания и, вероятно, также желание иметь «позиционные блага», то есть такие блага, обладать которыми по определению могут лишь немногие¹⁸. Желание иметь доход вдвое выше среднего может (в случае реализации) привести к снижению уровня благосостояния для всех, так что такие желания не проходят кантовский тест на универсализацию¹⁹. И они также тесно связаны с недоброжелательностью, ибо один из способов получить больше, чем другие, — сделать так, чтобы они получили меньше; и нередко это оказывается более эффективным методом, чем попытка превзойти их²⁰.

Чтобы показать, как можно отличить недостаточную автономию от недостаточной нравственной ценности, я буду использовать *конформность* как термин для обозначения желания, вызванного стремлением быть как все, и *конформизм* для желания быть как все (а также аналогично определенные понятия антиконформности и антиконформизма). Конформность предполагает, что желания других людей вторгаются в сферу формирования моих желаний, конформизм — что они неизбежно входят в описание объекта моих желаний. Конформность может повлечь за собой конформизм, но может также вести и к анти-

18. Hirsch F. *Social Limits to Growth*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1976.
19. Хаавелмо (Haavelmo T. Some observations on welfare and economic growth // *Induction, Growth and Trade: Essays in Honour of Sir Roy Hurrud/W. A. Eltis, M. Scott, N. Wolfe* (Eds.). Oxford: Oxford University Press, 1970. P. 65–75) предлагает модель, в которой каждый теряет в благосостоянии, пытаясь угнаться за соседями.

20. Можно принимать достижения других в качестве параметра, а свои как контролируемую переменную или, наоборот, пытаться манипулировать достижениями других так, чтобы они были меньше своих. Первый из этих способов получения позиционных благ явно вызывает менее возражений, чем второй, но все же он менее чист, чем не делающее никаких сравнений желание достичь некоторого уровня совершенства.

конформизму, как в замечании Теодора Зелдина о том, что среди французских крестьян «престиж в большой степени обуславливался следованием традициям, так что от сына нонконформиста ожидалось, что он тоже будет нонконформистом»²¹. Ясно, что конформность может повлечь желания в нравственном отношении похвальные, но недостаточно автономные. Напротив, я не вижу как можно априорно исключить возможность автономного недоброжелательства, хотя я бы приветствовал доказательство того, что автономия несовместима не только с антиконформностью, но и с антиконформизмом.

Теперь можно сформулировать возражение политическим представлениям, лежащим в основе теории социального выбора. В сущности, это то, что она воплощает путаницу между поведением, уместным на рынке и не уместным на форуме. Понятие суверенности потребителя приемлемо потому и до той степени, что потребитель выбирает между вариантами действий, которые отличаются только тем, как они влияют на него. Однако в ситуациях политического выбора от гражданина требуется выразить предпочтения относительно состояний, которые отличаются по тому, как они влияют на других людей. Это означает, что нет аналогичного обоснования для соответствующего понятия суверенитета гражданина, так как другие люди могут на законном основании возразить против социального выбора, основанного на предпочтениях, ущербных в тех отношениях, какие я описал. Механизмы социального выбора могут решить проблемы «фиаско рынка», возникающие в силу неограниченного суверенитета потребителей, но как способ распределения благосостояния они безнадежно неадекватны. Если бы люди влияли друг на друга, только наступая на ноги или сваливая мусор на участок соседа, механизм социального выбора с этим бы справился. Но задачей политики является не только ликвидация неэффективности, но и реализация справедливости — цель, для которой суммирование *до*-политических предпочтений является неадекватным средством.

Это наводит на мысль о том, что принципы форума отличны от принципов рынка. Древняя традиция, идущая еще от греческих полисов, полагает, что политика должна быть открытой и публичной деятельностью, в отличие от изолированного, частного выражения предпочтений, происходящего при покупке и продаже. В следующих разделах я рассмотрю две различные концепции публичной политики, все более отличающиеся от «рыночной» политической теории. Но перед этим я хочу

21. Zeldin T. *France 1848–1945*. Vol. 1. Oxford: Oxford University Press, 1973. P. 134.

вкратце остановиться на возражении сказанному, которое мог бы сделать теоретик социального выбора. Он мог бы заявить, что единственной альтернативой суммированию имеющихся предпочтений является цензура или патернализм. Он может согласиться с тем, что злонамеренные и адаптивные предпочтения нежелательны, но добавить, что любой институциональный механизм для их ликвидации подвергся бы злоупотреблениям и служил бы частным целям рвущихся к власти индивидов. Лекарство оказалось бы хуже болезни. Это возражение принимает на веру, что (i) единственной альтернативой суммированию данных предпочтений является цензура и (ii) что цензура всегда нежелательна. Роберт Гудин в своей работе «Отмывая предпочтения» ставит под сомнение второе положение, доказывая, что «отмывание» или «фильтрация» предпочтений с помощью самоцензуры есть допустимая альтернатива аккумуляции имеющихся предпочтений. Я же сейчас намереваюсь обсудить вызов первому положению, а именно идею трансформации предпочтений посредством публичной и рациональной дискуссии.

II

Сегодня этот взгляд ассоциируется преимущественно с работами Юргена Хабермаса об «этике дискурса» и «идеальной речевой ситуации». Как я уже отметил выше, я намерен представить стилизованную версию идей Хабермаса, хотя, надеюсь, некоторое сходство с оригиналом останется²². Ядром этой теории является идея о том, что политическая система должна не суммировать, или фильтровать, предпочтения, но изменять их через публичные дебаты и противоборство. Таким образом, на входе механизма социального выбора окажутся не «сырые», вполне вероятно, эгоистичные или иррациональные предпочтения, но просвещенные и неэгоистичные. Или, скорее, не будет нужды в механизме агрегирования предпочтений, поскольку рациональная дискуссия станет порождать единодушие в предпочтениях. Когда частные и специфические желания будут очищены и переформированы в публичной дискуссии об общем благе, появятся одинаковые, определенные и рациональные желания. Не оптимальный компромисс, но единодушное согласие — цель политики, согласно этим взглядам.

22. Я опираюсь в основном на: *Habermas J. Diskursethik — notizen zu einem Begründungsprogramm*. Mimeographed, 1982. Я также благодарю Хельге Хойбрэттен, Руне Слагстада и Гуннара Скирбекка за терпеливое разъяснение мне различных аспектов теории Хабермаса.

Представляется, что в основе этой теории лежат два положения. Первое — то, что некоторые доводы просто не могут быть высказаны публично. Во время политических дебатов невозможно доказывать, что данное решение следует выбрать потому, что оно хорошо для оратора. Самим актом участия в публичных дебатах — доказывая, а не торгуясь — человек исключает возможность использования подобных аргументов²³. Участие в дискуссии может рассматриваться как род самоцензуры, как данное заранее выражение приверженности идее рационального решения. Могут сказать, что этот вывод слишком сильный. Первый аргумент показывает только то, что в публичных дебатах нужно на словах изображать некоторую приверженность общему благу.

Второе положение заключается в том, что со временем соображения об общем благе повлияют на участника дискуссий. Невозможно бесконечно восхвалять общее благо *du bout des lèvres*²⁴, ибо — как доказывал Паскаль в контексте своего пари, — начав изображать предпочтения, кончишь тем, что на самом деле примешь их²⁵. Это не концептуальное, а психологическое утверждение. Чтобы объяснить, почему, упражняясь в рациональной дискуссии, сам начнешь верить в то, что говоришь, можно сказать, что люди склонны к тому, чтобы приводить к согласию то, что они говорят, и то, что имеют в виду, чтобы уменьшить диссонанс. Но в нашем контексте это опасный аргумент. Уменьшение диссонанса не порождает автономные предпочтения. Скорее, для того чтобы разрушить предрассудки и эгоизм, следует применять силу разума. Говоря голосом разума, человек сам также подвергает себя критике разума.

Суммирую: концептуальная невозможность выражения эгоистических аргументов в дебатах об общем благе и психологическая трудность выражения заботы о других без того, чтобы не усвоить ее, совместно приводят к тому, что общественная дискуссия способствует общественному благу. *Volonté générale*²⁶ тогда будет не просто Парето-оптимальной реализацией данных (или выраженных) предпочтений²⁷, но результатом предпочтений, сформированных заботой об общем благе. Например, простое суммирование имеющихся предпочтений может учесть

23. *Midgaard K. On the significance of language and a richer concept of rationality // Politics as Rational Action/L. Lewin, E. Vedung (Eds.). Dordrecht: Reidel, 1980. P. 83–97.*

24. Неискренне, букв.: на кончике губ (фр.). — Прим. пер.

25. По поводу аргумента Паскаля см: *Elster J. Ulysses and the Sirens*. Ch. II.

26. Общая воля (фр.), выражение Ж.-Ж. Руссо. — Прим. пер.

27. Как полагают авторы статьи: *Runciman W. G., Sen A. Games, justice and the general will // Mind. 1965. Vol. 74. P. 554–562.*

некоторые негативные экстерналии, но не те, которые влияют на будущие поколения. Механизм социального выбора может предотвратить выбрасывание мусора во двор соседей, но не загнивание будущего. Более того, соображения распределительной справедливости в рамках Парето-ограничения теперь получают более прочное основание, особенно когда можно будет также избежать проблемы устойчивости к стратегическому манипулированию. Одним ударом можно достичь и более рациональных предпочтений, и гарантии того, что они действительно будут выражены.

Теперь я хочу выдвинуть ряд возражений против описанных выше взглядов. Я должен объяснить, что целью этой критики является не разрушение теории, но выявление некоторых пунктов, которые должны быть укреплены. Вообще-то я в целом симпатизирую фундаментальным положениям этой теории, но боюсь, что она может быть расценена как утопическая, как в смысле игнорирования проблемы того, как достигнуть описываемое ею состояние, так и в смысле пренебрежения некоторыми элементарными фактами человеческой психологии.

Первое возражение предполагает необходимость вновь обратиться к проблеме патернализма. Не будет ли на самом деле необоснованным вмешательством в жизнь людей — навязать гражданам участие в политической дискуссии? Могут ответить, что есть связь между правом голоса на выборах и обязанностью участия в дискуссии, так же как правам соответствуют обязанности в других случаях. Чтобы приобрести право голоса, необходимо выполнять некоторые гражданские обязанности, которые представляют собой нечто большее, чем нажатие «кнопки для голосования» на телевизоре. В основе этого ответа лежат две разные идеи. Во-первых, то, что право голоса должны иметь только те, кого достаточно волнуют проблемы политики, чтобы он пожелал уделить ей часть своих ресурсов и прежде всего времени. Во-вторых, то, что следует поощрять *просвещенные* предпочтения в качестве вклада в процесс голосования. Первый аргумент поощряет участие и дискуссии как проявление интереса, но не придает ей инструментальной ценности самой по себе. Согласно логике этого аргумента, можно было бы потребовать, чтобы люди платили за право избирать. Второй аргумент одобряет дискуссии как средство к улучшению — она позволит не только отобрать «нужных» людей, но и сделает их более подготовленными для участия в политике.

Эти доводы могут быть достаточно убедительными в почти идеальном мире, в котором озабоченность политикой распределена более-менее равномерно, но в реальном мире они не работают. Люди, которые преодолеют высокий порог для

участия, сконцентрированы в привилегированных слоях населения. Так что в лучшем случае все это приведет к патернализму, в худшем — высокие идеи рациональной дискуссии приведут к созданию самоизбранной элиты, члены которой тратят время на политику потому, что хотят власти, а не потому, что их волнуют обсуждаемые вопросы. Как и в других случаях, которые будут рассмотрены ниже, лучшее может оказаться врагом хорошего. Я не говорю, что невозможно создать такой идеал, который бы допускал и рациональную дискуссию, и участие в меньшей степени, — просто любой дизайн институтов должен учитывать неизбежность компромисса между этими двумя целями.

Мое *второе возражение* заключается в том, что, даже при наличии неограниченного времени для дискуссии, всеобщее и рациональное согласие может быть и не достигнуто. Разве не могут быть обоснованные и неразрешимые различия мнений о природе общего блага? Разве не может быть даже плюрализм высших ценностей?

Я не собираюсь обсуждать это возражение в подробностях, так как в любом случае его предвосхищает *третье возражение*. Поскольку в реальности время для дискуссии всегда ограничено, — часто тем сильнее, чем важнее обсуждаемые проблемы, — единодушие будет возникать редко. Для любого же сочетания предпочтений, отличающегося от единогласного, будет необходим механизм социального выбора для их агрегирования. Обсуждать можно лишь какое-то время, а затем придется принимать решение, даже если остаются большие расхождения во мнениях. Это возражение, таким образом, пытается показать, что трансформация предпочтений может только дополнить агрегацию предпочтений, но никогда не сможет заменить ее.

Несомненно, большинство сторонников обсуждаемой теории с этим согласятся. Да, действительно, скажут они, даже если идеальная речевая ситуация никогда полностью недостижима, результаты политического процесса улучшатся, если мы будем к ней приближаться. *Четвертое возражение* ставит это под сомнение. В некоторых случаях «немного дискуссии» может быть опасным, хуже, чем никакой дискуссии вообще; например, если это объединяет некоторых, но не всех участников в понимании общего блага. Следующий пример иллюстрирует это:

Однажды два мальчика нашли торт. Один из них сказал: «Прекрасно! Я съем этот торт!» Другой возразил: «Нет, это нечестно! Мы нашли его вместе и должны разделить поровну, половину тебе и половину мне». Первый мальчик ответил: «Нет! Весь торт мой!» Мимо проходил взрослый и сказал: «Джентльмены,

не стоит вам драться из-за этого. Вам нужен компромисс. Дай ему три четверти торта»²⁸.

Трудность здесь создает то, что в механизме социального выбора, предложенном взрослым, предпочтения первого мальчика учитываются дважды: один раз в его выражении их, другой — в интернализированной вторым мальчиком этике распределения. Можно утверждать, что данный результат хуже, чем тот, который получился бы, если бы оба мальчика выражали эгоистические предпочтения. Когда Адам Смит писал о том, что ему неизвестны случаи, когда те, кто любит трудиться во имя общего блага, сделали бы много хорошего, он мог иметь в виду вред, приносимый *односторонними* попытками действовать нравственно. Целям самого категорического императива могут нанести ущерб люди, действующие на основе его односторонне²⁹. Также к плохому результату может привести дискуссия, порождающая частичную приверженность морали всех участников, а не полную у одних и никакую у других, как в истории с мальчиками. Так, Серж Кольм доказывает, что экономикс с умеренно альтруистичными акторами работают хуже, чем те, где либо все эгоистичны, либо все альтруистичны³⁰.

Пятое возражение ставит под сомнение неосознанное представление о том, что политическое сообщество в целом лучше или мудрее, чем сумма его частей. Разве не может быть так, что люди, взаимодействуя политически, станут не менее, а более эгоистичными и иррациональными? Аналогия с когнитивными процессами свидетельствует в пользу этого: на рациональность представлений интеракция может оказать как позитивное, так и негативное воздействие. С одной стороны, существует то, что Ирвинг Дженис назвал группомыслием (*group-think*), то есть взаимно усиливающаяся коллективная предвзятость³¹. С другой стороны, несомненно, есть много путей, какими люди обогащают представления друг друга и совместно приходят к лучшему пониманию³². Сходным образом, автономия и мораль могут быть как

28. Smullyan R. This Book Needs No Title. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1980. P. 56.

29. Sobel J. H. «Everyone», consequences and generalization arguments // Inquiry. 1967. Vol. 10. P. 373–404.

30. Kolm S.-C. Altruismes et efficacites // Social Science Information. 1981. Vol. 20. P. 293–354; *Idem*. Efficacite et altruisme // Revue Economique. 1981. Vol. 32. P. 5–31.

31. Janis I. Victims of Group-Think. Boston: Houghton Mifflin, 1972.

32. Ср.: Hogarth R. M. Methods for aggregating opinions // Decision Making and Change in Human Affairs/H. Jungermann, G. de Zeeuw (Eds.). Dordrecht: Reidel, 1977. P. 231–256 и Lehrer K. Consensus and comparison. A theory of social rationality // Foundations and Applications of Decision Theo-

усилены, так и подорваны в результате взаимодействия. Пессимистическому мнению Райнхольда Нибура о том, что люди в группе демонстрируют более разнузданный эгоизм, чем индивидуально³³, противостоит оптимистический взгляд Ханны Арендт:

Вера американцев базировалась не на полурелигиозной вере в природу человека, но, напротив, на возможности контролировать индивидуальную природу человека с помощью связей между людьми и взаимных обещаний. Надежда человека в его единственности кроется в том, что не человек, но люди населяют Землю и создают человеческий мир. Именно принадлежность человеческому миру спасет людей от западни природы человека³⁴.

Мнение Нибура основано на аристократическом презрении к *массе*, которая превращает достойных по отдельности людей в бездумное стадо. В целом такой взгляд должен быть отвергнут, но надо избегать и другой крайности, выраженной Арендт. Ни греческие, ни американские собрания не были образцами дискурсивного разума, какими она их изображает. Греки прекрасно понимали, что могут подвергнуться манипулированию демагогов, и принимали детально разработанные меры против этого³⁵. Американские городки не всегда были воплощением общественной свободы, поскольку случалось так, что они становились и ареной охоты на ведьм. Само решение участвовать в рациональной дискуссии еще не обеспечивает того, что все взаимодействия будут осуществляться рационально — многое зависит от организационной структуры. Беспорядочные ошибки эгоистичных частных предпочтений способны до некоторой степени взаимопогашаться; поэтому их можно бояться меньше, чем крупных, скоординированных ошибок, могущих возникнуть на основе группомыслия. С другой стороны, было бы слишком глупо надеяться на то, что взаимно компенсирующиеся пороки будут, как правило, порождать общественные блага. Я высказываюсь здесь не против необходимости общественной дискуссии, но лишь за то, чтобы проблемы институционального и конституционного дизайна принимались во внимание очень серьезно.

Шестое возражение состоит в том, что единодушие, даже если будет реализовано, легко может возникнуть благодаря конформности, а не рациональному согласию. Вообще-то я бы

ry/C. A. Hooker, J. J. Leach, E. K. McClennen (Eds.). Dordrecht: Reidel, 1978. Vol. 1: Theoretical Foundations. P. 283–310.

33. Niebuhr R. Moral Man and Immoral Society. NY: Scribner's, 1932. P. 11.

34. Arendt H. The Origins of Totalitarianism. San Diego, CA: Harcourt, 1973. P. 174.

35. Finley M. I. Democracy: Ancient and Modern. London: Chatto and Windus, 1973; см. также: Elster J. Ulysses and the Sirens. Ch. II. P. 8.

больше доверял демократически принятому решению, когда есть меньшинство, голосовавшее против, чем принятому единогласно. Я не имею здесь в виду людей, выражающих предпочтения большинства вместо своих собственных, поскольку полагаю, что механизмы вроде тайного голосования могут предотвратить это. Я имею в виду, что люди могут изменить свои настоящие предпочтения, видя, куда идет большинство. Социальная психология продемонстрировала силу этого «эффекта примыкания»³⁶, в политической теории также известного как «проблема хамелеона»³⁷. Здесь не поможет довод о том, что большинство, к взглядам которого конформист приспосабливает свои, вероятно, пройдет тест на рациональность, даже если этот тест не пройдет его примыкание. Большинство может также состоять из конформистов, каждый из которых присоединился бы к меньшинству, если бы это было возможно.

Чтобы лучше понять это, рассмотрим аналогичный случай неавтономного формирования предпочтений. Мы склонны считать, что человек свободен тогда, когда он может иметь все, что он хочет, или делать все, что он хочет делать. Но тотчас возникает возражение: возможно, он хочет только то, что может получить в результате работы механизма типа «зеленого винограда»³⁸. Мы можем добавить, что при прочих равных условиях человек тем свободнее, чем больше он хочет делать то, что он не свободен делать, так как это показывает, что желания не сформированы адаптацией к возможностям. Ясно, что звучит несколько парадоксально то, что свобода человека тем больше, чем больше желаний он не может реализовать, но по размышлению ясно, что этот парадокс на самом деле является верным утверждением. Сходным образом можно развеять впечатление парадоксальности мнения о том, что можно больше доверять коллективному решению, когда оно не единодушно.

Седьмое возражение отрицает то, что необходимость формулировать свои утверждения в понятиях общего блага очистит желания от эгоистичности. В целом есть много способов достижения общего блага, если под ним понимать только некоторое состояние, Парето-превосходящее сумму нескоординированных индивидуальных решений. Каждое такое состояние, способствуя реализации общих интересов, вместе с тем содержит

добавочные выгоды для какой-то конкретной группы, которая будет сильно заинтересована именно в этом состоянии³⁹. Тогда эта группа предпочтет данное состояние из-за этих выгод, хотя и будет аргументировать в пользу него, используя терминологию общего блага. Обычно это состояние будет обосновываться с помощью какой-то каузальной теории (например, описания того, как функционирует экономика), которая будет доказывать, что перед нами не только один из способов достижения общего блага, но единственный путь к общему благу. Экономические теории периода «раннего рейганизма» являются хорошим примером. Я не обвиняю сторонников таких взглядов в неискренности, хотя элемент пустого умствования здесь может иметь место. Поскольку обществоведы имеют такие сильные разногласия относительно того, как функционирует общество, что может быть более человеческим, чем выбор именно той теории, которая обосновывает состояние, выгодное данному лицу? Противопоставление общих интересов частным считается упрощением, так как частные выгоды могут определить то, как индивид думает об общем благе.

Все эти возражения приводят к двум главным идеям. Во-первых, нельзя заранее полагать, что, действуя так, как будто мы уже живем в хорошем обществе, мы тем самым приблизим его установление. Ошибка, на которой основано это «допущение приближения»⁴⁰, была давно раскрыта в экономической «теории субоптимальности»:

Неверно, что ситуация, в которой достигнуто более (но не все) оптимальных условий, необходимо или даже вероятно будет лучше ситуации, в которой достигнуто менее. Отсюда следует, что в ситуации, в которой существует много ограничений, препятствующих достижению Парето-оптимальных условий, снятие любого из этих ограничений может повлиять на благосостояние или эффективность⁴¹, увеличивая их, уменьшая их или оставляя их неизменными⁴¹.

Аналогом этому в этике будет не знакомая уже идея о том, что некоторые моральные обязательства могут потерять силу, когда другие люди действуют аморально⁴², а скорее, о том, что при-

36. Классическое исследование этого см.: *Asch S. Studies of independence and conformity: I. A minority of one against a unanimous majority // Psychology Monographs. 1956. Vol. 70. № 9 (416).*

37. См.: *Goldman A. Toward a theory of social power // Philosophical Studies. 1972. Vol. 23. P. 221–268.*

38. *Берлин И. Философия свободы. Европа. М.: Новое литературное обозрение, 2001; ср. также: Elster J. Sour Grapes. Ch. III.*

39. Неплохое рассмотрение этой проблемы см.: *Schotter A. The Economic Theory of Social Institutions. Cambridge: Cambridge University Press, 1981. P. 26ff., 43ff.*

40. *Margalit A. Ideals and second bests // Philosophy for Education/S. Fox (Ed.). Jerusalem: Van Leer Foundation. 1983. P. 77–90.*

41. *Lipsey R. G., Lancaster K. The general theory of the second-best // Review of Economic Studies. 1956–1957. Vol. 24. P. 11–32. P. 12.*

42. Это подчеркивается в: *Lyons D. Forms and Limits of Utilitarianism. Oxford: Oxford University Press, 1965.*

рода моральных обязательств меняется в неморальной среде. Когда другие действуют аморально, может возникнуть обязанность уклониться не только от того, что они делают, но и от того поведения, которое было бы оптимальным, если бы ему следовали все⁴³. В частности, немного дискуссии, так же как и немного рациональности или немного социализма, может быть опасно⁴⁴. Если, как об этом говорит Хабермас, свободная и рациональная дискуссия будет возможна только в обществе, покончившем с экономическим и политическим доминированием, то совершенно неочевидно, что ликвидация этого доминирования может быть достигнута с помощью рациональной аргументации. Я не хочу намекать, что это должно произойти с помощью силы, поскольку использование силы для того, чтобы покончить с использованием силы, вызывает очевидные возражения. Но может потребоваться что-то вроде иронии, ораторского искусства или пропаганды, подразумевающей меньшее уважение к собеседнику, чем в идеальной речевой ситуации.

Как будет ясно из этих замечаний, существует большое напряжение между двумя взглядами на соотношение целей и средств в политике. С одной стороны, средства должны в чем-то иметь природу целей, иначе использование неподходящих средств подорвет саму цель. С другой стороны, есть опасность в выборе средств, непосредственно основанных на цели, которую нужно достигнуть, поскольку в неидеальной ситуации они могут скорее отдалить, чем приблизить, цель. Нужно найти тонкий баланс между этими двумя противоположными соображениями. Фактически всегда остается открытым вопрос о том, есть ли горный хребет, по которому мы можем прийти к хорошему обществу, и если да, то похож ли он больше на острие ножа или на плато.

Вторая главная идея, возникающая на основе того, что было сказано, заключается в том, что даже в хорошем обществе, к которому мы, может быть, найдем дорогу, процесс рациональной дискуссии может оказаться хрупким и уязвимым для адаптивных предпочтений, конформности, пустого умствования

43. Ср.: *Hansson B.* An analysis of some deontic logics // *Nous*. 1970. Vol. 3. P. 373–398, а также: *Follesdal D., Hilpinen R.* Deontic logic: an introduction // *Deontic Logic: Introductory and Systematic Readings/R. Hilpinen (Ed.)*. Dordrecht: Reidel, 1971. P. 1–35, где обсуждаются «условные обязательства» в рамках деонтической (deontic) логики. Однако не кажется, что эта логика может легко справиться с такой дилеммой, которую я рассматриваю здесь.

44. Относительно опасностей постепенного введения социализма ср., напр.: *Kolm S.-C.* La transition socialiste. Paris: Editions du Cerf, 1977; в качестве возражения против стратегии постепенной социальной инженерии Поппера эта работа упоминается также у: *Margalit A.* Op. cit.

и т. д. Для стабильности и прочности мы нуждаемся в структурах — политических институтах или конституциях, которые могут легко возродить элементы доминирования. Фактически мы всегда будем на политическом уровне сталкиваться с вечными дилеммами индивидуального поведения. Как можно в одно и то же время с помощью правил защищать человека от его неэмоционального или аморального поведения и одновременно избежать превращения этих правил в оковы, которые невозможно разорвать даже тогда, когда рационально это сделать?⁴⁵

III

Мне представляется, что в теории Хабермаса ясно изложено: рациональная политическая дискуссия имеет цель, которая и делает дискуссию осмысленной⁴⁶. Политика предполагает принятие содержательных решений и в этой степени является инструментальной. Действительно, идея инструментальной политики может пониматься в более узком смысле, как то, что с помощью политического процесса индивиды реализуют свои эгоистические интересы, но в более широком плане эта идея предполагает только то, что политическое действие — это прежде всего средство достижения неполитической цели, и только во-вторых самоцель.

В этом разделе я проанализирую теории, которые переворачивают эти приоритеты и видят главную суть политики в образовательных или других благах, получаемых участниками политического процесса. Я попытаюсь показать, что эти представления внутренне противоречивы или самоопровергаемы. Блага участия — это побочные продукты политической активности. Более того, они *по своей сути* побочные продукты в том смысле, что любая попытка превратить их в главную цель этой активности приведет к их исчезновению⁴⁷. Участие в политической работе действительно может порождать глубокое удовлетворение, но только при условии того, что работа имеет серьезную цель, выходящую за пределы достижения удовлетворения. Если это

45. Ср.: *Ainslie C.* A behavioral economic approach to the defense mechanisms // *Social Science Information*. 1982. Vol. 21. P. 735–780 и *Elster J.* Ulysses and the Sirens. Ch. II. P. 9.

46. Действительно, Хабермас в основном интересуется принципами действия, а не оценкой состояния дел.

47. Ср.: *Elster J.* Sour Grapes. Cambridge: Cambridge University Press, 1983. Ch. III, где обсуждается идея того, что некоторые психологические или социальные состояния по своей сути являются побочными продуктами действий, предпринятых для некоторой другой цели.

условие не выполняется, то мы имеем нарциссический взгляд на политику, присутствовавший в различных кампаниях по повышению сознательности (*conscious-raising activities*) прошлого десятилетия.

Но меня прежде всего интересует не политическая активность, а политическая теория. Я постараюсь показать, что некоторые аргументы в пользу политических институтов и конституций являются самопроверяющимися, так как обосновывают эти институты через те последствия, которые по своей сути являются побочными продуктами. Здесь следует провести первоначальное и важное различие между обоснованием конституции *ex ante* и оценки ее *ex post* и на расстоянии. Ниже я продемонстрирую, что Токвиль, оценивая американскую демократию, хвалил ее за те последствия, которые в действительности являются побочными продуктами. В его случае это было очень уместно в качестве аналитической позиции, принятой *postfactum* и на некотором расстоянии от изучаемой системы. Противоречие возникает, когда те же самые аргументы приводятся заранее, в публичной дискуссии. Хотя создатели конституции могут втайне и иметь в виду подобные побочные эффекты, они не могут без противоречий апеллировать к ним публично.

Кант публично предложил *трансцендентальную формулу публично права*: «Несправедливы все относящиеся к праву других людей поступки, максимы которых несовместимы с публичностью»⁴⁸. Поскольку те примеры, которые сам Кант приводит для иллюстрации этого принципа, достаточно туманны, я обращаюсь к Джону Ролзу, который также вводит условие публичности как ограничение на то, что стороны могут выбрать в исходном положении⁴⁹. Более того, он доказывает, что это условие отдает предпочтение его собственной концепции справедливости перед утилитаристской⁵⁰. Если бы утилитаристские принципы справедливости были приняты открыто, это привело бы к более низкой самооценке, так как люди чувствовали бы, что с ними обращаются не совсем как с целью. При прочих равных условиях это повлекло бы к уменьшению средней полезности. Таким образом, возможно то, что публичное принятие двух ролзовских принципов справедливости даст больше средней полезности, чем публичное принятие утилитаризма, хотя и меньше, чем тайная утилитаристская конституция, спущенная сверху. Последнее, однако, исключено благодаря условию

48. Кант И. Соч.: В 6 т. М.: Мысль, 1966. Т. 6. С. 303.

49. Ролз Дж. Теория справедливости. Новосибирск: Издательство Новосибирского университета, 1995. С. 124.

50. Там же. С. 137 слл., особ. С. 145.

публичности. Поэтому утилитарист не может публично защищать два принципа Ролза на основе идей утилитаризма, хотя может их приветствовать на тех же основаниях. Тот факт, что два принципа максимизируют полезность, в сущности, является их побочным продуктом; если принять эти принципы на том основании, что они максимизируют полезность, они перестанут это делать. Утилитаризм поэтому является самопроверяющимся в кантовском смысле: «Ему, в сущности, не хватает открытости»⁵¹.

Дерек Парфит выдвинул аналогичное возражение против консеквенциализма действий (*act-consequentialism*) и предположил, как можно на него ответить.

Это ставит перед всеми одну общую цель: наилучший возможный результат. Если мы попытаемся достигнуть его, часто у нас это не будет получаться. Даже когда это будет получаться, стремление к результату может сделать результат хуже. Консеквенциализм действий, таким образом, может быть косвенно самоопровергающимся. Что это доказывает? Консеквенциалист может сказать: «Это показывает, что консеквенциализм действий должен быть только частью нашей моральной теории. Он должен быть той частью, которая относится к успешным действиям. Когда мы уверены в успехе, мы должны стремиться к наилучшему результату. Более же широкая теория будет выглядеть так: нам следовало бы иметь такую цель и такие склонности, обладание которыми сделают результат наилучшим. Эта более широкая теория не будет самопроверяющейся. Таким образом, ответ на возражение дан»⁵².

Однако в предпоследнем предложении присутствует двусмысленность в слове «следовало бы». Неясно: то ли нам говорят, что хорошо иметь некоторые цели и склонности, то ли что мы должны стремиться их иметь. Последнее немедленно порождает проблему того, что обладание некоторыми целями и склонностями — то есть определенным типом личности — по своей сути представляет побочный продукт. Когда инструментальная рациональность является самопроверяющейся, мы не можем на инструментальных основаниях отказаться от нее, не более чем мы можем заснуть, решив не пытаться засыпать. Хотя непосредственность может быть очень ценной с утилитарной точки зрения, «нельзя одновременно по-настоящему иметь это качество и уверять себя, что, хотя оно независимо, креатив-

51. Williams B. A. O. Op. cit. P. 123.

52. Parfit D. Prudence, morality and the prisoner's dilemma // Proceedings of the British Academy. Oxford: Oxford University Press, 1981. P. 554.

но и свободно от расчетов, оно также приносит наилучший результат»⁵³.

Токвиль сделал, на первый взгляд, парадоксальное утверждение, что демократии хуже, чем аристократии, справляются с долгосрочным планированием, но тем не менее в долгосрочной перспективе превосходят последние. Парадокс перестает быть таковым, когда видишь, что первое утверждение рассматривает время на уровне акторов, а второе — на уровне наблюдателя. С одной стороны, «демократии нелегко увязывать все детали крупного дела, останавливаться на каком-либо замысле и упорно проводить его в жизнь, несмотря на препятствия. Она не способна тайно принимать какие-либо меры и терпеливо ждать результатов»⁵⁴. С другой стороны, «демократическое правительство укрепит с течением времени реальные силы общества, но оно не сумеет объединить одновременно в одном месте столько сил, сколько может объединить аристократическое правительство»⁵⁵. Последняя идея подробнее развивается в следующем фрагменте главы «Реальные преимущества демократической формы правления для американского общества»:

Возникающая при демократической форме правления непрерывная деятельность в политической сфере переходит затем и в гражданскую жизнь. Возможно, что, в конце концов, именно в этом и состоит основное преимущество демократии. Ее главная ценность не в том, что она делает сама, а в том, что делается благодаря ей. Конечно, народ нередко очень плохо ведет государственные дела, но, по мере того как он занимается ими, круг его идей расширяется, и он освобождается от присущей ему косности... Демократия — это не самая искусная форма правления, но только она подчас может вызвать в обществе бурное движение, придать ему энергию и исполинские силы, неизвестные при других формах правления. И эти движения, энергия и силы при мало-мальски благоприятных обстоятельствах способны творить чудеса. Это и есть истинные преимущества демократии⁵⁶.

Преимущества демократии, в основном и по своей сути, являются побочными продуктами. Провозглашаемая цель демократии — быть хорошей формой правления, но Токвиль утверждает, что в этом отношении она уступает аристократии, рассматриваемой чисто как аппарат принятия решений. Но сама деятельность демократического управления в качестве побочного про-

53. Williams B. A. O. Op. cit. P. 131, а также: Elster J. Explaining Technical Change. Ch. II. P. 3.

54. Де Токвиль А. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 182.

55. Там же. С. 179.

56. Там же. С. 191–192.

дукта порождает энергию и активность, что идет на пользу промышленности и порождает процветание.

Если мы примем на веру это утверждение, может ли оно быть публичным обоснованием для установления демократии в стране, где раньше ее не было? Вопрос более сложен, чем можно подумать, исходя из того, что было сказано мной ранее, поскольку качество принимаемых решений — не единственное соображение при выборе политической системы. Решающими могут оказаться также доводы от *справедливости*. Но неизбежно следующее заключение: если система не имеет преимуществ в смысле справедливости или эффективности, невозможно публично и непротиворечиво выступать за ее введение только на основе побочных эффектов. Должен быть смысл в самой демократии как таковой. Если люди готовы принять новую систему в силу ее внутренних преимуществ, другие блага могут потом последовать, но сами они не могут быть мотивирующей силой. Если демократия вводится в каком-то обществе только потому, что она оказывает положительный побочный эффект на экономическое процветание, и никто не верит в демократию на других основаниях — данных побочных эффектов не будет.

Токвиль, однако, не утверждал, что политическая активность есть самоцель. Обоснование демократии обнаруживается в ее последствиях, хотя и не предполагавшихся, как хотелось бы сторонникам чисто инструменталистских представлений. Ближе к идее самоценности политики аргумент Токвиля в пользу суда присяжных: «Не знаю, приносит ли пользу суд присяжных тяжущимся, но убежден, что он очень полезен для тех, кто их судит. Это одно из самых эффективных средств воспитания народа, которыми располагает общество»⁵⁷. Это все еще инструменталистский взгляд, но разрыв между целью и средствами уже меньше. Токвиль никогда не утверждал, что демократия делает политиков более процветающими, а отмечал только то, что она способствует всеобщему процветанию. По контрасту с этим, обоснование суда присяжных обнаруживается в ее влиянии на самих присяжных. И, так же, как это было сказано выше, этот результат не достигался бы, если бы присяжные верили, что главным смыслом судебных заседаний является развитие их духа гражданственности.

Джон Стюарт Милль не только приветствовал, но и защищал демократию именно на основании таких ее воспитательных эффектов. Он выступал оппонентом чисто инструментальных воззрений на политику (каковые были у его отца, Джеймса

57. Там же. С. 212.

Милля)⁵⁸ и был предшественником теории демократии участия⁵⁹. В его теории разрыв между средствами и целью в политике еще уже, поскольку он рассматривал политическую активность не только как средство самосовершенствования, но и как источник удовлетворения, и, таким образом, как благо само по себе. Как заметил Альберт Хиршман, этим подразумевается, что «благо коллективного действия для индивида выражается не в разнице между результатом, на который он надеется, и затраченными усилиями, а в сумме обеих величин»⁶⁰. Но сам этот способ перефразировать Милля указывает на одну трудность. Возможно ли на самом деле, чтобы участие было благом даже тогда, когда ожидаемый результат не достигается, как это вытекает из формулы Хиршмана? Разве усилия — это не следствие надежды на результат, так что только последний является независимой переменной? Когда Милль критически отзывается об ограниченности Бентама, чья философия «может научить организовывать и регулировать только *практическую* часть социальной системы»⁶¹, он, как представляется, ставит телегу впереди лошади. Непрактическая часть политики может быть еще более важна, но ее ценность зависит от ценности практической части.

Чтобы найти совершенно развитую версию неинструментальной теории политики, обратимся к работам Ханны Арендт. Описывая разницу между частной и публичной сферой в Древней Греции, она утверждает, что

для не справившихся с жизненно необходимыми хозяйственными делами ни жизнь, ни «хорошая жизнь» невозможны, однако политика никогда не существует просто ради выживания. Что касается обитателей полиса, то для них жизнь внутри хозяйственной сферы вообще существует только ради «хорошей жизни» в полисе⁶².

Открытое, публичное пространство было отведено именно для непосредственного, для индивидуальности; это было един-

58. Ср.: Ryan A. Two concepts of politics and democracy: James and John Stuart Mill // Machiavelli and the Nature of Political Thought / M. Fleisher (Ed.). London: Groom Helm, 1972. P. 76–113. Его противопоставление «двух пониманий демократии» отчасти соответствует различию между первой и второй из рассмотренных здесь теорий, отчасти — различию между первой и третьей, так как он нечетко отделяет публичное понимание политики от неинструментального.
59. Pateman C. Participation and Democratic Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. P. 29.
60. Hirschman A. Shifting Involvements. Princeton: Princeton University Press, 1982. P. 82.
61. Mill J. S. Essay on Bentham // Mill J. S. Utilitarianism. London: Fontana Books, 1962 (1863). P. 105.
62. Арендт Х. Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С. 50.

ственное место, где каждый должен был уметь показать, чем он выбивается из посредственности, чем он на деле в своей незаменимости является. Ради этого шанса достичь необычайно и видеть подобные достижения, из любви к политическому самостоянию граждане полиса более или менее с охотой брали на себя свою часть судопроизводства, защиты, управления государством — груз и тяготу не социальной рутины, а государственных дел⁶³.

Этому мы можем противопоставить воззрения на греческую политику, изложенные в работах М. И. Финли. Задаваясь вопросом, почему афинский народ настаивал на праве каждого гражданина говорить и вносить предложения на народном собрании, но реально предоставлял делать это немногим, он находит, что «часть ответа в том, что *демос* осознавал инструментальную роль политических прав и, в конечном счете, был более озабочен содержанием решений; он удовлетворялся правом выбирать, смещать и наказывать политических лидеров»⁶⁴. В другом месте он пишет еще более определенно: «Тогда, как и сейчас, для большинства людей политика была средством, не всепоглощающим интересом и не самоцелью»⁶⁵. В противоположность тому, что утверждает Арендт, обладание или возможность использования политических прав может быть более важна, чем их реальное применение. Более того, даже само применение приобретает ценность благодаря принимаемым решениям. Описывая народные собрания в американских городках, Арендт утверждает, что граждане участвовали «не исключительно из чувства долга, не (еще в меньшей степени) для удовлетворения своих собственных интересов, но в основном потому, что получали удовольствие от дискуссий, рассуждений и принятия решений»⁶⁶. Здесь телега хотя и не ставится впереди лошади, но рядом с лошадей. Хотя дискуссии и размышления в других контекстах могут быть самостоятельными источниками наслаждения, удовлетворения, получаемое от политической дискуссии, основывается на принятии решений. В политике обсуждается вопрос «что делать?», а не вопрос о том, что должно иметь место. Практическая цель, а не предмет, делает дискуссию политической.

Политика в этом отношении сопоставима с такими видами деятельности, как искусство, наука, спорт или шахматы. Заня-

63. Там же. С. 55.

64. Finley M. I. Economy and Society in Ancient Greece. London: Chatto and Windus, 1981. Ch. 5. P. 83.

65. Idem. Politics // The Legacy of Greece / M. I. Finley (Ed.). Oxford: Oxford University Press, 1981. P. 31.

66. Arendt H. Op. cit. P. 119.

тия ими могут принести массу удовольствия, если у вас есть независимо определенная цель, например, «навести порядок» или «победить оппозицию». Шахматист, который станет утверждать, что он играл не для того, чтобы победить, но во имя изящества в игре, будет жертвой нарциссического самообмана, поскольку нет изящных способов проиграть, но есть только изящные или не изящные пути к победе. Когда художник начинает верить, что его настоящей целью является процесс, а не результат, и что дефекты и ошибки ценны как свидетельства творческих усилий, то он также лишается возможности представлять для нас какой-либо интерес. Это же верно и по отношению к Э. П. Томпсону, который, когда его спросили, действительно ли он верит, что митинг на Трафальгарской площади что-то изменит, ответил: «Дело не в этом, не так ли? Дело в том, что он показывает, что демократия жива... Подобный митинг вселяет в нас уважение к самим себе. Чартизм был крайне полезен для чартистов, хотя Хартию они так никогда и не получили»⁶⁷. Очевидно, что чартисты, если бы их спросили, верят ли они в то, что когда-нибудь получат Хартию, вряд ли ответили бы: «Дело не в этом, не так ли?» Именно потому, что они верили в то, что могут добиться Хартии, они участвовали в борьбе за нее со всей серьезностью, которая вселяла в них уважение к себе как побочный эффект⁶⁸.

IV

Я рассмотрел в этой статье три взгляда на соотношение экономики и политики, рынка и форума. Одной крайностью здесь является «экономическая теория демократии», в наиболее вызывающей форме высказанная Шумпетером, но также лежащая в основе теории социального выбора. Это рыночная теория политики, в том смысле, что голосование рассматривается как частный акт, сходный с покупкой и продажей. Поэтому я не могу согласиться с утверждением Алана Райана о том, что «с любой точки зрения на разграничение между общественной и частной жизнью, голосование является элементом общественной жизни человека»⁶⁹. Само различие тайного и открытого голосования показывает, что в политике есть место для разграничения между частным и общественным. Экономическая теория демократии, таким образом, исходит из представления о том,

что форум должен походить на рынок, как по своим целям, так и способу функционирования. Цель определяется в экономических терминах, способ функционирования заключается в агрегировании индивидуальных решений.

Другая крайность — представление о том, что форум не должен иметь ничего общего с рынком, как в целях, так и в институтах. Форум должен быть чем-то большим, чем масса индивидов, стоящих в очереди к кабинке для голосования. Гражданство есть качество, которое может быть реализовано только публично, в коллективе, объединившемся для достижения общей цели. Но этой целью не является облегчить жизнь в материальном смысле. Политический процесс — это самоцель, благо или даже высшее благо для тех, кто в нем участвует. Следует приветствовать воспитательное воздействие политики на ее участников, но блага не иссякают, когда воспитание закончено. Напротив, воспитание ведет к предпочтению общественной жизни как самоцели. Политика, с этой точки зрения, существует не для чего-то. Это соревновательная демонстрация совершенства⁷⁰, или коллективная демонстрация солидарности, отделенная от принятия решений и воздействия на события.

Между этими двумя крайностями находится воззрение, которое я нахожу наиболее привлекательным. Можно утверждать, что форум должен отличаться от рынка способом функционирования, но заниматься принятием решений, которые в конечном счете касаются экономики. Даже политические решения высшего уровня затрагивают правила низшего уровня, которые непосредственно связаны с экономикой. Поэтому в спорах о конституции, о том, как должны приниматься и изменяться законы, постоянно упоминается влияние стабильности и изменений в законодательстве на состояние экономики. Актуальность политическим дебатам придает внимание к содержательным решениям. Всегда существующие временные ограничения порождают необходимость в собранности и сосредоточенности, которые не укладываются в рамки досужих философских дискуссий, для которых путь важнее цели. Но в рамках этих ограничений аргументация составляет ядро политического процесса. Политика, определенная как «публичная по природе и инструментальная по целям», займет должное место в обществе.

Перевод с английского Сергея Моисеева

67. Sunday Times. 2 November 1980.

68. Ср. также: Barry B. Comment // Political Participation/S. Benn et al. (Eds.). Canberra: Australian National University Press, 1978. P. 47.

69. Ryan A. Op. cit. P. 10.

70. Блестящее замечание об этом не-инструментальном отношении среди элиты древнего мира см.: Veune P. Le pain et le cirque. Paris: Seuil, 1976.

Немецкая философия в Испании XIX столетия

ВОСПРИЯТИЕ, ПЕРЕВОД И ЦЕНзуРА НА ПРИМЕРЕ ИММАНУИЛА КАНТА¹

ИБОН УРИБАРРИ

В 1799 ГОДУ из Парижа в Испанию приехал и прожил в Мадриде несколько месяцев Вильгельм фон Гумбольдт. В Париже он представил французской культурной элите новую кантианскую философию, а теперь продолжал распространять философию Канта в Мадриде. 28 ноября 1799 года, восхищенный тем, что имя Канта дошло даже до Мадрида, он писал Гете: «Уже и в Мадриде известно, по крайней мере, его имя»².

Столетие спустя, в 1896 году, Винсент Лютославский, молодой польский дипломат и философ, женатый на Софии Перес Казанова и хорошо знакомый с Испанией, опубликовал в первом номере журнала *Kant-Studien* статью «Кант в Испании». В ней он описывает свои встречи с ведущими испанскими интеллектуалами и обсуждения с ними восприятия Канта в Испании. Его вывод ошеломляюще негативен: «Кант совершенно неизвестен в Испании»³.

За время, прошедшее между положительным удивлением Гумбольдта в 1799 и разочарованием Лютославского в 1896 годах, Испания пережила период переворотов. Большую часть века заняла череда усилий по проведению в жизнь идей либеральной конституции 1812 года и консервативных контрмер сорвать

этот процесс. Этот конфликт проявился в частых политических переменах и трех гражданских войнах. Несмотря на столь тяжелую обстановку, идеи Иммануила Канта доходили до Испании, и пик этого процесса пришелся на первое неполное издание главного труда Канта «Критика чистого разума», переведенного Хосе Перохо в 1883 году⁴. Тем не менее в 1896 году местные собеседники Лютославского говорили ему, что Кант в Испании неизвестен. Давайте разберемся в причинах этого.

В начале XIX века безграмотность в Испании цвела пышным цветом, образование находилось в руках церкви, и культура научной мысли была весьма скудной. Введение и употребление иностранных книг все еще контролировалось двухуровневой сетью цензуры, имеющей долгую историю: начиная с 1478 года инквизиция контролировала всю печатную продукцию, а с 1502-го ни одна книга не могла попасть в обращение, не получив от государства разрешения на печатание.

По своим истокам инквизиция имела целью сдерживание религиозной ереси и в особенности интересовалась евреями и мусульманами, обратившимися в христианство, поскольку после того, как в 1492 году обращение стало для них единственной альтернативой изгнанию.

Деятельность инквизиции затем стремительно сосредоточилась на надзоре за протестантскими и гуманистскими идеями. С этой целью испанская церковь выпустила несколько индексов запрещенных книг (в 1551, 1583, 1612, 1632, 1640, 1707, 1747 и 1790 годах). Эта ситуация препятствовала проникновению в Испанию современной научной мысли, что отчасти объясняет испанскую отсталость в последующие века: классические авторы, подобные Гиппократу, Галену, Аристотелю, Птолемию, Евклиду и Архимеду, были запрещены, а с ними и современные гуманисты (как Эразм) и ученые (Кеплер, Браге, Непер и другие). Действительно, в то самое время, когда научная революция достигла своего максимума, значительная часть европейской научной литературы была под запретом. В дополнение к каталогам выходили особые эдикты цензуры, обыскивались книжные лавки, государством и церковью контролировались порты и границы, регулярно сжигались арестованные книги, а наказание за владение запрещенными книгами включало смертную казнь. Во второй половине XVIII века были запрещены системы естественного права Пуфендорфа и Вольфа, а труды более современных авторов вроде Руссо, Вольтера или Локка подвергнуты пре-

1. Перевод выполнен по изданию: © Uribarri I. *German Philosophy in nineteenth-century Spain: Reception, Translation and Censorship in the Case of Immanuel Kant*// *The Power of the Pen: Translation and Censorship in Nineteenth-Century Europe*/Merkle D., O'Sullivan C., Van Doorslaer L., Wolf M. (Eds.). Münster: LIT Verlag, 2010. P. 79–95.

2. *Von Humboldt W. Briefe*. München: Carl Hanser, 1952. S. 200.

3. *Lutoslawski W. Kant in Spanien*// *Kant-Studien*. 1896. № 1. S. 218.

4. *Kant I. Critica de la razon pura*. Texto de las dos ediciones. Precedida de la Vida de Kant y de la Historia de los origenes de la filosofia critica de Kuno Fischer/J. del Perojo (Trans.). Madrid: Gaspar, 1883.

следованию. Например, за перевод и распространение идей Руссо был заключен в тюрьму Валентин де Форонда. Борясь с духом Французской революции, Карл IV отказался от реформистской политики Карла III, и испанские власти создали так называемый *cordón sanitario* (санитарный кордон), государство идеологического карантина, в котором разговоры о французских событиях были запрещены, иностранцы подвергались регистрации, а некоторые даже изгонялись из страны, иммиграционный надзор был ужесточен, запрещено обучение за границей, ограничено изучение иностранных языков, а печатные издания проверялись и цензурировались государством и церковью. Инквизиция снова стала пользоваться дурной славой в борьбе против современных просвещенных и революционных идей, которые могли бы создать проблемы как для государства, так и для церкви.

Это отражено в каталоге запрещенных книг 1805 года, который включает имена Монтескье, Гельвеция, Гольбаха, Руссо, Кондильяка, Дидро, Адама Смита и Дэвида Юма. Подпал под запрет и Кант, так как свой главный труд он преподносил в качестве переворота (*Umwälzung*), сравнимого с коперниканским⁵. Его новая критическая философия, фокусирующаяся на активной позиции субъекта, критике метафизики и теологии, изменила лицо философии. Неудивительно поэтому, что уже при жизни Кант был подвергнут цензуре, в том числе и в Германии: его главный труд был запрещен несколькими университетами (Марбург, Вена), в 1788 году иезуитский священник Бенедикт Штаттлер написал книгу, названную «Анти-Кант»⁶ (за ним последовали сходные сочинения и других католических священников), его позднейший большой труд о религии столкнулся с проблемами опубликования в 1792 году, и наконец, поскольку Кант настаивал, в 1794 году император Фридрих Вильгельм II запретил ему читать лекции о религии.

Конечно, культурный барьер, установленный испанской инквизицией, не был непроницаемым. Первое упоминание *Мануэля* (так переводилось экзотическое «Иммануил») Канта в Испании мы обнаруживаем в самом начале XIX века. Оно исходит из французского источника в форме краткого пересказа в 1803 году в журнале *Memorial literario* доклада о философских достоинствах Канта, сделанного Дестютом де Траси во Французской академии в Париже⁷.

Наполеоновское вторжение 1808 года и подавление инквизиции упразднило идеологическое эмбарго, блокировавшее проникновение в Испанию более свободного мышления. Действительно, первые французские книги о Канте занесли в Испанию французские войска (см. ниже о Торибио Нуньесе). Позднее, в 1813 году испанский парламент Кадиса объявил инквизицию несовместимой с новой либеральной конституцией. Однако после войны за независимость (1808–1814) Фердинанд VII вернулся в Испанию, упразднил либеральную конституцию и восстановил абсолютизм. Конечно, государственная цензура и инквизиция опять были учреждены с явным назначением ликвидировать то, в чем виделась либеральная угроза.

Тем не менее в первой трети XIX века существуют две основные метатекстуальные отсылки к философии Канта. Они представляют собой частные усилия с небольшим культурным влиянием. Доминирующая философия в испанских школах и официальных книгах не отличалась от так называемой *philosophia perennis*, средневековой схоластической философии. Первый испанский комментарий на философию Канта был написан Рамонем де ла Сагрой в 1819 в журнале *Crónica Científica y Literaria*⁸. Примерно в то же время он начал выпускать либеральный журнал *El Conservador*, у которого из-за его рационалистического содержания возникли проблемы с инквизиционным цензором («консервативное» название, выбранное де ла Сагрой для журнала, цензоров не обмануло). Позже, в 1845 году, он основал первый анархистский журнал в Испании *El Porvenir*. В течение нескольких сроков де ла Сагра являлся членом испанского парламента и написал много научных, экономических и социологических статей на испанском и французском языках. Впрочем, работы де ла Сагры и его старания занести в Испанию новые европейские идеи остались по большей части неизвестны в Испании из-за их прогрессивной ориентации.

Одна конкретная черта интереса Рамона де ла Сагры к Канту имеет особенную значимость: он обратил внимание на употребляемый Кантом новаторский язык, который и в Пруссии стал также предметом спора, и упомянул проблемы, поставленные переводом этого языка (например, понятия «Я»), поскольку современный испанский философский язык был еще не вполне развит. Де ла Сагра очень хорошо сознавал тот факт, что испанский язык, для того чтобы выразить современный философ-

5. *Kant I. Kritik der reinen Vernunft*. Riga: J. F. Hartknoch, 1781–1787. Bd. XVI.

6. *Stattler B. Anti-Kant*. Munich: Joseph Lentner, 1788.

7. *Anonymous*. Literatura francesa. Instituto nacional de Francia, Noticia de los trabajos de la clase de ciencias morales y politicas// Memorial literario o biblioteca

periódica de los ciencias y de las artes. Book IV. 3 year. Madrid: Imprenta de la calle de capellanes, 1803.

8. *De la Sagra R. Discurso sobre la filosofía de Kant*// *Crónica Científica y Literaria*. 1819. № 226, 227, 228, 229.

ский дискурс, нуждается в фундаментальном обновлении. Несколько лет спустя противоположная установка была выражена в статье, написанной Наварро Виллосладой, который утверждал, что испанский язык превосходит прочие языки, потому что он теснейшим образом соединен с католической верой. Наварро Виллослада также ссылаясь на местоимение «Я», используемое в современной философии Кантом. Впрочем, он утверждал, что новизны в этом не было, так как двумя веками ранее испанские писатели уже употребляли это местоимение в смиренной и правдивой манере, не прибегая к жалким методам современных зарубежных рационалистических философий⁹.

Это заставляет вспомнить оруэлловский «идеологический перевод»¹⁰ старояза на новояз, чьей целью было «сузить горизонты мысли» и «сделать мыслепреступление попросту невозможным — для него не останется слов»¹¹. Или, применительно к нашему случаю, де ла Сагра посредством работ Канта пытался ввести новые слова, новые понятия и новое мировоззрение в испанский язык, в то время как Наварро Виллослада стремился обезвредить эти антирелигиозные и ксенофильные нововведения, придерживаясь более ограниченного «старояза».

Вторым ранним испанским «кантианцем» являлся Торибио Нуньес, также либеральный реформист. Он был библиотекарем в университете Саламанки и членом парламента. Около 1820 года он написал две книги, предлагая кантианские и бентамовские (он перевел несколько книг Иеремии Бентама) идеи в качестве основы для реформирования испанских институтов¹². Им была предложена реформа образовательной системы, которая стоила ему места, когда вернулся король Фердинанд VII и краткий либеральный период закончился. Нуньес не читал Канта ни на немецком, ни даже на французском языке. С Кантом его познакомили французские сочинения об этом философе, к которым у него был доступ, когда наполеоновская армия пересекала Саламанку на своем пути в Португалию, — в особенности работа Шарля Вилера «Философия Канта, или Основопо-

ложения трансцендентальной философии» (1801), запрещенная декретом Ватикана 1817 года.

Инквизиция окончательно исчезла в 1834-м, преимущественно от того, что ее главная цель больше не заключалась в контроле за религиозной гетеродоксией, а сводилась к тому, чтобы контролировать идеологические отклонения, — задача, с усердием взятая на себя гражданскими властями и полицией. Хотя в принципе свобода слова существовала, любая критика монархии, религии и добрых нравов систематически блокировалась множеством предписаний предварительной цензуры. Один из наиболее характерных писателей того времени, Мариано Хосе Ларра (1809–1837), постоянно подвергался цензуре, и борьба с ней многократно упоминается в его статьях.

Католическая церковь оставалась единственной законной религией в Испании и продолжала пополнять *Index Librorum Prohibitorum* (Индекс запрещенных книг), который прослужил в качестве цензорского справочника вплоть до времен Франко. Например, главный труд Канта, «Критика чистого разума» (1781/1787), поносимый в религиозных кругах как «яд»¹³, был запрещен декретом Ватикана от 11 июня 1827 года (труд уже был переведен в 1796 на латынь Фридрихом Готлобом Борном, а в 1820–1822 на итальянский Винченцо Мантовани) и оставался в списке до 1966 года, покуда Индекс постепенно не утратил силу.

Ближе ко второй половине XIX века, Кант был упомянут в нескольких испанских книгах по истории философии в 1847 году, причем его антиметафизическая и агностическая мысль подверглась единодушному осуждению. Католический священник Хауме Балмес, наиболее влиятельный испанский философ того столетия, считал идеи Канта скептическими и материалистическими¹⁴, и это отношение сопровождало восприятие Канта в Испании до конца века.

Кроме того, существует два текста, написанных в 1853 году, которые ссылаются на Канта, хотя они и различны по масштабу. Патрицио де Аскарате, первый переводчик Платона, Аристотеля и Лейбница на испанский, написал книгу по современной философии *Veladas sobre la filosofía moderna* («Вечера на тему современной философии»), потому что не мог найти подходящей книги для обучения своего сына этому предмету. Религиозный человек, при этом благоволивший также и научному прогрессу,

9. Navarro Villoslada F. De la lengua castellana, como prueba de la ilustración española // El pensamiento español. 1867. Т. I. № 11. P. 161–166. URL: <http://www.filosofia.org/hem/186/1867c23.htm>.

10. Оруэлл Дж. «1984» и эссе разных лет / Пер. с англ. В. П. Голышев. М.: Прогресс, 1989. С. 121.

11. Там же. С. 21.

12. Núñez T. Informe de la Universidad de Salamanca sobre Plan de Estudios, o sobre su Fundación, altura y decadencia, y sobre las mejoras de que es susceptible: con cuyo motivo presenta un Proyecto de Ley sobre Instrucción Pública. Salamanca: Vicente Blanco, 1820.

13. Göbel C. Kants Gift. Wie die Kritik der reinen Vernunft auf den Index Librorum Prohibitorum kam // Kant und der Katholizismus. Stationen einer Wechselhaften Geschichte / N. Fischer (Ed.). Freiburg: Herder, 2005. S. 91–138.

14. Balmes J. Historia de la Filosofía. Madrid: Impr. y Fund. de E. Aguado, 1847.

он хотел объединить веру и либерализм и в соприкосновении с новыми европейскими тенденциями создать современную испанскую философию. Он дал наиболее объемлющее на тот момент представление о философии Канта. В том же самом году Никомедес Мартин Матеос опубликовал *Breves consideraciones sobre la reforma de la Filosofía* («Краткие заметки о реформе философии»). Он упомянул «docta Alemania» и ее главных философов, причем всех их раскритиковал, потому что они породили религиозный скептицизм, в то время как, по его утверждению, единственной по-настоящему истинной функцией философии должна быть защита религии. На тревожной ноте он обращался к государству, прося положить конец интеллектуальному хаосу и восстановить порядок.

Спустя четыре года, Мануэль Асенсьон Берсоса опубликовал в журнале *Revista de instrucción pública* несколько лекций по немецкой философии, которые прежде были им прочитаны в Атенее, наиболее значительной арене для интеллектуальных обсуждений в стране. После упоминания революционного значения мысли Канта, им высказывается безусловный протест: «Критика чистого разума произвольна в ее основе, ложна в ее методе, катастрофична в ее результатах»¹⁵.

Почти в это же время в Испании формировалось новое интеллектуальное движение. В 1843 году в Мадридском университете министром Педро Гомесом де ла Серна, экс-президентом университета, был создан первый факультет современной философии. Места профессора был удостоен Хулиан Санс дель Рио — на условии, что он проведет некоторое время в Германии, чтобы поближе познакомиться с идеологическим устройством многообещающей немецкой культуры. Санс дель Рио два года провел в Гейдельберге, где все еще действовала группа последователей Карла Христиана Краузе. Вернувшись в Испанию, он пытался применить идеи Краузе для модернизации страны. Его главный труд «Идеал человечества»¹⁶ немедленно был включен в католический индекс запрещенных книг.

В Испании XIX века крауизм стал наиболее значимым движением за реформы, породившим культурный поворот от Франции к Германии. Для культурного обмена между двумя странами, бывшего прежде минимальным, это означало серьезный подъем, так же как и для переводов, особенно переводов философской литературы. В ту пору, когда немецкий идеализм имел широкое влияние, казалось совершенно естественным повернуться к Германии в поиске философских моделей; впрочем,

сегодня представляется странным, что ведущей фигуре Канта оказался предпочтен Краузе. Но испанские католические либералы не были тогда подготовлены для принятия агностицизма Канта, и им хотелось сохранить глубоко укоренившееся религиозное чувство, несмотря на стремление модернизировать страну. Как следствие, через переводы и обучение быстро распространился крауизм, а не кантианство. Кант какое-то время оставался в тени, поносимый институциональной ортодоксией из лагеря традиционалистов и оттесненный на второй план соперничающей группой умеренных модернизаторов.

Впрочем, дело восприятия Канта не пришло к полному застою. Хосе Рей-и-Эредиа на основании кантианских идей написал книгу по математической теории «Трансцендентальная теория мнимых чисел»¹⁷, которая была посмертно опубликована в 1865 году. Книга в качестве приложения включает перевод нескольких страниц из «Критики чистого разума». В 1867-м Матиас Ньето Серрано, медик, открытый последователь Канта, опубликовал философскую работу «Набросок живой науки. Опыт философской энциклопедии»¹⁸, опирающуюся на кантианские идеи.

Распространение по Европе либеральных идей не приветствовалось ведущими консервативными силами. В 1864 году папа Пий IX опубликовал энциклику *Quanta Cura*, осуждающую либерализм как грех, и в Испании это имело политические последствия. В том же году против крауизма были приняты первые меры, и на следующий год книги крауистов были включены в индекс запрещенных книг. Вскоре после этого новый министр образования Мануэль де Оровьо, в целях упрочения связей церкви и государства, ввел более жесткие законы для наказания профессоров, которые преподают «ложные учения», и в 1867 году изгнал лидеров крауизма из университетов. Оровьо был поддержан консервативными интеллектуалами. Незадолго до этого изгнания Хосе Кампийо произнес речь на открытии академического года в университете Овьедо, в которой провозгласил, что «пантеистический германизм является антикатолическим и даже антихристианским, потому что он, не считая научной бессмысленности, есть пантеизм и атеизм»¹⁹. На Канта он ссылается как на родоначальника немецко-антихристианского рационалистического движения в целом.

15. Berzosa M. A. Lecciones de filosofía // Revista de instrucción pública. 1857. P. 286.

16. Sanz del Río J. El Ideal de la Humanidad para la vida. Madrid: Manuel Galiano, 1860.

17. Rey y Heredia J. Teoría transcendental de las cantidades imaginarias. Madrid: Imprenta Nacional, 1865.

18. Nieto Serrano M. Bosquejo de la ciencia viviente. Ensayo de enciclopedia filosófica. Madrid: Rojas y compañía, 1867.

19. Campillo Rodríguez J. Discurso en la solemne apertura del Curso Académico de 1866 a 1867 en la Universidad de Oviedo. Oviedo: Imp. y lit. de Brid, Regadera y Compañía, 1866. P. 8. URL: <http://www.filosofia.org/aut/001/1866cam.htm>.

Интертекстуальную отсылку к Канту можно обнаружить в работе Луиса Видарта Шуха «Сегодняшняя испанская философия. Библиографический обзор»²⁰. Он дает обзор гнетущей ситуации с испанской философией и упоминает хорошо известные слова заключительных страниц «Критики практического разума» Канта: «Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmenden Bewunderung, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir»²¹. На испанском это выглядит следующим образом: «Dos cosas hay grandes en la naturaleza: el cielo estrellado sobre nuestras cabezas, y el sentimiento de deber en nuestros corazones»²². Оригинальный текст Канта помещает две эти вещи не в природе, но в душе (*Gemüt*) субъекта — и небо не над нашими головами, но надо мной, и моральный закон (не чувство долга) не в наших сердцах, но во мне. Все явные отсылки к современным «субъекту» (душа, я) и «моральному закону» переводились более традиционными испанскими словами («природа», «чувство долга», «голова», «сердце»). Видарт Шух передал кантианские идеи в одомашнивающей консервативной манере. Он действовал как страж режима и пытался подогнать современную философию Канта под идеологические ожидания главенствующей культуры, ограничивая радикальную антропоцентрическую позицию кантианской философии, для того чтобы предоставить достаточный простор традиционным религиозным идеям.

Давайте сопоставим этот перевод цитированного выше изречения с еще одним того же периода, осуществленным в 1874 году двумя либералами, Урбано Гонсалесом Серрано и Мануэлем де ла Ревильей, из книги под названием «Фундаментальная этика, или Моральная философия»: «Dos cosas me llenan siempre el alma de una admiración y de un respeto que renacen siempre y aumentan, a medida que la inteligencia se fija más en ellas: el cielo estrellado sobre nosotros y la ley moral en nuestro interior»²³. Мы

20. Schuch L. V. La filosofía española. Indicaciones bibliográficas. Madrid: Imprenta Europea, 1866. URL: <http://www.filosofia.org/aut/vid/1866fe.htm>.

21. «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, — это звездное небо надо мной и моральный закон во мне» (Кант И. Сочинения: В 8 т./Под общ. ред. А. В. Гулыги. М.: Чоро, 1994. Т. 4. С. 562).

22. «Две вещи велики в природе: звездное небо над нашими головами, и чувство долга в наших сердцах» (Schuch L. V. Op. cit.).

23. «Две вещи всегда наполняют мне душу восхищением и уважением, которое всегда возрождается и увеличивается, чем больше разум останавливается на них: звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас» (Fey E. Estudio documental de la filosofía en el bachillerato español (1807–1957). Madrid: CSIC, 1975).

видим, что эта редакция явно гораздо ближе к оригиналу и упор в ней сделан на социоантропологическое «мы», «наш». Этот перевод не ставил себе целью придерживаться традиционных слов и понятий, скорее его целью было дать применение идеям Канта в коллективной попытке изменить страну к лучшему.

Либеральная революция 1868 года и последующий демократический период (1868–1874) подразумевал возвращение либеральных профессоров в университеты. В этот период был введен гражданский брак и дозволены мягкие формы религиозной свободы. В этот республиканский период Никола Сальмерон — единственная ведущая интеллектуальная фигура. Этот краутистский профессор писал о немецкой философии и ссылаясь на немецкий оригинал «Критики» Канта. Годом позже он провел пять месяцев в тюрьме из-за своего политического и культурного активизма (защиты свободного слова и критики католицизма). Позднее он стал членом парламента, а также шесть недель был президентом Первой республики, пока не подал в отставку, отказавшись санкционировать смертную казнь. В 1874 году, как раз к моменту, когда новая конституция собиралась провозгласить отделение церкви от государства, Первая республика была насильственно упразднена.

В 1875 году, после того как Республика потерпела крах и последовала Реставрация, Оровьо снова принял должность и тут же объявил, что ничто идущее против католицизма и добрых нравов не должно преподаваться, тем самым попирая академическую свободу. Некоторые профессора отказались внять приказам, и были уволены, некоторые были осуждены на тюремное заключение, а иные отправились в изгнание. Сальмерон также эмигрировал (причем его профессорское место было отдано схоластическому мыслителю Орти-и-Ларе), но молчать его не заставили. В 1876 году он написал пролог к «Истории столкновения между религией и наукой»²⁴ Джона Уильяма Дрейпера (переведенной Аугусто Арсимисом). Книга положила начало продолжительному спору, так как Сальмерон в качестве единственного способа продвинуть вперед гуманизм предложил запретить религию. На Канта Сальмерон ссылаясь не только для защиты радикального секуляризма, но, в дополнение к этому, считал Канта также ценным научным философом.

После неудавшейся Республики краутизм потерял влияние. Наиболее прогрессивные интеллектуалы возложили вину за политический провал на темную метафизику и религиозный уклон

24. Salmerón N. Prólogo// Draper J. G. Historia de los conflictos entre la religión y la ciencia/A. T. Arcimis (Trans.). Madrid: Imprenta Aribau, 1876. URL: <http://www.filosofia.org/aut/dra/salmeron.htm>.

крауизма, который не мог обеспечить республике прочное интеллектуальное основание. Либеральный средний класс нуждался в новейших идеологических учениях и отворачивался от подобной религиозно настроенной метафизики. Многие принимали новые идеи позитивизма, дружественные науке. В литературе в те годы романтизм также был вытеснен натурализмом. Как следствие, запоздалое и довольно затянувшееся восприятие Канта в Испании получило толчок, и Кант занял более существенное место в идеологических дебатах. Проводя параллели с тем, что происходило в Германии с Когеном, Наторпом, Форлендером и Эдуардом Бернштейном, можно сказать, что неокантианство обрело силу посредством возобновления кантианской связи между общей системой взглядов, ориентированных на науку, и политическими идеями, ориентированными на общественную проблематику.

Все это отразилось в первых значимых переводах. Сначала в 1873 году появились «Метафизические основания права»²⁵, переведенные Г. Лисаррагой. В то время во Франции, Великобритании и Италии уже было переведено большинство работ Канта. В некоторых случаях было выпущено два перевода. В Испании в последнюю четверть столетия было переведено десять работ Канта. При нехватке германоязычных переводчиков и престиже французской культуры в Испании, нормой в этот период был перевод «из вторых рук» с французского языка. Самым плодовитым переводчиком Канта был Антонио Сосая (1859–1943), положивший начало «Biblioteca Económica Filosófica» и переведивший также Макиавелли, Декарта, Кондильяка, Вольтера и других современных философов в недорогих изданиях. После франкистского переворота, несмотря на свой пожилой возраст, он был вынужден покинуть страну, вскоре после чего умер.

Единственный прямой перевод этого периода, опубликованный Хосе Перохо в 1883 году (спустя 102 года после публикации оригинала), содержит почти половину «Критики». Родом из Испанской Кубы, Перохо получил степень доктора философии в Гейдельберге и стал самым страстным защитником неокантианства в Испании. Перохо не имел доступа к традиционным средствам информации, и для выражения своих идей ему надо было создавать новые издательские каналы. Для того чтобы распространять неокантианские и передовые идеи, он с помощью Мануэля де ла Ревиллы основал журнал *Revista Contemporánea* (1875–1907), пока финансовые затруднения не вынудили его продать журнал некоему традиционалистскому политику, который

25. Kant I. Principios metafísicos del derecho/G. Lizarraga (Trans.). Madrid: Victoriano Suarez, 1873.

изменил редакторскую линию в соответствии со своими убеждениями. Также, чтобы популяризовать современную философию и обеспечить более широкий культурный контекст для восприятия Канта, Перохо основал издательство, которое переводило Декарта, Спинозу, Вольтера, Дарвина, Спенсера и других запрещенных церковью авторов. Более того, он написал «Эссе об интеллектуальном движении в Германии»²⁶, первые семнадцать страниц которых были посвящены Канту. Эта и другие публикации без промедления попали под церковную цензуру в 1881 году.

К 1875 году Перохо уже перевел почти половину «Критики», но, как он объясняет во введении²⁷, перевод утаивался до 1883 года из-за неблагоприятной культурной и политической атмосферы Реставрации. Культурный ландшафт второй половины XIX века был задан так называемой Дискуссией об испанской науке (и философии). Неокантианцы Хосе Перохо и Мануэль де ла Ревилля отмечали, что Испания в предыдущие 300 лет имела блистательную литературу, но ничего не дала современной науке и философии в основном потому, что деспотизм и религиозная нетерпимость держали Испанию в изоляции. Перохо развил эти идеи в статье «Испанская наука при инквизиции»²⁸, которая была подвергнута церковной цензуре в 1881-м. Оба автора упоминали Канта вместе с немецкой философской революцией и выдвигали требование интеллектуальной свободы для того, чтобы изменить положение дел²⁹. В противоположность этому традиционалисты, возглавляемые Менендесом-и-Пелайей, гордились славной испанской традицией, неизбежно переплетающейся с католицизмом как объединяющим страну началом (на протяжении всего XIX века культурная и лингвистическая разнородность Испании считалась помехой для продвижения политического объединения страны). Новые идеи не нужны как таковые, переводов надо избегать, и да будет благословенна инквизиция. Менендес-и-Пелайо, возвысившийся до культурного героя при Франко, одну из своих работ посвятил Канту («Об истоках критицизма и скептицизма и особенно об испанских предшественниках Канта»³⁰). Его целью было доказать,

26. Del Perojo J. Ensayos sobre el movimiento intelectual en Alemania. Madrid: Medina y Navarro, 1875.

27. Idem. Advertencia del traductor// Kant I. Critica de la razón pura. Barcelona: Folio, 2002 (1883). P. 9–12.

28. Idem. La ciencia española bajo la Inquisición// García Camarero Ern., García Camarero Enr. La polémica de la ciencia española. Madrid: Alianza, 1970 (1877). P. 269–307.

29. García Camarero Ern., García Camarero Enr. Op. cit. P. 307.

30. Menéndez y Pelayo M. De los orígenes del criticismo y del escepticismo, especialmente de los precursores españoles de Kant. Madrid: Ricardo Fe, 1891.

что философия Канта не была по-настоящему оригинальной. Он утверждал, что испанские философы уже ввели похожие идеи в XVI веке, поэтому обращаться к иностранным философским учениям не было нужды. Последователь Менендеса-и-Пелайи, Орти-и-Лара, он внес в полемику свой вклад, определив Канта как главу всех протестантских философов, которые, будучи врагами науки и нравственности, должны быть запрещены³¹. Это националистски-католическое мышление было также поддержано посредством возрождения католической философии в рамках неосхоластической школы, лидером которой был кардинал Сеферино Гонсалес, один из наиболее крикливых критиков Канта. Несмотря на то, что им признавалось выдающееся место Канта в истории философии, он критиковал антихристианский, антикатолический и атеистический характер новой немецкой философии в целом и считал Канта ответственным за все заблуждения этого периода³².

Проблемы, обрисованные выше, вместе с холодным приемом книги в подобном окружении создали почву для того, что перевод Перохо так и не был закончен (а опубликованная часть не переиздавалась в Испании 100 лет). Тот факт, что «Критика» была включена в Индекс запрещенных книг и в 1881 году в него были добавлены и прежние работы Перохо, также должен был сыграть свою роль в отсрочивании публикации перевода. В конце концов Перохо решил опубликовать ту часть, которую он уже перевел, опуская «Диалектику чистого разума», которая содержала агностические идеи Канта. Как следствие, в Испании XIX века переводы философии Канта в основном были вторичными, они оставались незавершенными и фрагментарными и воспринимались во враждебном культурном окружении.

Теперь мы лучше понимаем таинственное «отсутствие» Канта в Испании, о котором сообщал Лютославский. Когда Лютославский в 1896 году разыскивал наследие Канта в Испании, Менендес-и-Пелайо просто дал ему неточную информацию касательно первого упоминания Канта в Испании, а Орти-и-Лара даже не захотел говорить о «греховном» авторе вроде Канта. Кроме того, краулист Никола Сальмерон не упомянул свои собственные отсылки к Канту или старания Перохо познакомить Испанию с неокантианством во время, когда неокантианство преуспевало в вытеснении краулизма, о чем мы уже говорили. Впрочем, Лютославский полностью не доверился сведениям, предоставленным его известными собеседниками, так как все же упо-

минает несколько испанских переводов Канта, включая перевод Перохо, который, как надеялся Лютославский, будет завершен. Но непосредственно с Перохо Лютославский не беседовал. Не осознавая той практической истины о жизни теорий, что все дискурсивные практики утверждают себя посредством маргинализации и подавления соперничающих практик³³, он не задал самому себе вопроса, отчего ведущие испанские интеллектуалы как кантианского, так и краулистского лагерей, с которыми он говорил, умолчали о всей той работе, которая была сделана по переводу Канта и продвижению его идей.

ВЫВОДЫ И ДАЛЬНЕЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Итак, мы обнаружили существование тесной связи между восприятием и переводом. Сперва мы видим ссылки на *Мануэля* Канта, затем комментарии к Канту с переводами философских терминов и цитат, так же как и краткий неполный перевод 1865 года, и наконец — переводы книг: первые полные, хотя и «из вторых рук», переводы датируются 1873-м, первый прямой, но незавершенный перевод вышел из печати в 1883-м (в 1913-м появился первый полный и прямой перевод). Эта эволюция, сравнительно с тем, что имело место во Франции, Англии и Италии, отражает по большей части вторичное (через французский язык) и позднее восприятие Канта в Испании.

Весь процесс восприятия — это диахроническое преломление — можно понять как деятельность истолкования и передачи: в Испании, еще даже до того, как возникают собственно первые переводы, существуют различные текстуальные усилия по пониманию, интерпретации, адаптации и маргинализации кантианских понятий и идей. Восприятие и истолкование суть исторические процессы внутри той или иной наличной традиции, или *Erwartungshorizont*³⁴. Та традиция, в которой мы рождены, предоставляет нам возможность истолковывать нашу историческую ситуацию (*Horizontverschmelzung*), причем наше истолкование помогает нам развивать саму традицию (*Horizontenerweiterung*). Яусс применяет герменевтический круг Гадамера к пониманию истории литературы³⁵. Тем не менее из-за того, что традиция никогда не бывает нейтральным

31. Fey E. Op. cit. P. 248.

32. González Z. Historia de la filosofía: En 3 vol. Madrid: Lopez/Araque, 1878–1879. Vol. 3. P. 487. URL: <http://www.filosofia.org/zgo/hf2/index.htm>.

33. Post R. C. Censorship and Silencing. Practices of Cultural Regulation. Toronto: Issues & Debates, 1998. P. 6.

34. Gadamer H.-G. Wahrheit und Methode. Tübingen: J. G. B. Mohr, 1960.

35. Jauss H. R. Literaturgeschichte als Provokation der Literaturwissenschaft. Konstanz: Universitätsverlag, 1967.

игровым полем, воззрения этих авторов на их собственную традицию в какой-то мере остаются не критичными. Принцип понимания некоего продукта культуры не может быть найден в пределах только его самого, независимо от условий его производства и воспроизводства. Мы понимаем друг друга посредством языка, но и язык — это также инструмент действия и власти. Делая акцент на роли восприятия, Яусс в своем седьмом тезисе допускает, что социальное изменение может быть вызвано литературой, однако вопрос о влиянии на восприятие литературы социальных условий обходится им стороной. Культурный продукт принимается не в нейтральной среде; его восприятие зависит от социальных условий, которыми определяется, какой дискурс будет приемлем, а какой неприемлем. Поэтому обращать внимание важно не только на тексты, но и на вовлеченных в целокупный процесс принятия/передачи агентов и в особенности на саму среду этого восприятия.

В «либеральных» обществах XIX века превентивная цензура (осуществлявшаяся посредством прав на печатание и списков запрещенных книг) трансформируется в цензуру репрессивную, в форме административных, политических и моральных санкций. От условий культурного производства фокус смещается на условия культурной рецепции³⁶. Работы Канта были включены в Индекс запрещенных книг, а его еретические идеи единодушно осуждались церковными и академическими деятелями на протяжении всего столетия. Большая часть из горстки либеральных покровителей Канта, усвоивших и распространявших его идеи, надеялась через продвижение демократии, секуляризма и равенства³⁷ изменить культурные и политические стандарты. Однако им различным образом препятствовали, мешали (через институциональных агентов, а также соперничающих умеренных модернизаторов), изгоняли с их академических постов и даже высылали из страны. Поскольку они были лишены пользования учрежденными информационными средствами, им также было нужно создавать их собственные альтернативные каналы для публикаций. По выражению Бурдьё, «в число самых действенных и наилучшим образом скрытых цензур попадают все те цензуры, которые состоят в том, чтобы вывести из коммуникации определенных агентов через исключение их из групп, которые говорят, или из мест, которые дают пра-

во на властное слово»³⁸. Главенствующим силам Испании хотелось навязать специфические стандарты культуры и политики (монархия, католицизм). Они это и делали, не путем запрещения всех потенциально подрывных произведений культуры, но путем предотвращения продуктивного принятия иностранных передовых идей.

Поэтому для того, чтобы понять механизм, стоящий за процессом принятия/передачи, нам нужно расширить понятие цензуры. Это включает в себя переход от «властного» понимания цензуры к структурному или системному пониманию. Цензура вездесуща, пока есть коммуникация; она является конститутивной частью социальных, политических и культурных отношений. Цензура — это не только нисходящее административное регулирование социальной и культурной коммуникации, но и конститутивный аспект социальной и культурной сфер. Она вбирает «формы регуляции дискурса, которые влияют на то, что, кем, как и в каком контексте может быть сказано»³⁹. Помимо чрезмерно идеологически и политически репрессивной цензуры, которая налагает принудительный контроль, существует также всепроникающая цензура, присутствующая в, казалось бы, «нейтральных» культурных контекстах и налагающая всеобщий контроль главенствующего мировоззрения. В этом контексте особенно уместно понятие Бурдьё о *censure préalable*. Оно отсылает не к властной цензуре, а к лингвистически интернализированным социальным условиям культурного производства, созданным посредством символической власти и инкорпорированным в габитус⁴⁰ — ко второй природе из имплицитно контролируемых культурных практик диспозиций. «Эта структурная цензура осуществляется через посредничество санкций поля, функционирующего как рынок, на котором формируются цены различных типов выражения; она навязана всем производителям символических товаров [...], и обрекает тех, кто занимает подчиненное положение, либо на безмолвие, либо на шокирующую откровенность». Дверь открыта, но привратнику в «Перед законом» (1915) Кафки не нужно действовать, чтобы воспрепятствовать человеку войти в закон. «Цензура бывает как никогда совершенна или как никогда невидима, когда каждому агенту нечего сказать, кроме того, что он объективно

36. Sapiro G. Pour une approche sociologique des relations entre littérature et idéologie// CONTEXTES. 2007. № 2. URL: <http://contextes.revues.org/index165.html>.

37. Lefevere A. Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame. London; NY: Routledge, 1992. P. 15.

38. Bourdieu P. Language and Symbolic Power/G. Raymond, M. Adamson (Trans.). Cambridge: Harvard University Press, 1991. P. 138.

39. Müller B. Censorship and Cultural Regulation in the Modern Age. Amsterdam; NY: Rodopi, 2004. P. 1.

40. Бурдьё П. Практический смысл/Пер. с фр. А. Т. Бикбова, К. Д. Вознесенской, С. Н. Зенкина, Н. А. Шматко, отв. ред. пер. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя, 2001. С. 101–103.

уполномочен сказать: в этом случае ему не надо быть даже собственным цензором, потому что он, в известном смысле, цензурирован раз и навсегда»⁴¹.

В нашем случае посредством символического принуждения, которым навязывался господствующий национал-католический дискурс и из публичной сферы исключались иностранные, современные, секулярные идеи, действовал некий род структурной превентивной цензуры. Как следствие, социо-интеллектуальное влияние кантианских идей было в Испании минимальным. Переводы были малочисленны (в глазах главенствующих сил перевод современной европейской философии не являлся легитимной культурной деятельностью), вторичны и фрагментарны (в Испании в XIX веке не было опубликовано ни одной монографии по Канту). Более того, публичное присутствие Канта было маргинальным. Системная цензура функционировала в основном на предварительном уровне нормы⁴²; гораздо чаще «пропадали» целые произведения, чем происходила обработка частей текстов на случай издания. К тому же была затруднена артикуляция альтернативных дискурсов. Перохо пытался изменить главенствующие социальные и культурные условия посредством ознакомления Испании с мыслью Канта, но барьеры, на которые он наткнулся, принудили его отказаться от осуществления своих интеллектуальных целей. Эпистемический бунт Перохо остался культурно и политически безрезультатным, поскольку солдат не отдает приказов капитану. Способность артикулировать легитимный дискурс зависит от позиции говорящего в «поле», от его или ее символического капитала, а Перохо был всего только маргинализированным критиком главенствующего мировоззрения. В результате разочарования, связанного с восприятием и воздействием его перевода «Критики» в Испании, Перохо мало написал по философии и не перевел никаких других трудов, сосредотачивая вместо этого свои усилия на образовании и анализе ситуации с колониями (в 1898 году Испания «потеряла» Кубу).

Впрочем, «[гегемония] не существует лишь пассивно как форма господства. Она должна непрерывно возобновляться, воссоздаваться, защищаться и модифицироваться. Ей также непрерывно сопротивляются, ее ограничивают, изменяют, бросают вызов совершенно сторонние силы»⁴³. Позднее, в следующем столетии, когда Кант и зарубежные секулярные и прогрессив-

ные идеи в общем-то обрели силу, когда светский философский дискурс получил символический капитал и низверг религиозный дискурс с его господствующего места (в 1928 и 1934 годах были сделаны два больших перевода «Критики»), гегемония была, по крайней мере временно, подорвана. Либеральный средний класс и народ опрокинули монархию и изгнали церковь из образовательной системы во Второй республике. Тем не менее, для того чтобы вернуть власть, национал-католические консервативные силы обратились к военным. Будучи у власти, они насильно захлопнули ворота, и привратники стали активно преследовать всякого, кто пытался войти в Закон⁴⁴. Многие из переведенного в условиях последовавшей за тем жесткой цензуры, испанцы читают и изучают до сих пор.

Перевод с английского Максима Дондуковского

41. Bourdieu P. Op. cit. P. 138.

42. Toury G. Descriptive Translation Studies and beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 1995. P. 58.

43. Williams R. Marxism and Literature. Oxford: Oxford University Press, 1977. P. 112.

44. Uribarri I. Filosofía, traducción y censura// Represura. Marzo 2009. № 6. URL: http://www.represura.es/represura_6_marzo_2009_articulo2.html.

Что перевод системе? Что ему она?

СЕРГЕЙ ТЮЛЕНЕВ

*Молодым славистам
и историкам России*

ПЕРЕВОД — это передача текста на одном языке средствами другого языка. Но не только. Перевод — это перенос явлений одной культуры в другую. Но и это не все. Перевод — это еще и важный социальный фактор, несущий на себе печать места, времени, условий своего создания и влияющий на эти место, время и условия; иными словами, перевод — это социальный акт.

Предыдущий абзац представляет собой, если угодно, очень краткую историю переводоведения, молодого, но динамично развивающегося научного направления, — три фазы его развития. На генеалогическом древе гуманитарных наук переводоведение все еще порой по инерции видится исключительно как отрасль филологии — литературоведения и /или прикладной лингвистики. Однако появление обширной специальной литературы, кафедр, отделений и даже факультетов теории и практики перевода, а, соответственно, и дипломированных специалистов-переводчиков, утверждение перевода как профессии, которой не может заниматься без специальной подготовки даже филолог, свидетельствуют о том, что перевод в современном обществе все более и более эмансипируется и становится — в терминах теории немецкого социолога Никласа Лумана — социально-функциональной системой¹.

1. *Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Fr. a. M.: Suhrkamp, 1997; Tyulenev S. Applying Luhmann to Translation Studies: Translation in Society. NY; London: Routledge, 2011.*

1. СИСТЕМА РАВНО НЕРАВНЫХ ФУНКЦИЙ

Согласно лумановской теории социальных систем (ТСС), современное общество — это общество, организованное функционально. Ростки такой организации прослеживаются Луманом с эпохи европейского средневековья, но особенно активно кристаллизация социально-функциональных механизмов происходит в эпоху индустриальной революции и Просвещения. В этот исторический период на смену стратификации европейского общества по оси «центр — периферия» и иерархизации по сословному принципу приходит такая структуризация общества, когда отдельные социальные функции, например, юриспруденция (и с ней вся судебная система), экономика, политика, религия, образование, искусство и т. д., обособляются в структуры, подсистемы, замкнутые типом операций, которые в них возможны и которые их определяют. Единственное, что объединяет всех их в единую структуру, — это равенство их неравенства: они равны только в том, что каждая из них равно независима от других, не равна другим в том, как делит социальные явления на «свои» и «чужие» и как оперирует своими элементами.

Каждая функциональная подсистема² характеризуется операционной замкнутостью и тем, что Луман, заимствуя термин из биологии, называет аутопойесисом. Слово «аутопойесис» образовано от двух древнегреческих корней, означающих «сам(о-)» и «творить», и указывает на способность социальных (под)систем самовоспроизводиться, оперируя в настоящем по примеру своих прошлых операций и предвидя подобные операции в будущем. Иными словами, выделение функциональных подсистем общества в новой истории проявляется в их аутопойетическом обособлении от других функциональных систем, их эмансипации. Это не означает, что они не взаимодействуют, однако их взаимодействие — опосредованное: ни одна из функциональных (под)систем не может изменить аутопойетических свойств другой. Как бы ни сильна была политическая подсистема, она не может полностью подчинить себе экономику или право, искусство или религию, которые все-таки будут продолжать функционировать согласно своим операционным законам; и политическая подсистема должна будет учитывать эти последние, не смотря на свое кажущееся всесилие.

2. Функции являются подсистемами по отношению ко всей социальной системе, к которой относятся, но системами по отношению друг к другу, поэтому в дальнейшем, когда подразумевается возможность и той, и другой соотнесенности, будет использоваться написание «(под)система».

В России общественное устройство структурируется в опоре на функциональность параллельно тому, как складывается приказное устройство административно-государственного аппарата в XVI–XVII веках. Приказы специализировались на определенных аспектах жизнедеятельности Московского государства. Коллегии Сената в петровские времена сменяют приказы и позже разовьются в министерства. Было бы неверно называть приказы, коллегии или министерства функциональными (под)системами, поскольку последние являются гораздо более широкими понятиями и включают в себя весь спектр социальных актов, соответствующих той или иной функции, но внутри приказов, коллегий и министерств, несомненно, выкристаллизовались операционно-регулятивные механизмы функционального систематизма³.

2. ПЕРЕВОД КАК СОЦИАЛЬНО- ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСИСТЕМА

Перевод — одна из функциональных подсистем социальной системы Московии/Московской Руси/России. Начав складываться примерно с XVI в., корнями она уходит глубже, в средневековую российскую историю, когда переводчики и толмачи впервые начинают фигурировать в исторических документах и перевод становится социально «видимым».

Так, в качестве переводчика предстает перед нами Стефан Пермский: «В лето 6904 [1396 год] <...> изъучися Греческу языку и грамоте, та же научися Пермьскому языку и азбуки сложи Пермьским языком и книги переведе на Пермьский языкъ»⁴. Здесь переводчиком выступает дьякон-миссионер, который впоследствии становится епископом в Перми.

В летописных записях о событиях XV века, однако, уже появляются и упоминания переводчиков (толмачей) без ссылок на другие виды их (возможной) деятельности. Так, под 1493 годом в Московском летописном своде конца XV века находим упоминание об одном таком толмаче: «Тое же зимы, ген[варя],

казнилъ князь великий княз[я] Иван[а] Лукомского да Матиаса Ляха, толмача Лат[ын]ского»⁵. При описании Ферраро-Флорентийского собора также, пусть и лишь мимоходом, упоминается работа толмачей: «[участники собора] начнут глаголати и толмачи от них глаголатъ, глаголюще тремъ языки, Гречьскы, Фрязскы и философскы»⁶.

Заметим, что в лице Стефана Пермского мы обнаруживаем крайне распространенный пример церковного служителя, занимающегося переводом⁷. Из других свидетельств о Ферраро-Флорентийском соборе мы знаем, что там переводили (и письменно и устно — в Московском летописном своде упоминается лишь устный перевод: «толмачи <...> глаголатъ»), так сказать, по совместительству и служители церкви, которые, кроме того, участвовали в дискуссиях и выполняли другие функции. Так, Амброджио Траверсари, Кристофоро Гаратони, Андрей Родосский Хрисоберг переводили, но это не было тем, что мы назвали бы их профессией, скорее, это был лишь временный вид деятельности⁸. Положение здесь близко к случаю Стефана Пермского. Что же касается толмача «ляха» Матиаса, то трудно сказать, зарабатывал ли он переводом на жизнь или это тоже было лишь одно из его занятий. В летописи он назван толмачом, поскольку, видимо, такова была его роль в конкретном преступлении — соучастии в действиях, направленных против великого князя, за что переводчик и поплатился жизнью.

Упоминания перевода почти случайны: перевод Стефана Пермского оказался значительным событием (но сколько других переводчиков-монахов в летописи не попали!); толмачи на Ферраро-Флорентийском соборе упомянуты, поскольку были замечены одним из участников русской миссии, по отчету о поездке которого летописец и составил свое повествование; Матиас оказался одним из «проходивших по делу» осужденных.

Случайный характер таких прямых упоминаний перевода особенно бросается в глаза на фоне других многочисленных событий — фиксировавшихся летописцем международных сношений Руси, в которых перевод явно имел место, но оказывался «невидимым» как прозрачное стекло, через которое стороны словно бы смотрели друг на друга. Так, например, в 1405 году переговоры между Витовтом Кейстутовичем, великим князем Литов-

3. Неслучайно Юрген Хабермас, заимствуя концепцию системы у Лумана (споря, впрочем, с ним в других вопросах), связывает с системами ту часть социума, которая своей системной формализацией социальных актов противостоит жизненному миру («жизнемиру», *Lebenswelt*), настроенному на консенсус и социальное сотрудничество (*Habermas J. The Theory of Communicative Action. Vol. 2: Lifeworld and System: A Critique of Functionalist Reason/T. McCarthy (Trans.). Boston: Beacon Press, 1989 [1981]*).

4. Полное собрание русских летописей (далее — ПСЛР). Т. 25. Московский летописный свод конца XV века. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. С. 226. Л. 316 об.

5. ПСРЛ. Т. 24. Типографская летопись. Петроград: 2-я Государственная типография, 1921. С. 211. Л. 295; Ср.: Там же. С. 238.

6. ПСРЛ. Т. 25. С. 254. Л. 354 об., 355.

7. Ср.: *Исаченко Т. А. Переводная московская книжность XV–XVII веков. М.: Пашков дом, 2009.*

8. См. подробнее в: *Gill J. S. J. The Council of Florence. Cambridge: Cambridge University Press, 1961. P. 106, 141, 148–149, 164–165, 169, 176.*

ским, и Ягайлом-Владиславом Ольгердовичем, великим князем Литовским и королем Польским, с участием Киевского митрополита Киприана в городе Милолюбие не упоминают переводческого посредничества⁹. Мирные переговоры между Новгородом и ливонцами в 1420 году описываются с упоминанием послов (Гостило, Тимофей, Еремей) от ливонского магистра Силивестра к князю Константину Дмитриевичу и с упоминанием послов князя к «немцам» («великого князя наместника князя Федора Патрекеевича и <...> боарина Андрея Костянтиновича и посадников Новгородских»), но без всякого упоминания перевода¹⁰.

В описании пути Софьи Палеолог в Россию перевод не упоминается, хотя и она сама, и сопровождавший ее легат Антоний, и свита явно нуждались в переводе во время многочисленных контактов с властями встреченных городов и в Москве. Скорее всего, посредником-переводчиком был один из сопровождавших Софью и осевший в России итальянец Иван Фрязин (Волп). Вероятно, при этом Фрязин выступал от лица папской миссии, так как ранее, в 1469 году, был послан за Софьей именно потому, что был итальянцем, не утратившим связей с родиной¹¹. Когда в 1472 году к великому князю явился посол венецианский Тривизан, в Москве он первым делом направился к Ивану Фрязину: «Тривизан пришел на Москву и первое прииде к Ивану Фрязину к денежнику Московскому, понеже бо тои Иван Фрязин Волп тамошние земли рожением и знаем тамо»¹².

Юрий Грек Траханиот, похоже, тоже выполнял переводческо-посреднические обязанности, например, когда в 1487 году сопровождал посла «от короля Римского Максимиана Фердирикова сына цесарева, именем Юрьи Делатор», а в миссии участвовал также дьяк Василий Кулешин¹³. В следующей миссии с русской стороны участвуют «Михаил Кляпик Яропкын да Иван Волк Курицын», но остаются Юрий Делатор, посол Максимиана, и Юрий Грек «Тарханиот»¹⁴. Таким образом, состав русской миссии меняется, но Юрий Траханиот оказывается незаменимым — скорее всего, потому что мог служить посредником-переводчиком. О том, что Иван Фрязин и Юрий Траханиот выполняли переводческие обязанности, мы, тем не менее, можем лишь догадываться. Скорее всего, как видно из описанного летописцем поведения Ивана Фрязина, который мог высказывать свое

мнение о том, как — с католическим крестом или без — папскому легату Антонию входить в Москву, его роль не сводилась к исключительно переводческой¹⁵. Вполне вероятно, что это справедливо и в отношении Юрия Траханиота. Перевод еще явно не выделился в особую функцию-профессию.

Механизм вынесения летописцами перевода за скобки становится понятен, когда мы сравниваем более поздние записи с непосредственными отчетами о дипломатических миссиях русских послов. Для летописца, как, скажем, для историка, политолога или журналиста, пишущего о какой-либо встрече на высшем уровне сегодня, важно лишь событие, а перевод — всего лишь одна из обслуживающих функций. Так, в Хронографе ленинградского списка Никаноровской летописи под летом 7075 (1567) читаем о том, как государь и великий князь Иван Васильевич рассылает послов в западноевропейские страны¹⁶. Участие в этих миссиях переводчиков не упоминается — оно выходит из тени лишь в непосредственных отчетах о таких миссиях — в статейных списках. Там переводчики/толмачи не только упоминаются, как ранее в отчете о Ферраро-Флорентийском соборе, но и называются по именам. Нередки такие записи: «Июля в 30 были у послов от короля Иван Лаврентиев [Hans Larsson, шведский дипломат] да дьяки мастер Мортин, да Ганш Ириков, да *Пантелей Юрьев в толмачех*»¹⁷ (курсив мой. — С. Т.). Или: «Августа в 19 сказал послом, Ивану Махайловичю с товарищи, *Нечай толмач*»¹⁸ (курсив мой. — С. Т.). Здесь перед нами подробная фиксация фактов для отчета о миссии и описание того, кто из ее участников, в том числе и переводчики/толмачи, что делал, приобретает юридический характер¹⁹. Итак, с расширением дипломатических сношений Руси на наших глазах происходит и функциональное расслоение видения (фиксации) ролей участников: дипломат делает свое дело, а переводчик/толмач — свое, и эти функции не ассоциируются с одним лицом, как в случае с Иваном Фрязиным или Юрием Траханиотом.

15. Там же. С. 299. Л. 419.

16. ПСРЛ. Т. 27. С. 143.

17. Путешествия русских послов XVI–XVII вв. Статейные списки. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. С. 12.

18. Там же. С. 16.

19. В частности, чтобы предотвратить случаи, о которых читаем у Григория Котошихина читаем: «И ненаучением своим <послы Российского государства> говорят многие речи к противности, или скоростию своею к подвижности, а потом в тех своих словах временем запрутся и превращают на иные мысли; а что они каких слов говоря, запираются, и тое вину возлагают на переводчиков, будто изменю толмачат» (Котошихин Г. О России в царствование Алексея Михайловича. 4 изд. СПб.: Тип. Главного управления уделов, 1906 [1666–1667]. С. 53).

9. ПСРЛ. Т. 25. С. 233. Л. 326 об.

10. Там же. С. 245. Л. 341 об., 342.

11. Там же. С. 281, 296, 299.

12. Там же. С. 292. Л. 409.

13. Там же. С. 331. Л. 469; 332. Л. 471, 471 об.

14. Там же. С. 333. Л. 472 об.

В важном памятнике XVII века, в описании Григория Котошихина государственно-административных органов Руси времен царствования Алексея Михайловича, мы находим ясное свидетельство обособления перевода как особой функции в госаппарате. Переводчики и толмачи состоят при Посольском приказе. Они переводят письменно и устно с латинского, шведского, немецкого, греческого, польского, татарского «и иных языков»; при этом Котошихин указывает, что переводчиков было «с 50 человек, толмачей с 70 человек»²⁰. Мы узнаём, что переводчики и толмачи за свои услуги получают годовое царское жалование: «переводчиком рублей по 100 и по 80 и по 60 и по 50, смотря по человеку; толмачем рублей по 40 и по 30 и по 20 и по 15 и менши, смотря по человеку; да поденного корму: переводчиком по полтине и по 15 алтын и по четыре гривны и по 10 алтын и по 2 гривны на день, смотря по человеку; толмачем по 2 гривны и по 10 алтын и по 4 и по 3 и по 2 алтына, и по 10 денег на день человеку, смотря по человеку ж, помесечно»²¹. Таким образом, перевод предстает перед нами как уже вполне оформившийся вид профессиональной деятельности.

Сначала использовались в основном «природные» носители тех или иных языков, которые, живя в разных местах, выучили другие языки, и не всегда на достаточно высоком уровне; к XVIII веку знание языков уже проверяется на специальных экзаменах. Приведем примеры.

Об одном «природном» носителе языка, который освоил другие языки, читаем в летописи: «В лето 6979 [1471] Король Казимер послал в Большую Орду ко царю Ахмуту татарина Кирия Кривого. А тот Кирей бежал ко королю от великого князя Ивана; и холоп великого князя купленою, а купил еще деда Киреева Мисуря князь великий Василей Дмитриевич оу своего тьстя, великого князя Витовта, и оу того Мисури был сынъ Амурадтъ, тот Кирей Амурата того сынъ»²². Татарин Кирий Кривой являет собой пример человека, который, скорее всего, мог изъясняться по крайней мере по-татарски и по-русски, будучи живущим в России татаринком. Возможно, он знал также и другие языки, например, польский и/или литовский. В данном случае важно не то, что Кирий Кривой, может быть, никогда не выступал в роли переводчика; важно, что перед нами человек, живший среди разных народов и овладевавший иностранными языками. Некоторые из таких людей и были первыми переводчиками.

20. Там же. С. 86.

21. Там же. С. 96–97.

22. ПСЛР. Т. 27. С. 128.

Другое дело, когда языками овладевают специально, чтобы переводить. Из одного из указаний Петра мы узнаем, что он сознавал необходимость подготовки переводчиков, особенно таких, которые знают и языки оригинала, и русский, и предмет повествования. На подготовке именно таких переводчиков он настаивал: тех, кто не знал иностранные языки было велено обучать им, тех же, кто знал языки, но не имел необходимых для перевода специальных знаний в той или иной области, в которой была острая нужда в петровскую эпоху европеизации, следовало учить этим специальным предметам²³. Поэтому-то поступающим на переводческую службу в Посольский приказ устраивались экзамены. Так, переводчик Посольского приказа М. И. Арсеньев вспоминал: «И пришед в приказ, переводчик Николай Спафарей мене свидетельствовал в языках. Потом дали мне грамоту венецкую по итальянски перевести, заперли в казенку и я перевел исправно»²⁴.

Переводчики и толмачи изначально относились к Казенному приказу, а со времени основания Посольского приказа (Посольской избы) в 1549 году состояли при нем²⁵. Но в петровскую эпоху перевод переходит ведомственные границы и функционирует как более универсальный механизм, обеспечивающий общение России с иностранными государствами. Во вновь образованном Сенате переводчики представлены почти во всех коллегиях. В своем статистическом описании постпетровской России «Цветущее состояние Всероссийского государства», написанном в 1727 году, так сказать, по горячим следам петровских преобразований, Иван Кирилов сообщает, что в коллегиях Сената служили по одному или по два переводчика. Из двадцати четырех подразделений Сената в четырнадцати переводчики состояли в штате. В Коллегии иностранных дел их, конечно, было больше: 20 переводчиков и 6 толмачей.

Переводчики входили в правительственно-административные структуры и вне столицы. Например, в Ревеле и Риге переводчики числились среди госслужащих. В Риге, кроме того, было два переводчика в экономическом департаменте и один — в суде²⁶. Переводчики нужны были и в специальных учрежде-

23. Акты о высших государственных установлениях. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1945. С. 139.

24. Цит. по: Шамин С. М. Куранты XVII столетия. Европейская пресса в России и возникновение русской периодической печати. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2011. С. 99–100.

25. Лисейцев Д. В. Посольский приказ в эпоху Смуты. М.: Ин-т российской истории РАН, 2003. С. 7; Котошихин Г. Указ. соч.

26. Кирилов И. Цветущее состояние Всероссийского государства. М.: Наука, 1977 [1831]. С. 72, 78.

ниях. В Кронштадте переводчик работал на таможне²⁷. Переводчики и толмачи помогали строителям и архитекторам, посредничая во франко-, немецко- и голландско-русском общении²⁸. Переводчики трудились в военных структурах и, например, в Нарве при лютеранской церкви²⁹.

В Академии наук тоже велась активнейшая переводческая работа. В Регламенте Императорской академии наук и художеств в Санкт-Петербурге читаем: «Всяк Академик иметь должен при себе Адъюнкта, который должность иметь помощника Академику <...>. Адъюнкт должен в делах до наук касающихся у своего Академика и Переводчиком служить»³⁰. Научные труды, подготовленные в течение года, должны были публиковаться в оригинале и в русском переводе³¹. Переводчик числится при канцелярии академии; еще два — при библиотеке³².

Уже этих примеров достаточно, чтобы увидеть выход перевода за пределы одного ведомства и, в терминах лумановской теории социальных систем, выделение перевода в самостоятельную социально-функциональную подсистему, без которой вся система уже не может взаимодействовать с внешним окружением. Подсистема перевода стала более сложной, потому что система в целом открылась для более активных международных сношений. Таким образом, система способствует самоорганизации подсистемы перевода, а подсистема помогает системе эволюционировать благодаря ее новым отношениям с внешним миром.

Как любая функциональная подсистема, перевод фокусируется на определенной социальной проблеме — межсистемном взаимодействии, а выработка способов решения этой проблемы и становится функцией перевода. Системная функционализация перевода в России обретает строгие очертания в первой четверти XVIII века. В 1720 году в главе XXXI Генерального регламента коллегий Сената специально прописываются обязанности переводчика: он должен переводить точно и ясно, от него требуется хорошее знание иностранных языков и быстрота в работе. Если переводчик не переводил своевременно и с должным качеством, его могли оштрафовать³³. Таким обра-

зом, обязанности переводчика приобретают профессиональный характер, и если раньше перевод был деятельностью, которую совмещали с другими (основными) занятиями, то теперь перевод — это профессия.

Все это, конечно, не означает, что перевода как деятельности не существовало, скажем, во второй половине XVIII века. На протяжении всего XIX и XX веков будет процветать любительский перевод, который, помимо всего прочего, будет одной из немногих возможностей для женщин заниматься социально значимой, выходящей за узкосемейные рамки деятельностью³⁴. Однако камень в фундамент здания перевода как эмансипирующей функциональной подсистемы социальной системы в России уже был положен. Наряду с подсистемами политики, религии, искусства, образования, юриспруденции и т. п., Россия как социальная система обрела подсистему перевода.

3. ТРИ ОСИ ПЕРЕВОДА

Оформление перевода в профессию и его социально-функциональная эмансипация в России к XVIII веку не случайны. Как известно, к этому времени активизация международных сношений России в контексте общегосударственной программы модернизации Петра I достигает очень высокого уровня. Это заставило Россию как социальную систему обратить пристальное внимание на те свои внутренние структурные образования, которые Луман называет «пограничными феноменами»³⁵. Пограничные структуры повышают чувствительность системы к тому, что происходит в окружающем ее мире, при этом они частично открывают систему для последнего, а частично закрывают, фильтруя входящую (и исходящую) информацию. Перевод может быть описан как один из таких социально-системных феноменов. Он активно участвует в отборе того, что может оказаться полезным для системы, при этом как бы редактирует входящие и исходящие тексты (в широком семиотическом смысле — не только вербальные) или их элементы. Как же перевод в качестве системно-пограничного явления участвовал в модернизации России? Перевод действовал по трем осям: (1) изменял внутренний состав системы (ось «окружаю-

27. Там же. С. 55.

28. Там же. С. 61.

29. Там же. С. 65.

30. *Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. T. 1 ad Annum MDCCXLVII et MDCCXLVIII. Petropoli: Typis Acadmiae Scientiarum, 1750. P. 17–18.*

31. *Ibid.* P. 25.

32. *Ibid.* P. 33–34.

33. Законодательные акты Петра I/Под ред. К. А. Софроненко. М.: Гос. изд-во юрид. лит-ры, 1961. С. 91.

34. *Tyulenev S. Women-Translators in Russia// MonTI. Woman and Translation: Geographies, Voices and Identities/J. Santaemilia, L. von Flotow (Eds.). 2011. № 3. P. 75–105.*

35. *Luhmann N. Op. cit. S. 76; Idem. Social systems/J. Bednarz Jr., D. Baecker (Trans.). Stanford, CA: Stanford University Press, 1995. P. 197.*

щий мир — перевод — система»); (2) изменял окружающий мир в том, как этот мир относился к системе (ось «система — перевод — окружающий мир»); (3) наконец, содействовал начинавшейся в Европе функционально-системной глобализации (ось «система — перевод — окружающий мир — глобальная система»).

3.1. ПЕРЕВОД — СИСТЕМЕ

3.1.1. Пионеры и последователи

Прежде всего, следует подчеркнуть, что то, что можно назвать модернизацией России в петровскую и постпетровскую эпохи, воспринималось как европеизация. Россия выбирает путь следования за наиболее передовыми для того времени странами Европы, перенимая у них накопленные знания, технологии, культурно-эстетические нормы — учась у них. Вспомним, как в «Полтаве» Пушкин выразил эту программу в тосте Петра «за учителей своих». Петр избирает наиболее экономный способ модернизации России — европеизацию посредством перевода (при этом под переводом имеется в виду не только вербальный перенос, но и перенос культурных явлений, технологий и т. п.).

В развернувшемся процессе модернизации были государства, которые вступили на этот путь первыми (пионеры), и те, кто включился позднее (последователи). Пионеры путем проб и ошибок достигают определенных успехов, предоставляя тем самым последователям определенное преимущество: им уже не нужно снова изобретать велосипед, они могут просто воспользоваться открытиями пионеров³⁶. К этому варианту и прибег Петр³⁷.

Так, правительство Петра рассматривало возможности торговли с восточными странами по примеру Англии, Испании, Португалии, Нидерландов и Франции. Но для этого прежде всего требовались подробные географические описания и карты. Очевидной выгодой для решения этой задачи оборачивались переводы географических трудов западноевропейских ученых, в частности, Бернгарда Варения и Йоганна Гюбнера, которые были призваны стать примером для россиян³⁸. Переводятся книги и из других областей знания. Петр буквально держит руку на пульсе процесса перевода технической и военно-технической литературы. При-

мером служит его корреспонденция с А. Головкиным, который переводит книгу Штурма по военной архитектуре³⁹.

Примеры можно множить, но и приведенные достаточно ясно показывают, что перевод западноевропейских публикаций, среди всех прочих видов переноса, расценивался Петром как ключевой элемент его программы модернизации России по образцу наиболее передовых европейских держав. Подсистема перевода, соответственно, приобретала очень важное значение для всей социальной системы России, поскольку позволяла ей быстро и эффективно учиться у пионеров и тем самым быстрее достигать желаемых результатов. Перевод был *conditio sine qua non* модернизации (=европеизации) России.

3.1.2. Учитель становится учеником

Еще раз подчеркнем, перевод не сводился только к вербальной своей форме. На российскую почву активно переносились или, можно сказать, переводились новые идеи, технологии, новые эстетические и этические нормы. Перевод влиял на целый ряд внутренних характеристик системы, но, пожалуй, самым важным было общее изменение социального дискурса — того, что определяло приоритеты системы. До полномасштабного развертывания реформ по западноевропейским образцам Русь видела себя «третьим Римом», той самой церковью и тем самым государством, в которых небеса на земле уже стали действительностью⁴⁰, и поэтому настаивала на своей самодостаточности как преемницы православных традиций Константинополя — «второго Рима». Теперь же Россия осознала необходимость впитывать лучшие достижения мировой науки и техники. Сам Петр охотно учился еще с юности в Немецкой слободе, а после — во время Великого Посольства (1797–1798) и в зрелые годы. Наиболее выдающийся из идеологов петровских реформ Феофан Прокопович утверждал, что нет ничего постыдного в изучении всего того, что лучше в других державах, если это служит ко благу России. Позже самая верная продолжительница петровской европеизации России Екатерина Великая почитала за честь числиться ученицей просветителей — Дидро, Вольтера, Гримма.

Целью Петра был вывод России на европейскую политическую арену, что, однако, оказывалось невозможным без повышения уровня образования и развития искусств. Поэтому (на-

36. Levy Jr. J. M. *Modernization: Latecomers and Survivors*. NY; London: Basic Books, 1972. P. 12–13.

37. Петр не был ни первым, ни последним, кто предпринял перенос западноевропейских идей на российскую почву. Но в период его правления этот процесс впервые в российской истории (Киевская Русь не в счет!) был развернут с таким размахом и в таком масштабе.

38. Кирилов И. Указ. соч. С. 17.

39. Письма и бумаги императора Петра Великого. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1961. Т. 9. № 1. С. 11; Т. 8. № 1. С. 375; Т. 8. № 2. С. 1057.

40. Tschizewskij D. *Russian Intellectual History*/J. C. Osborne (Trans.). Ann Arbor, Michigan: Ardis, 1978 [1959]. P. 124.

пример, в одном из своих указов в 1702 г.) Петр говорит о необходимости внести для блага державы определенные изменения прежде всего в вопросе доступа его подданных к образованию. Образовательные реформы пошли по четырем направлениям⁴¹. (1) Появились математические и навигационные школы. Тон в них изначально задавали приглашенные иностранные учителя. Петр уводит российское образование с грекоправославной религиозной орбиты в сторону все более распространенной в Европе системы общегуманитарного образования (*Humanitait*). Одновременно Петркратно увеличивает число россиян, обучающихся за границей⁴². (2) Активно переводятся учебные и лексикографические пособия, а также другая образовательная и просветительская литература. Петр начинает процесс, который продолжают его коронованные (Екатерина Великая) и некоронованные (Тредьяковский, Кантемир, Ломоносов) последователи. (3) В 1703 г. Петр основывает «Ведомости», газету, полное название которой утверждает ее просветительское назначение: «Ведомости о военных и иных делах достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах». В отличие от предшествующих «Курантов», появление которых объяснялось прежде всего «потребностью государства во внешнеполитической информации»⁴³, а основной аудиторией мыслились исключительно высшие круги государственно-административного аппарата, «Ведомости» адресовались более широкой читательской публике. Газета легла в основание российской подсистемы массовой информации, составленной из многочисленных периодических изданий, социальное значение которых особенно возросло, начиная с екатерининского правления. (4) Петр активно использовал искусство в целях просвещения своих подданных. Хотя уже его отец, царь Алексей Михайлович, и сводная сестра Софья Алексеевна были любителями театральных действ, театр XVII века все же не переходил рамок чистой развлекательности и имел своей аудиторией царскую семью и их приближенных. Петр же превращает театр в средство пропаганды и просвещения широкой общественности⁴⁴. Театр сам по себе был феноменом переводным и начинал с переведенных западных пьес, хотя позднее в репертуаре и стали

41. Соловьев С. Публичные чтения о Петре Великом. М.: Наука, 1984 [1872]. С. 100 сл.
 42. Владимирский-Буданов М. Государство и народное образование в России XVIII века. Ярославль: Типография Г. В. Фалька, 1874.
 43. Шамин С. М. Куранты XVII столетия. Европейская пресса в России и возникновение русской периодической печати. М.; СПб.: Альянс-Архео, 2011. С. 310.
 44. Brown W. E. A History of 18th Century Russian Literature. Ann Arbor: Ardis, 1980. P. 25, 28.

появляться оригинальные постановки⁴⁵. С годами театр приобретал все большую и большую популярность, к его популяризации, как известно, приложила руку и Екатерина II, оценившая образовательный потенциал театральной сцены.

Дискурс учения — это основа, на которой разворачивались переводные процессы в целом ряде конкретных подсистем. Например, в сфере языка вводится новый, гражданский, шрифт, адаптировавший и приближавший славянское письмо к латинским печатным шрифтам⁴⁶. По образному выражению Ломоносова, не только бояре и их жены облачились в более легкие одежды, но и буквы сбросили свои шубы и надели летние платья⁴⁷. Передача иностранных имен и реалий предпочтительна теперь в своем латинском написании, а не греческом, как раньше. Антон Барсов, автор русской грамматики, составленной в 1783–1788 годах, аргументирует эти изменения тем, что теперь в светских книгах Россия ориентируется на языки (западно) европейские⁴⁸. Еще раньше Прокопович не советовал использовать греческие слова и конструкции, поскольку греческий не принадлежит к славянским языкам и потому не согласуется с грамматической природой последних⁴⁹. Произшедшие языковые инновации затронули графику, орфографию, грамматику и лексику. Изменения — прежде всего под влиянием перевода — происходили и на других языковых ярусах⁵⁰.

3.1.3. Манна европеизации

Как уже было сказано, достижения западноевропейских стран призваны были служить образцами для их воссоздания и вос-

45. Гуковский Г. Русская литература XVIII века. М.: Учпедгиз, 1939. С. 25–33.
 46. Пекарский П. Наука и литература в России при Петре Великом. СПб.: Общественная польза, 1862. Т. II. С. 644 (Unveraenderter fotomechanischer Nachdruck der Originalausgabe 1862 nach dem Exemplar der Universitaetsbibliothek. Leipzig: Zentralantiquariat der DDR, 1972); Луннов С. Книга в России в первой четверти XVIII века. Л.: Наука, 1973. С. 60; Cracraft J. The Petrine Revolution in Russian Culture. Cambridge, MA; London: The Belknap Press of Harvard University Press, 2004. P. 265.
 47. Цит. по: Глухов А. Русь книжная. М.: Советская Россия, 1979. С. 206.
 48. Барсов А. А. Российская грамматика Антона Алексеевича Барсова. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981 [1783–1788]. С. 523.
 49. Кутина Л. Феофан Прокопович. Слова и речи. Проблема языкового типа // Язык русских писателей XVIII века / Под ред. Ю. Сорокина. Л.: Наука, 1988. С. 44.
 50. Huettl-Worth G. Die Bereicherung des russischen Wortschatzes im XVIII. Jahrhundert, Wien: Verlag Adolf Hozhausens Nfg., 1956. S. 25; Биржакова Е., Воинова Л., Кутина Л. Языковые контакты и заимствования. Л.: Наука, 1972; Tyulenev S. The Role of Translation in the Westernization of Russia in the Eighteenth Century. Ottawa: School of Translation and Interpretation, University of Ottawa, Ph. D. thesis, 2009. P. 111–117.

производства на отечественной почве. Образец, или пример, можно рассматривать как явление, которое уже существует, однако, не принадлежит тому, кто желает им воспользоваться, это *чужое* настоящее, которому соответствует *свое* будущее (я сделаю так, как уже делает другой). Таково соотношение образца пионеров западноевропейской модернизации и результата их перенятия петровской Россией как последовательницей. Цель модернизации сводилась к тому, чтобы превратить чужое настоящее в свое, достичь образца, сделать будущее настоящим.

Любопытную и очень важную роль в этом процессе играет перевод. Он размывает границы между настоящим и будущим посредством превращения чужого в свое. Будущее, то есть модернизированная Россия, еще не существовало, но Петр и его идеологи провозгласили его *in verbo*. Будущее для них прочно ассоциировалось с западноевропейским образом жизни. Перевод, переносивший явления окружающего систему мира в самое систему, стирал разделявшие их границы. В случае с вербальными текстами он создавал иллюзию того, что переведенный текст существовал на русском языке, поскольку становился частью корпуса русской словесности. Таким образом, чужое, которое в данном случае было частью искомой модернизации, становилось своим, то есть фактом российской действительности. То, чего Россия смогла достичь лишь в будущем, словесно она получала уже сейчас; чужое «сейчас, но там», которое было своим «здесь, но потом», превращалось в свое «здесь и сейчас». Таким образом, осуществлялась очень интересная, с мощным идеологическим потенциалом метаморфоза чужого настоящего в свое как бы в обход своего будущего. В переводе будущее модернизированной (=европеизированной) России, которое соответствовало западноевропейскому настоящему, становилось российским настоящим. Будто по мановению волшебной палочки, немодернизированное настоящее превращалось в мессиански предрекаемое будущее. Перевод играл ключевую роль в этой метаморфозе, поскольку именно он снабжал россиян, движущихся в «пустыне» настоящего к земле обетованной — европеизации, манной переводимых явлений западноевропейской культуры. Перевод позволял заглянуть за горизонт, в свое будущее, показывая чужое настоящее. Идеологически мощным такое влияние оказывалось потому, что, как манна изменяла внутренний состав вышедших из Египта израильтян, насыщая их божественной пищей и подготавливая к жизни в земле обетованной, так перевод давал россиянам вкус проповедуемой новой, модернизированной по европейскому образцу жизни и готовил их к ней.

3.2. ПЕРЕВОД — ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ

3.2.1. Россия и россика

Хотя говорить об изоляции допетровской Руси от Запада было бы неверно, все же распахнутость России к миру при Петре и после него несопоставима ни с каким из предыдущих периодов ее истории. Некоторые из первых западноевропейских путешественников, например, Б. Тудела и Дж. ди Плано Карпини, еще путали Россию с Богемией и Татарией⁵¹. Но начиная с XV века, в частности, благодаря участию в упоминавшемся выше Ферраро-Флорентийском соборе, Русь постепенно начинает выходить на европейскую политическую арену или, в терминах лумановской ТСС, система начинала активнее взаимодействовать с окружающим ее миром. И все же это взаимодействие не шло ни в какое сравнение с тем, что мы наблюдаем в XVIII веке.

В допетровский период в Европе появляются первые публикации о России, начинает складываться так называемая россика — корпус циркулировавших на Западе текстов о России. Вплоть до петровских времен этот корпус складывался из попадавших в печать впечатлений иностранцев о России, непосредственных впечатлений или рассказов с чужих слов. Системе не всегда удовлетворяло то, как окружающий мир представлял ее в этих публикациях. Ее реакция, однако, сводилась лишь к угрозам прекратить сношения с «обидчиками». Так, посетивший Россию в 1588 году посланник королевы Елизаветы к царю Федору Ивановичу д-р Дж. Флетчер в 1591 году опубликовал нелицеприятный трактат о правительстве и нравах русских «Of the Russe Commonwealth». «Русская компания», английское торговое представительство в России, потребовала изъятия книги из продажи, опасаясь того, что издание повредит торговым сношениям двух стран. Хотя книга все же поступила в продажу, все критические пассажи, которые могли бы обидеть Россию, были из нее изъяты. Система грозила пресекать критику самым решительным образом.

Такое положение дел радикально изменилось при Петре. Россия стала не только переводить, чтобы измениться внутренне. Будучи заинтересованной в повышении своего престижа в Европе, частью политико-социальной жизни которой она стремилась стать, Россия стала переводить на иностранные языки информацию о себе или заказывать переводы. В XVIII веке объем

51. *Mohrenschildt D. von. Russia in the Intellectual Life of Eighteenth-Century France. NY, Morningside Heights: Columbia University Press, 1936. P. 167–169.*

россики не просто увеличивается — изменяется ее состав: теперь важной ее частью становится литература о России, производимая или заказываемая самой Россией.

Так, после победы под Полтавой (1709 год) Петру был устроен триумфальный прием в Киеве. Феофан Прокопович произнес хвалебную речь, и речь эта так понравилась Петру, что он приказал напечатать ее по-русски и по-латински. Очевидно, что русский оригинал был адресован российской аудитории, в то время как латинский перевод был предназначен для западноевропейских политических кругов. Новости о других победах Петра также переводились и распространялись в Европе. В круг обязанностей российских послов входила публикация или заказ публикаций о России. То же будет происходить и в постпетровское время. К приезду генерала графа Орлова в Неаполь в газету *Notizie del mondo* было отправлено письмо с текстом для публикации⁵².

3.2.2. «Слово за слово»

В середине XVIII века объем россики возрастает еще больше, что объясняется более активным участием России в политических делах Европы (прежде всего, конечно, в результате победы над Швецией). Тематами публикаций служили петровские победы и реформы, личность самого императора, государственные перевороты после его смерти, Екатерина Великая, ее внутренняя и внешняя политика⁵³.

Понятно, русский престол был заинтересован в появлении позитивных публикаций о «славной» России и не скупился на поощрения. Екатерина щедро наградила неаполитанца Д. Диодати за трактат, представлявший Россию освободительницей Греции от турецкого ига и гарантом ее возрождения. Неаполитанцу была пожалована золотая медаль и роскошное издание плана реформирования российских законов с параллельными текстами на русском, латинском, французском и немецком языках. А Санкт-Петербургская академия наук наградила другого панегириста Ф. Пагано за его хвалебную речь о графе Орлове⁵⁴.

52. *Вентури Ф.* Неаполитанские литературные отклики на русско-турецкую войну (1768–1774 годы)// Русская литература XVIII века и ее международные связи/Под ред. И. Серман. Л.: Наука, 1975. С. 121–122.

53. *Сомов В.* Французская россика эпохи Просвещения и русский читатель// Французская книга в России XVIII в.: очерки истории/Под ред. С. Луппова. Л.: Наука, 1986. С. 228–245.

54. *Вентури Ф.* Указ. соч. С. 121–122.

Таким образом, Российское правительство четко осознавало благотворное влияние положительных публикаций авторитетнейших иностранных авторов на общественное мнение в Европе. Одним из таких авторов был Дидро. Он участвовал в переводе книги о российской системе просвещения, написанной И. Бецким. Вольтеру русский двор заказал историю Российской империи при Петре Великом и целый ряд памфлетов в поддержку российской внешней политики. Сам Вольтер иронически называл себя и других европейских корреспондентов Екатерины светскими миссионерами, проповедующими культ Святой Екатерины. Очень важную роль играл в свою очередь перевод этих публикаций на русский.

Екатерининский «Наказ комиссии о составлении проекта нового уложения» (1767 год) был несколько раз опубликован во французском переводе. Эти переводы существенно повышали престиж русской императрицы как одного из просвещенных европейских монархов. Но не всегда перевод сводился к прямой передаче некоего целого оригинала на тот или иной иностранный язык. Иногда потенциальному автору предоставлялись переведенные материалы, которые затем использовались для написания статьи или книги. Так, в 1757 году М. В. Ломоносову было поручено собрать материалы для истории Вольтера о петровской России. Ломоносов подготовил выписки из различных источников, которые были переведены на французский и отправлены Вольтеру⁵⁵.

Хотя не все публикации о России приходились российским властям по вкусу, петровская Россия не прибегала к прежним радикальным и грубым мерам, а действовала по отношению к критическим или клеветническим материалам более изолированно. Примечательно, что иногда в числе неугодных публикаций оказывались даже заказанные системой труды. Например, П. Левек опубликовал «Историю России» в 1782 году, а Н. Леклерк опубликовал в 1783–1794 годах «Физическую, моральную, гражданскую и политическую историю древней и современной России». Оба труда были заказаны российским правительством, но результат не удовлетворил коронованную заказчицу: Екатерина сурово раскритиковала обе публикации. Однако теперь система не мстила неугодным авторам по принципу «глаз за глаз», а парировала слово словом. Например, до книг Левека и Леклерка, в 1761 году, также по-французски вышла книга Ш. д'Отроша «Путешествие в Сибирь». Система в лице Екатерины выступила с критикой представленного в книге изображения стра-

55. *Менишуткин Б.* Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1947. С. 218.

ны. В 1771–1772 годах в Амстердаме была издана книга «Антидот, или Разбор негодной книги „Путешествие в Сибирь“, изданной в 1761 году» (*Antidote, ou examen du Mauvais livre intitulé: Voyage en Sibirie fait en 1761*). Анонимным автором антидота была сама Екатерина. Прежде всего, она выразила несогласие с определением государственного правления в России как отсталого и деспотического. В качестве контраргумента она указала на собственные законодательные инициативы. Достижения Ломоносова и Сумарокова на литературном поприще были выдвинуты в опровержение описания д’Отрошем русских как грубых, безнравственных и нецивилизованных. Ответ императрицы был предельно подробным, она не упустила ничего, в чем, с ее точки зрения, автор погрешил против истины. В 1780-х годах Екатерина поручила И. Болтину написать ответ-антидот на книгу Леклерка («Примечания на Историю древняя и нынешняя России г. Леклерка», 1788). Болтин критиковал Леклерка за допущенные фактические ошибки и за устаревший взгляд на допетровскую Россию.

Создание антидотов представляет собой скрытый и экстравербальный перевод. Представитель системы, выступавший в роли автора антидота, не имел текста-оригинала. Он или она переводил(а) свои взгляды, свое видение системы на другой язык и в таком виде предъявлял(а) их окружающему миру. Сам автор выступал(а) в роли посредника-переводчика между системой и своим ее видением, с одной стороны, и внешним миром, с другой.

3.3. ПЕРЕВОД РАДИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Итак, мы увидели, что перевод как пограничная подсистема помогает проникновению в систему новых элементов из окружающего мира и проекции сведений о себе в окружающий мир. Но этим взаимодействие системы с окружающим миром, в котором активное участие принимает перевод, не ограничивается. Перевод помогал России интегрироваться в начавшую складываться глобальную — в XVII–XVIII веках, правда, ограничивавшуюся лишь европейскими государствами — мегасистему, объединяющим фактором которой являлась функционально-системная структура.

Согласно Луману, функциональная структура социальных систем ведет к тому, что границы отдельных (под)систем перерастают государственные территориальные границы. Наука или экономика функционируют на сверхнациональном уровне. Границы функциональных (под)систем определяются исключительно типом их операционного поведения: наука функциони-

рует везде одинаково⁵⁶. В наше время, утверждает Луман, следует говорить не о «современных обществах», а об одном современном обществе, об одной «глобальной системе», структурно организованной по функционально-системному принципу, когда все социальные функции распределяются между соответствующими функциональными подсистемами, кроме, пожалуй, политической подсистемы, которая все еще сохраняет государственно-территориальные границы как границы своей функционально-операционной организации⁵⁷.

Зарождение глобальной системы Луман относит к средневековой Европе. Россия в полной мере интегрируется в эту систему к XVIII веку, когда бесповоротно вступает на путь модернизации-европеизации, а ее внутренняя функциональная структура в лумановском смысле осложняется. Мы пронаблюдали за этим процессом на примере социально-системной эмансипации перевода, его превращения в полноценную функциональную (под)систему. Перевод был нужен системе как структура, которая позволяла системе внутренне эволюционировать. Эволюция осуществлялась по европейскому образцу, то есть в направлении превращения общества, стратифицированного преимущественно по сословному признаку, в общество функциональных подсистем. Эти подсистемы, опять-таки с помощью перевода, структурировались по западноевропейскому образцу (конечно, не без вариаций). Наука начинала функционировать по образцу Западной Европы. Это, в свою очередь, делало научное общение внутри России частью общеевропейского научного общения; в терминах ТСС, российская наука вливалась в социально-функциональную подсистему науки Европы.

Рассмотрим подробнее, как перевод способствовал интеграции российской науки в общеевропейскую функциональную подсистему науки. Вряд ли требует объяснения, насколько ключевой была роль перевода в Санкт-Петербургской академии наук в начальный период ее существования, учитывая, что все ее члены были иностранцами. Ясное подтверждение насущной

56. Речь не идет об административной организации научных учреждений, степени свободы ученых от политических, экономических и юридических институтов. Под функционированием науки как социальной (под)системы понимается в данном случае исключительно ее внутренняя функционально-операционная организация, т. е. то, как наука отличает себя от других социальных (под)систем. Например, везде в современном обществе наука процессирует информацию согласно основополагающему бинарному коду «истинно/ложно» на основе логически выстраиваемых фальсифицируемых доказательств, в отличие, скажем, от юриспруденции, которая функционирует согласно принципу «законно/противозаконно».

57. Luhmann N. *Essays on Self-Reference*. NY: Columbia University Press, 1990. P. 178.

потребности в переводе при общении профессуры и студентов мы уже усматривали в том обстоятельстве, что при каждом академике состоял адъюнкт, выступавший в роли переводчика. Кроме того, академики рекомендовали некоторые западноевропейские публикации для перевода на русский язык⁵⁸. В этих случаях перевод скорее способствовал становлению науки внутри системы. Другое дело, когда работы академиков, иногда в обход русской аудитории, нацеливались на внешний по отношению к системе мир. В этом случае целевая аудитория явно находилась вне системы, а российская наука становилась частью общеевропейской. Приведем примеры.

Работы академиков переводились: «Академики сочинять должны в своей науке книги, которые бы в славу и пользу России могли на Российской язык переведены быть и напечатаны»⁵⁹. Печатались работы академиков в специальном периодическом издании, в котором проводилась четкая языковая политика: «Как все изобретения, так и журнал, и все, что в собрании Академиками отправляться имеет, должно писано быть на Латинском или Российском языке, а Французской и Немецкой никогда употреблен быть там не должен»⁶⁰. Это требование, впрочем, не выдерживается, и, например, «журнал», текст которого датирован 1778 годом, выходит с титульным листом по-латински, но с содержанием по-французски⁶¹. Ту же языковую комбинацию находим в собрании трудов академиков 1789 года издания⁶². В этих изданиях мы видим перевод между латинским и французским языками, что явно указывает на ориентацию издания на западноевропейскую ученую аудиторию. Перевод, таким образом, явно призван уведомить о достижениях российских академиков прежде всего ученых Западной Европы, то есть интегрировать российскую науку в общеевропейскую.

В рамках одной статьи невозможно охватить все сферы, в которых перевод вел себя так же, как в случае науки, поэтому ограничимся простым перечислением некоторых из этих областей, отсылая к примерам в специальной литературе.

Перевод способствует встраиванию российской экономической подсистемы в общеевропейскую. Заимствованный из Европы меркантилизм поставил российскую экономику на обще-

европейские рельсы⁶³. Приобщение российской подсистемы образования к общеевропейской в форме привнесения в Россию образовательной модели *humanitatis* уже упоминалось. Русские литература и искусство также постепенно входят в круг эстетической подсистемы Европы. В XVIII веке этот процесс только начинается, достигая своего расцвета к XIX веку, но с самого начала европейские образцы в литературе и других видах искусства становятся мерилем ценности произведений российских литераторов, художников, архитекторов, театральных артистов и т. п.⁶⁴ В свою очередь западноевропейская часть подсистемы искусства стала проявлять встречный интерес к России. Уже упоминавшийся Леклерк сравнивал Сумарокова с Расином⁶⁵. Немецкий *Journal von Russland* освещал немецкого читателя о репертуаре русских театров и кратко описывал наиболее важные театральные пьесы и оперы, ставившиеся в Санкт-Петербурге⁶⁶. Можно привести множество других примеров взаимопроникновения эстетических подсистем России и Западной Европы, но и приведенных достаточно, чтобы проиллюстрировать процесс складывания общеевропейской единой подсистемы искусства. Перевод играл в этом процессе важнейшую роль. При этом зачастую переводить целые тексты было необязательно — иногда перевод был адаптирующим оригинал к другому виду словесности (как в вышеприведенном случае с театральными постановками). Перевод также отнюдь не ограничивался вербальным переносом (ср. перевод архитектурных образцов или образцов в музыке и живописи). Заимствование жанров в литературе также относится к невербальным видам переноса, который может быть отнесен к переводу в широком смысле этого слова.

В XVIII веке Россия входит в европейскую политическую пентархию, или в пятерку наиболее влиятельных держав европейской политической сцены того времени. Пентархия сложилась благодаря трем факторам: (1) появлению концепции «великих держав», отражавшей складывающееся неравенство в распре-

58. *Novi Commentarii Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae...* P. 23.

59. *Ibidem*.

60. *Ibid.* P. 21–22.

61. *Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. Pro Anno MDCCLXXVIII. Pars Prior. Petropoli: Typis Academiae Scientiarum, MDCCLXXX.*

62. *Nova Acta Academiae Scientiarum Imperialis Petropolitanae. T. V. Praeedit Historia eiusdem Academiae ad annum MDCCLXXXVII. Petropoli: Typis Academiae Scientiarum, MDCCLXXXIX.*

63. *A History of Russian Economic Thought: Ninth through Eighteenth Centuries/Letiche J. (Ed.). Berkeley; LA: University of California Press, 1964. P. 285, 290, 395, 421–427; Бобылев В. Внешняя политика России эпохи Петра I. М.: Изд-во УДН, 1990. С. 16–18.*

64. Ср.: *Карамзин Н. Сочинения: В 2 т. Л.: Художественная литература, 1984. Т. 2. С. 105, 110, 111; Лотман Ю. Беседы о русской культуре: быт и традиции русского дворянства XVIII–начала XIX века. СПб.: Искусство-СПб, 1994.*

65. *Кросс Э. Г. Английские отзывы об А. П. Сумарокове// XVIII век. Выпуск 19. СПб.: Наука, 1995. С. 66.*

66. *Хексельшнайдер Э. О первом немецком переводе «Недоросля» Фонвизина// XVIII век. Выпуск 4. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. С. 334.*

делении ролей на политической арене Европы и мира в целом; (2) развитию сети дипломатических учреждений; (3) росту влияния великих держав на судьбы мира⁶⁷. Образование пентархии имело положительные следствия для международных отношений, так как обеспечивало гарантию относительного мира и стабильности, что особенно проявилось в XIX веке. Эта система начала складываться уже в XVI веке с возвышением Испании и в следующем, XVII веке, с усилением Франции Бурбонов; в XVIII веке к ним присоединились Британия, Пруссия и Россия⁶⁸. Россия вошла в пентархию в 1760–1780-х годах, став доминирующей политической силой в северной и восточной частях Европы к 40-м годам XVIII века. Последовавший за победой Петра над Швецией подъем России и дальнейшие территориальные завоевания в Османской империи и Польше утвердили ее как великую державу. Но все же говорить об окончательном признании России как великой державы на европейской политической арене можно лишь применительно к екатерининской эпохе⁶⁹.

Какой же была роль перевода в процессе вхождения России в пентархию — наиболее активную часть политической функциональной (под)системы общеевропейской системы? Конечно же, никакие дипломатические сношения были бы просто невозможны без перевода. Но вербальное посредничество между российскими императорами и дипломатами с иностранными монархами и дипломатами — это очевидная и вряд ли требующая дополнительных пояснений область перевода. Колоссальным было также влияние невербального переноса, принятие Россией за образец политических структур и принципов работы институтов и государственно-административной машины европейских стран. Пожалуй, самый яркий и хорошо известный пример — это Российский Сенат, в 1711 году сменивший Боярскую думу и во многом организованный по шведскому образцу. Другой пример. «Акт поднесения государю царю Петру I титула императора Всероссийского и наименования: Великого и Отца Отечества» от 22 октября 1721 года отсылает к существовавшим европейским образцам империй с императорами во главе: «Вашего Царского Величества славныя и мужественныя воинския и политическия дела, чрез которыя токмо единыя Вашими неусыпными трудами руководством мы, Ваши верные поданные, из тьмы неведения на феатр славы всего света, и тако рещи, из небытия в бытие произведены, и во общество политических народов присовокуплены, яко то не токмо нам, но и все-

му свету известно: и того ради как мы возможем, по слабости своей, довольно благодарных слов избобрести за то и за настоящее исходатайствование толь славнаго и полезнаго Государству Вашему с короною Свейскою вечнаго мира, яко плода трудов рук Ваших, по достоинству возблагодарити. <...> Во знак малого нашего признания толиких отеческих нам и всему нашему отечеству показанных благодеяний, титул Отца Отечества, Петра Великого, Императора Всероссийского принять. Из которых, титул Императорский Вашего Величества, достохвальным Антецессорам от славнейшаго Императора Римскаго Максимилиана, от неколиких сот лет уже приложен, и ныне от многих Потентатов дается. <...> Имя же Отца Отечества мы, хотя и недостойны такого Великого Отца, но по милости Божией нам дарованного, дерзаем Вам приложить по прикладу древних Греческих и Римских Сигклитов, которые своим, славными делами и милостию прославившимся, Монархам, оное прилагали»⁷⁰. Здесь мы видим четкую ориентацию политической терминологии на европейские «приклады». Обратим внимание, что выбор этот не случаен: Россия присовокупилась «во общество политических народов» Европы. (Нетривиальность этой ориентации становится яснее, если вспомнить совершенно иную ориентацию, на восточно-азиатские образцы, в именовании древнерусских князей каганами, как в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона: «Похвала кагану нашему Влодимеру».)

Итак, перевод западноевропейских образцов в политической и других функциональных (под)системах, а именно: в искусстве, образовании, экономике и науке, сделали социально-функциональное устройство России «совместимым» с социально-функциональной организацией Западной Европы своего времени. Перевод был ключевым условием интеграции России в целом и каждой из ее к тому времени сложившихся функциональных (под)систем в общеевропейскую функциональную глобальную систему. Благодаря переводу, ценность которого так прозорливо оценил Петр, интеграция стала возможной уже на раннем этапе того, что мы наблюдаем как общемировую глобализацию сегодня. Россия стала одним из первых последователей пионеров модернизации. Именно за счет перевода, оказавшись очень способным учеником, страна стала одной из самых влиятельных — великих — держав Европы и всего мира.

Учитывая все вышесказанное, попробуем ответить на вынесенный в заглавие перефразированный гамлетовский вопрос: что перевод системе и что система переводу? Складывающаяся-

67. Scott H. The Birth of a Great Power System: 1740–1815. Harlow: Pearson, 2006. P. 2.

68. Ibid. P. 362.

69. Ibid. P. 24–28, 147–148, 365.

70. Законодательные акты Петра I. С. 167–168.

ся функциональная система, как мы увидели на примере России, способствовала эмансипации перевода как функциональной подсистемы в ряду «равно неравных» подсистем политики, юриспруденции, науки, образования, религии, искусства и т. д. В свою очередь, перевод, функция которого — обеспечение межсистемной коммуникации, помог системе эволюционировать в том направлении, в котором ее ориентировала политическая подсистема, в направлении модернизации-европеизации, а также помог системе, лишь немного по времени уступив пионерам модернизации, присоединиться к ним, а в их лице — к нарождающейся глобальной функциональной системе современного и нам мира.

В заключение хотелось бы сказать следующее. Лумановская теория социальных систем помогает нам увидеть взаимоотношение системы и окружающего ее мира, а также ее подсистем и подсистем новой глобальной системы современного мира как бы с высоты птичьего полета. Хотя славистам и историкам России, безусловно, хорошо знакомо большинство из приведенных в настоящей статье примеров, оценка такого мощного средства европеизации страны, как перевод, его генезис в качестве самостоятельной социальной структуры (функциональной (под)системы), а также направления, или оси, и общая картина его функционирования ускользали от взгляда специалистов, озабоченных исключительно сбором фактов. Нежелание/неумение отступить на шаг и оценить складывающуюся из конкретных фактов общую картину, что позволяет сделать нам теория социальных систем, принципиально настроенная на синтез, ведет к подмене историзма археологизмом: факты накапливаются, а их синтез отодвигается до какой-то плюс бесконечности и для грядущих поколений исследователей, когда все факты предположительно будут собраны. Думается, молодое поколение славистов и историков окажется способным хотя бы начать преодолевать инерцию научного истеблишмента и видеть лес за деревьями. Надеемся, что предложенный взгляд вдохновит молодых исследователей на поиск новых путей и научных парадигм, которые смогут собрать воедино накопленный предшествующими поколениями богатейший фактический материал.

К истории теории перевода в Советском Союзе

ПРОБЛЕМА РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

АНДРЕЙ АЗОВ

ВВЕДЕНИЕ: ОБЩИЕ ОРИЕНТИРЫ



ПЕРЕВОД существует на границе двух языков, двух культур, двух литературных традиций, двух поэтик. Поэтому в рассуждениях о переводе так часто говорится о выборе между двумя возможностями: ориентацией либо на оригинал, с его языком, его культурой, его стилистическими особенностями, либо на читателя, с его языком, его культурой и его вкусом. Широко известны слова Гёте, сказанные в речи памяти Виланда (1813 год):

Существует два принципа перевода: один из них требует переселения иностранного автора к нам, — так, чтобы мы могли увидеть в нем соотечественника, другой, напротив, предъявляет нам требование, чтобы мы отправились к этому чужеземцу и применились к его условиям жизни, складу его языка, его особенностям¹.

Об этом же, и почти теми же словами, писал Фридрих Шлейермахер в 1813 году свое знаменитое:

Переводчик либо оставляет в покое писателя и заставляет читателя двигаться к нему навстречу, либо оставляет в покое читателя, и тогда идти навстречу приходится писателю. Оба пути совершенно различны, следовать можно только одним из них, всячески избегая их смешения, в противном случае результат

1. Цит. по: Федоров А. В. Основы общей теории перевода: лингвистический очерк. Изд. 3-е. М.: Высшая школа, 1968. С. 46.

может оказаться плачевным: писатель и читатель могут вообще не встретиться².

Об этом же — уже значительно позже, в 1990-е годы, — писал американский теоретик перевода Лоренс Венути, называя тот перевод, при котором «писатель идет навстречу читателю», *осваивающим*, или *одомашнивающим*, а тот, при котором «читатель идет навстречу писателю», — *очуждающим*³.

Помимо магического числа *два* (два языка, две культуры, два принципа перевода и так далее), в рассуждениях о методах перевода также часто фигурирует магическое число *три*: рассматривается три метода перевода, два из которых объявляются переводческими крайностями, а третий — золотой серединой между ними. Едва ли не первым такой взгляд на методы перевода предложил Джон Драйден в своем предисловии к переводам поэзии Овидия (1680 год):

Все переводы, по моему разумению, можно свести к следующим трем наименованиям.

Первый — это *метафраза*, или перевод автора слово в слово и строка в строку из одного языка в другой; таковым или близким к таковому способом Бен Джонсон перевел «Поэтическое искусство» Горация. Второй путь — это *парафраза*⁴, или перевод широкий, когда переводчик ни на минуту не теряет автора из виду, но следует не столько за его словами, сколько за смыслом, который позволительно усиливать, но отнюдь не изменять. Таков перевод четвертой песни «Энеиды» Вергилия мистером Уоллером. Третий путь — это *подражание*, когда переводчик (если к тому времени он не потерял еще этого имени) берет на себя свободу не только отступать от слов и смысла подлинника, но и вовсе отказываться от них, когда считает это уместным, и заимствует из подлинника лишь некоторые общие намеки, отклоняясь от него насколько ему заблагорассудится. Таким способом мистер Каули перевел на английский две оды Пиндара и одну Горация.

Из этих трех методов сам Драйден выбирает второй, считая, что хорошо переводить (поэзию) первым методом практиче-

2. Шлейермахер Ф. О разных методах перевода. Лекция, прочитанная 24 июня 1813 года // Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2000. № 2. С. 132–133.
3. Venuti L. The Translator's Invisibility. A History of Translation. London; NY: Routledge, 1995. P. 20. Вероятно, некоторым читателям будут привычнее другие названия этих венутиевых терминов, приближенные к их английскому звучанию: *доместикация* и *форенизация*.
4. Слова *метафраза* и *парафраза*, как пишет Г. Кружков, Драйден заимствовал из рассуждений Квинтилиана о переводе (Кружков Г. М. Хроники вавилонского разделения // Иностранная литература. 2007. № 11. С. 246).

ски невозможно, а третий метод — это уже не вполне перевод. Наш современник, наверное, узнает в метафразе Драйдена дословный перевод, а в подражании — вольный перевод, нередко пренебрежительно именуемые соответственно буквализмом и отсебятиной.

Очевидно, что магическое число *три* легко преобразуется в другое магическое число — *один*, а именно, постулируется, что есть лишь *один* правильный метод перевода (который обычно находится между двумя крайностями), а остальные методы — неверны, недопустимы, вредны. Представление о единственном правильном методе получает особенно широкое распространение тогда, когда в обществе безраздельно господствует одна эстетическая система, что и происходило в Советском Союзе в тот период, который я собираюсь рассмотреть: в 1930–1950-е годы. Эстетическая система эта называлась социалистическим реализмом, и, поскольку она претендовала на то, чтобы охватить все искусства — а также все ведающие этими искусствами науки, — была сделана попытка приспособить теорию перевода к этой системе. Это одна тема, которая будет занимать меня в данной статье.

Другая тема возвращает нас к числу *два*. В 1971 году, выступая наперекор преобладающему мнению о единственном верном методе перевода, М. Л. Гаспаров в статье «Брюсов и буквализм» сказал, что метод художественного перевода меняется со временем, колеблясь между ориентацией на автора и ориентацией на широкого читателя, между языком оригинала и языком перевода, между точностью и удобопонятностью, между «буквалистичностью» и «вольностью»⁵. Этот вывод Гаспаров сделал, анализируя историю перевода в России, и, несмотря на последовавшую критику⁶, своей точки зрения не поменял, а, напротив, распространил ее на всю историю перевода:

Перевод всегда существует на грани двух поэтик. Он — равнодействующая двух сил: художественного языка подлинника и родного художественного языка. Грубее говоря, это всегда насилие или языка подлинника над родным, или родного языка над подлинником. В первом случае это перевод для писателей; цель его прежде всего обогатить родной язык поэтическими приемами чужого. Во втором случае это перевод для начинающих читателей. Цель его — пересказать им содержание тех книг,

5. Гаспаров М. Л. Брюсов и буквализм. (По неизданным материалам к переводу «Энеиды») // Мастерство перевода. Сб. 8. М.: Советский писатель, 1971. С. 108.
6. См., напр.: Коптилов В. В. И вширь, и вглубь... // Мастерство перевода. Сб. 9. М.: Советский писатель, 1973. С. 257–261.

которые они не могут прочесть в подлиннике. В истории культуры эти два типа перевода чередуются⁷.

Временем очередной смены переводческого метода в России стала граница между двадцатыми годами XX века, на которых еще лежал глубокий отпечаток Серебряного века, и тридцатыми годами⁸ — временем масштабных культурных перемен⁹. Возникает вопрос: что происходило с переводчиками, которые не смогли или не захотели изменить свой творческий метод и остались верны программе предыдущей эпохи? Это вторая тема для обсуждения.

ТЕОРИЯ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА

ПРЕДПОСЫЛКИ

Сквозь многочисленные выступления советских переводчиков с трибуны и в печати, начиная с 1920-х годов, рефреном проходит жалоба на отсутствие стройной теории перевода, причем такой теории, которая носила бы рекомендательный, нормативный характер и пользуясь которой можно было бы учить начи-

7. Гаспаров М. Л. О книге С. В. Шервинского // Трагедии в переводе С. В. Шервинского. Томск: Водолей, 2000. С. 4.

8. М. Л. Гаспаров — в надлежаще комплиментарном по отношению к переводу советской эпохи стиле — описывает эту перемену так: «Модернизм начала XX века... вернулся к программе точного перевода, буквалистского перевода; Брюсов пошел в этом направлении дальше всех, но общие его предпосылки — не обеднять подлинник применительно к привычкам читателя, а обогащать привычки читателя применительно к подлиннику — разделяли все переводчики, вскормленные этой эпохой, от Балмонта до Лозинского. Наконец, советское время — это реакция на буквализм модернистов, смягчение крайностей, программа ясности, легкости, верности традиционным ценностям русской словесной культуры; если нужно назвать типичное имя, то это будет имя Маршака — переводчика сонетов Шекспира» (Гаспаров М. Л. Брюсов и буквализм. С. 109).

9. М. М. Голубков, опираясь на концепцию В. З. Паперного, автора «Культуры Два», дает наглядную схему происходивших тогда изменений в литературе: «...Литературно-критический процесс 1920-х годов может быть означен как полифонический. Литература как саморазвивающаяся система представляла собой целый комплекс течений, направлений, идейно-стилевых тенденций, находящихся в постоянном взаимодействии. Это взаимодействие проявлялось в самых разных формах литературной жизни... Последующий этап (1930–1950-е годы) будет характеризоваться как монистический: на поверхности литературной жизни восторжествует единственная эстетическая система, получившая название социалистического реализма... Различие между этими двумя этапами затрагивает не только литературу, но и все сферы культурной жизни: музыку,

нающих переводчиков, а также оценивать существующие переводы. Статья Сталина «Марксизм и вопросы языкознания», появившаяся в «Правде» в 1950 году, в очередной раз подхлестнула разработку теоретических проблем, которые должны были согласовываться с выступлением вождя. В конце ноября 1951 года, в рамках подготовки к предстоящему Всесоюзному совещанию переводчиков, состоялось заседание московской секции переводчиков Союза советских писателей, посвященное «работам товарища Сталина по вопросам языкознания и задачам художественного перевода»¹⁰, а в начале декабря 1951 года прошло само Всесоюзное совещание переводчиков, среди итогов которого было сказано следующее: «Разработка принципов и основ художественного перевода у нас отстает. Теория перевода не разработана. Обобщение тридцатичетырехлетнего опыта советских переводчиков ведется кустарными методами. Такие ра-

изобразительное искусство, кино, архитектуру» (Голубков М. М. История русской литературной критики XX века (1920–1990-е годы). М.: Академия, 2008. С. 164–165).

10. На этом заседании, в частности, было определено то место из статьи Сталина, которое применимо к проблемам перевода. Это следующий отрывок из статьи «К некоторым вопросам языкознания (Ответ товарищу Б. Крашенинниковой)»:

Говорят, что мысли возникают в голове человека до того, как они будут высказаны в речи, возникают без языкового материала, без языковой оболочки, так сказать, в оголенном виде. Но это совершенно неверно. Какие бы мысли ни возникли в голове человека и когда бы они ни возникли, они могут возникнуть и существовать лишь на базе языкового материала, на базе языковых терминов и фраз. Оголенных мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой «природной материи» — не существует. «Язык есть непосредственная действительность мысли» (Маркс). Реальность мысли проявляется в языке. Только идеалисты могут говорить о мышлении, не связанном с «природной материей» языка, о мышлении без языка.

Из этого сталинского утверждения докладчик И. С. Брагинский выводил важный для советской теории тезис о принципиальной переводимости любого художественного произведения. Поскольку язык национален, а мышление общечеловечно, — рассуждал он, — значит, все мы разделяем одно и то же мышление и, следовательно, особенности одного языка вполне можно передать особенностями другого языка, поскольку оба языка относятся к единому мышлению (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 34. Д. 583. Л. 24). Ирония ситуации состоит в том, что сталинское утверждение скорее подкрепляет противоположный тезис — о принципиальной неперево-димости художественных произведений, поскольку при переводе с одного языка на другой приходится отрывать «мысль» от того языка, на котором она была высказана, а это, по утверждению Сталина, невозможно, ведь «оголенных мыслей, свободных от языкового материала... не существует». На этот вывод обратил внимание на том же заседании Б. А. Турганов (РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 34. Д. 584. Л. 34–35), но из-за нежелательных последствий такого вывода далее он не развивался.

боты по теории перевода, вышедшие много лет назад, как книги К. Чуковского¹¹ или А. Федорова¹², сейчас безнадежно устарели и по материалу, и по многим концепциям, положенным в основу этих книг. Они не охватывают того большого круга проблем, который поставлен самой жизнью перед нашей литературой»¹³. Иван Александрович Кашкин — главный герой нашего дальнейшего повествования, — писал по поводу этого совещания: «Одним из результатов Всесоюзного совещания переводчиков 1951 года было признание необходимости разработать единую советскую теорию перевода, тесно связанную с методом социалистического реализма. Такая теория даст надежный критерий оценок и для переводчика, и для критика, и для редактора. Она еще повысит уровень культуры перевода и уровень переводческого мастерства»¹⁴.

Другим событием, несомненно способствовавшим разработке теории реалистического перевода, стал выход книги Андрея Венедиктовича Федорова «Введение в теорию перевода» в 1953 году. В этой книге (в полном, впрочем, соответствии со сталинской статьёй) теория перевода, в том числе перевода художественного, рассматривалась под новым углом: с точки зрения лингвистики. Более того, сама теория перевода объявлялась «дисциплиной лингвистической прежде всего». У переводчиков художественной литературы, привыкших считать художественный перевод искусством, переводное произведение — предметом искусства, а науку о переводе — отчасти литературоведением, а отчасти литературной критикой, — такая позиция вызвала раздражение, и порой весьма сильное. В противовес книге Федорова и нарождающейся лингвистической теории перевода сторонники литературоведческого подхода выпустили сборник «Вопросы художественного перевода» (1955 год), куда вошла статья И. А. Кашкина «В борьбе за реалистический перевод», наиболее подробно излагающая его взгляд на эту проблему.

СОДЕРЖАНИЕ

Отзываясь об одной работе Корнея Чуковского о художественном переводе, Теодор Левит говорил, что центральная ее мысль «нигде конкретно не высказана, по обычной манере Чуков-

11. Имеется в виду книга К. И. Чуковского «Высокое искусство» 1941 года издания.
12. Имеется в виду книга А. В. Федорова «О художественном переводе» 1941 года издания.
13. Сурков А. А. К итогам Всесоюзного совещания переводчиков // Литературная газета. 8 декабря 1951. № 145. С. 1.
14. Кашкин И. А. О реализме в советском художественном переводе // Дружба народов. 1954. № 4. С. 199.

ского не формулировать»¹⁵. Тот же самый упрек Левита можно было бы адресовать И. А. Кашкину: будучи автором термина «реалистический перевод» (по крайней мере, первым употребив его в печати), он не дал четкого определения этого понятия, и наполнять его конкретным содержанием приходится с помощью анализа всех статей Кашкина о переводе.

Художественный перевод для Кашкина — это литературное творчество. Труд переводчика сродни труду писателя. Следовательно, и заниматься построением теории художественного перевода должна та же наука, которая разрабатывает теорию литературы, то есть литературоведение¹⁶. Современное же Кашкину литературоведение утверждало, что эволюция литературных направлений, или, иначе говоря, эволюция писательского метода, оканчивается реализмом и венчается социалистическим реализмом. Следовательно, раз это справедливо для оригинальной литературы, то должно быть справедливо и для художественного перевода — ведь это тоже литературное творчество¹⁷. Таким обра-

15. Левит Т. М. О переводе // Вестник иностранной литературы. 1930. № 1. С. 122.

16. Согласно утверждениям некоторых историков перевода, Кашкин строил не литературоведческую, а общелингвистическую теорию перевода, которая бы учитывала рассмотрение языковых и литературных вопросов. Действительно, основания для такого утверждения можно найти в его словах:

«...самая постановка вопроса о реалистическом методе перевода способствовала бы построению теории художественного перевода как дисциплины в широком смысле *филологической*, какой она и должна быть; конечно, с учетом лингвистического изучения переводимого текста, но с особым вниманием к литературной специфике и без слепого подчинения литературного перевода только языковым закономерностям, которые применимы к художественному переводу настолько же, насколько и ко всякому литературному произведению» (Кашкин И. А. О методе и школе советского художественного перевода // Знамя. 1954. № 10. С. 152).

Однако в другой редакции этого текста читаем уже (курсив мой. — А. А.): «...самая постановка вопроса о реалистическом методе перевода способствовала бы построению теории художественного перевода как дисциплины *литературоведческой*, какой она и может, и должна быть, без слепого подчинения литературного перевода только языковым закономерностям» (Он же. Вопросы перевода // В братском единстве. М.: Советский писатель, 1954. С. 493).

и там же:

«Художественный перевод подчинен не столько языковым, сколько литературным закономерностям. Значит, строить теорию или поэтику художественного перевода надо на основе и в терминах литературной науки».

Насколько можно судить по всей совокупности работ Кашкина о переводе, языкознание всегда оставалось для него лишь вспомогательной дисциплиной, а все теоретические построения строились на основе литературоведения.

17. «У советских переводчиков как у отряда советской литературы те же цели, задачи и творческий метод, что и у всех советских литераторов. Это метод

зом, наилучший метод художественного перевода — это перевод реалистический. Но что это значит и какие еще бывают методы?

Начнем со второго. Помимо реалистического перевода, Кашкин регулярно выделяет перевод натуралистический, формалистический и импрессионистический. Три слова. Все три намекают на что-то давно отжившее: натурализм, импрессионизм, формализм. Все три изрядно скомпрометированы критикой 1930–1950-х годов, причем настолько, что формализм и натурализм превращаются уже в ругательства. По Кашкину, натуралистический перевод — это перевод, стремящийся сохранить все смысловые нюансы оригинала, формалистический перевод — это перевод, стремящийся как можно тщательнее сохранить формальные и стилиевые особенности оригинала, а импрессионистический перевод — это перевод, слишком отдаляющийся от оригинала по прихоти переводчика. Над этими тремя методами возвышается реалистический перевод.

Принцип реалистического перевода, по Кашкину, состоит в следующем: писатель, создавая художественное произведение, отразил и запечатлел в нем действительность. Задача переводчика — разглядеть ту действительность, которую видел (или воображал) писатель, и выразить ее на своем языке. Говоря словами Кашкина:

Переводчику, который в подлиннике сразу же наталкивается на чужой грамматический строй, особенно важно прорваться сквозь этот заслон к первоначальной свежести непосредственного авторского восприятия действительности. Только тогда он сможет найти настолько же сильное и свежее языковое перевыражение... Советский переводчик старается увидеть за словами подлинника явления, мысли, вещи, действия и состояния, пережить их и верно, целостно и конкретно воспроизвести эту реальность авторского видения¹⁸.

Итак, преодолевая непонятность чужого языка, переводчик должен разглядеть в тексте художественный образ (являющийся, как гласила теория литературы, отражением действительности) и воспроизвести его средствами своего родного языка. Здесь теория реалистического перевода напоминает разновидность теории вольного перевода¹⁹.

социалистического реализма» (Он же. О методе и школе советского художественного перевода. С. 152).

18. Он же. В борьбе за реалистический перевод // Вопросы художественного перевода. М.: Советский писатель, 1955. С. 126.

19. Ср. с Цицероном: «...я перевел самые знаменитые и притом произнесенные с двух противоположных точек зрения речи — речи обоих вождей атти-

Однако Кашкин идет дальше:

Реалистический перевод правдиво передает содержание, но так же правдиво он должен передать и форму подлинника, в которой в частности находит свое отражение национальное своеобразие подлинника и отпечаток эпохи²⁰.

Что значит «правдиво передать форму подлинника»? Этот вопрос даже сложнее, чем вопрос о том, что значит правдиво передать содержание: ведь стоит только начать слишком усердно передавать форму оригинала, как вас, не ровен час, запишут в формалисты:

...в переводе формализм — это бессодержательная игра в форму, часто осложненная всяческим стилизаторством и особенно намеренным бездушным копированием подлинника, порождающим много излишних мелочей и много важных упущений. Цепляясь за национально-ограниченные языковые особенности грамматического строя, преувеличивая значение внутренней формы слова, без нужды оживляя давно умершие идиомы, формалисты в то же время упускают главное — передачу идейной сути и живых человеческих образов²¹.

Однако как же быть? А вот как: форма разделяется на, так сказать, полезную, осмысленную, связанную с содержанием (и подлежащую передаче), и бесполезную, не связанную с содержанием (а потому передаче не подлежащую):

В переводе надо добиваться передачи той формы, которая служит выявлению содержания подлинника, неотделима от него и является одним из средств выражения стиля. Одинаково вредно как пренебрегать формой, так и отрывать форму от содержания, придавая ей чрезмерную роль без учета содержания или даже в ущерб содержанию²².

На помощь даже приходит идея, заимствованная, по всей видимости, из известного определения социалистического реализма

ческого красноречия, Демосфена и Эсхина. Перевел я их, однако, не как толмач, а как оратор: я сохранил и мысли, и их построение — их физиономию, так сказать — но в подборе слов руководился условиями нашего языка. При таком отношении к делу я не имел надобности переводить слово в слово, а только воспроизводил в общей совокупности смысл и силу отдельных слов; я полагал, что читатель будет требовать от меня точности не по счету, а — если можно так выразиться — по весу» («О наилучшем роде ораторов»).

20. Кашкин И. А. О реализме в советском художественном переводе. С. 193.

21. Там же.

22. Там же.

(«социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы и литературной критики, требует от художника правдивого, исторически-конкретного изображения действительности в ее революционном развитии»²³):

...обязательно ли полностью сохранять в переводе, а тем более подчеркивать и смаковать *каждую* черточку грубости, или слезливости, или ходульности, — эту дань веку, эту опадающую со временем шелуху, — некоторых и, конечно, не этим великих произведений прошлого?²⁴

или

При переводе перегруженной всяческим реквизитом «Шагреновой кожи» нельзя забывать, что и здесь Бальзак, по словам Маркса, остается «доктором социальных наук», и поэтому не следует фиксировать внимание читателя преимущественно на внешних деталях, как это было сделано в первом советском собрании сочинений Бальзака.

При переводе байроновского «Дон Жуана» надо помнить, что в этой вещи Байрон не только классик романтизма, но и романтик на пути к реализму. Поэтому ошибочно было бы тянуть Байрона назад к «Корсару» и обряжать в те романтические обноски, которые к тому времени уже сбрасывал с себя сам автор.

При переводе Диккенса нельзя считать его просто мастером гротеска, так как он глубоко реалистический писатель, великий гуманист, автор книг, полных сердечного юмора. Поэтому ошибочно было бы уделять основное внимание в переводе гротескным образам (как бы эффектны и выигрышны они сами по себе ни были для перевода) в ущерб реалистическим образам (как бы ни трудно было иной раз переводчику уловить и передать их осознательно)²⁵.

То есть переводчику предлагается наметить у автора наиболее прогрессивные (так сказать, «в революционном развитии») особенности содержания и стиля и заострять их, а черты устаревшие («эту опадающую со временем шелуху») — выбрасывать или сглаживать. Очевидно, что выделить как те, так и другие черты можно лишь при литературоведческом подходе к тексту.

23. О том, что Кашкин, безусловно, учитывал эту классическую формулу в своих теоретических построениях и старался ей соответствовать, говорят следующие его слова: «Прежде всего важно осмысление и верное истолкование подлинника на основе понимания связи искусства и жизни, а в числе главных критериев такого понимания нужно считать *идейно-смысловую правду и историческую конкретность, взятые в их революционном развитии*» (Он же. В борьбе за реалистический перевод. С. 127. Курсив мой. — А. А.).

24. Он же. О реализме в советском художественном переводе. С. 193.

25. Там же. С. 192–193.

Наконец, есть третья составляющая теории реалистического перевода, также вытекающая из теории социалистического реализма — это установка на простоту и понятность языка:

К переводу применимы и некоторые другие общие признаки реалистических произведений, как, например, сила и богатство изобразительных средств и вместе с тем простота²⁶.

Простота в применении к переводу — это, главным образом, не навязчивая, не заслоняющая подлинник прозрачность и отчетливость передачи. Это значит переводить так просто, чтобы перевод дошел до читателя, был понят — иначе зачем же переводить?²⁷

Легкость и доступность, за которой *чувствуется* глубина подлинника, — это великое достоинство перевода²⁸. Если вспомнить деление Венути, то реалистический перевод — это, безусловно, перевод *осваивающий*, перевод, предназначенный специально для современного советского читателя и приближающий к нему писателя; перевод, не смущающий читателя ни сложным языком, ни непривычным стилем, ни идеологически чуждыми фразами. Это перевод для широкого читателя (в отличие от перевода орудующего, более «элитарного», предназначенного для избранных:

Переводы «эрудитов» [то есть переводчиков издательства «Academia»] в лучшем случае ставили своей целью продемонстрировать отдельные красоты и трудности подлинника и виртуозность техники перевода. В сущности, эти переводы были обращены не к широкому читателю, а к знатоку²⁹.

И может ли считаться реалистическим «перевод для переводчика», затрудняющий для широкого читателя восприятие переводимого автора?³⁰

поэтому это перевод простой и понятный:

Сильным и гибким русским языком они [советские переводчики] передают силу и гибкость языка подлинника. Они добиваются простоты, не затемняя и не усложняя любую стилистическую манеру подлинника. Они упорным трудом вырабатывают ту легкость, которая обеспечивает доступность, а самая доступность их переводов, — конечно, при наличии всех прочих отмеченных свойств — делает их работы достоянием нашей литературы и облегчает им путь к советскому читателю³¹.

26. Там же. С. 196.

27. Там же. С. 197.

28. Там же.

29. Там же. С. 188.

30. Там же. С. 197.

31. Кашкин И. А. О методе и школе советского художественного перевода. С. 149.

Это перевод идеологически выверенный, призванный резонировать с сознанием советского читателя:

Они [советские переводчики] стараются установить для себя то основное и главное, что делало писателя и его произведение значительным и актуальным для своего времени, и пытаются в первую очередь донести до нашего читателя все то прогрессивное, что живо и актуально в нем и для нашего времени³².

Поэтому закономерно, что от формулировки

...правдивость в применении к переводу — это, прежде всего, верность подлиннику, а через него и верность отраженной в нем действительности³³.

Кашкин переходит к формулировке:

Реалистический перевод предполагает тройкую, но единую по существу верность: верность подлиннику, верность действительности и верность читателю³⁴.

ПРЕДТЕЧИ

Стоит отметить, что в учении о реалистическом переводе очень мало оригинальности. Многие его элементы проговаривались еще в 1930-е годы. Выше мы видели, что реалистический перевод требует от переводчика проникновения к действительности, лежащей за словами (за «условными словесными знаками», как любил повторять Кашкин), — сходную мысль, с таким же подчеркиванием вторичности способа выражения по отношению к содержанию высказывал А. А. Смирнов в статье «Перевод» в «Литературной энциклопедии». «Если, — писал он, — считать сущностью произведения его общее идейно-эмоциональное эстетическое воздействие, по отношению к <оно>рому различные словесные средства играют лишь служебную роль, то проблема точного в смысле адекватности перевода оказывается разрешимой»³⁵.

Еще интереснее статья литературного критика И. Л. Альтмана «О художественном переводе», которая представляет собой его несколько переработанное выступление на Первом Все-

союзном совещании переводчиков в январе 1936 года³⁶. Выше я говорил, что Кашкин разделял методы перевода по историко-литературному (а лучше даже сказать — по литературно-критическому) принципу, различая реалистический перевод и противостоящие ему натуралистический, формалистический и импрессионистический переводы. Ровно такой же классификационный принцип использует и Альтман, требуя применять к художественному переводу принцип социалистического реализма и противопоставляя правильному методу перевода (его Альтман называет «творческим переводом») всё тот же натуралистический (то есть излишне дословный), формалистический (то есть с повышенным вниманием к формальным особенностям подлинника) и импрессионистический (то есть чрезмерно свободный) переводы. Примечательно, что статья Альтмана была напечатана в том же номере «Литературного критика», что и первая критическая статья Кашкина о переводе, так что вряд ли можно сомневаться в том, что Кашкин был с ней знаком.

Теперь что касается самого термина «реалистический перевод». В ноябре 1951 года, во время совещания секции переводчиков «Работы товарища Сталина по вопросам языкознания и задачи художественного перевода» (на котором присутствовал и И. А. Кашкин), А. М. Лейтес заявил:

...вопрос об идейности советского переводчика имеет прямое отношение к технологии его работы, от уровня его мировоззрения целиком и полностью зависит качество его переводов.

Чем выше идейные и эстетические позиции писателя-переводчика, тем больше возможностей у него создать перевод точный и в то же время реалистический, т. е. лишенный каких бы то ни было черт догматизма, формализма, упрощенчества и фальсификации³⁷.

Итак, фраза «реалистический перевод» была произнесена³⁸. Причем произнесена не случайно: несколькими минутами позже Лейтес повторил:

И чем выше идейно-эстетические позиции художника-переводчика, тем более возможностей у него создать перевод точ-

32. Там же. С. 151.

33. *Он же*. О реализме в советском художественном переводе. С. 190.

34. *Он же*. В борьбе за реалистический перевод. С. 140.

35. Смирнов А. А., Алексеев М. П. Перевод // Литературная энциклопедия: В 11 т. М.: «Советская энциклопедия», 1934. Т. 8. С. 527.

36. Альтман И. Л. О художественном переводе // Литературный критик. 1936. № 5. С. 148–169.

37. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 34. Д. 583. Л. 76.

38. Произнес ли Лейтес ее раньше Кашкина? Неизвестно. В архиве Кашкина есть рукопись «На подступах к реалистическому переводу», датированная июлем 1951 года. Заимствовал ли один из них это словосочетание у другого, или оно в то время было расхожей фразой, сказать затруднительно.

ный и в то же время реалистический, т. е. лишенный какого бы то ни было догматизма, формализма, упрощенчества...³⁹

Другой примечательный случай, касающийся принципиального содержания понятия «реалистический перевод», произошел на второй день того же заседания. Слово взял Б. А. Турганов и произнес следующее (выделение мое):

...хочется по-товарищески коснуться одного недавнего выступления тов. Н. К. Чуковского. При обсуждении тезисов тов. Лейтеса на бюро нашей Секции, 19 ноября, тов. Чуковский высказал гипотезу о принципиально полной переводимости любого художественного произведения. Эту любопытную мысль тов. Чуковский аргументировал утверждением, что *нужно переводить не с языка на язык, а переводить то реальное содержание, те мысли и чувства, какие выражены в данном произведении*⁴⁰.

То есть к началу 1950-х годов теория реалистического перевода витала в воздухе. Оставалось лишь собрать различные ее элементы воедино, что и сделал И. А. Кашкин.

КРИТИКА

Очевидная уязвимость теории Кашкина состояла в попытке использовать термины, понятия и теоретические положения, относящиеся к оригинальной литературе, то есть к созданию самостоятельного художественного произведения, применительно к переводной литературе, то есть к произведениям принципиально вторичным, опирающимся на другие произведения. Это рождало путаницу и недоуменные вопросы: значит ли понятие «реалистический перевод», что в результате его должно получиться реалистическое произведение? Как тогда быть с произведениями других литературных направлений — можно ли «реалистически» переводить, например, романтические произведения?⁴¹ Может ли писатель-реалист быть натуралистом в переводе — и т. д.

Впрочем, всё это были проблемы поверхностные: от них легко было отмахнуться, объяснив, что реализм в реалистическом пе-

39. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 34. Д. 583. Л. 77.

40. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 34. Д. 584. Л. 33.

41. В ранних рассуждениях Кашкина о реалистическом переводе он был связан именно с переводом реалистических произведений. Готовя статью «На подступах к реалистическому переводу» (1951 г.), он писал, что «речь идет прежде всего о переводе хорошей реалистической прозы и поэзии» (РГАЛИ. Ф. 2854. Оп. 1. Д. 42. Л. 5). Впоследствии он пересмотрел свою точку зрения, распространяя реалистический перевод на произведения любого литературного направления.

реводе означает не литературное направление, а отношение переводчика к подлиннику⁴². Гораздо хуже обстояло дело с основной теоретической установкой реалистического перевода, согласно которой переводчик переводит не слова, а художественные образы и тем самым отражение действительности, которую видел автор. Возникал вопрос: во-первых, если переводчик переводит «не слова», то из чего же у автора складываются художественные образы? И, во-вторых, где гарантия, что художественный образ непременно отражает действительность; что делать, если автор действительность не отражает? Кажется, первым на эту теоретическую неувязку указал Ефим Григорьевич Эткинд:

Итак, А. Лейтес просто считает несправедливым относить теорию перевода к числу языковедческих вопросов⁴³. И. Кашкин идет дальше: он и практику перевода не считает «формой языковой деятельности». Переводчик, по его теории, должен идти *мимо языка*, заглядывать *за текст* и этот самый «затекст» переводить. Словесная форма оригинала — «заслон», сквозь который надо прорваться. Словесная ткань произведения — «условный словесный знак». Для И. Кашкина переводчик исходит из «соответствия идейно-образного смысла *самих явлений*».

Точка зрения эта в высшей степени странная. Ведь язык — «непосредственная действительность мысли». Это марксистское положение относится и к языку художественного произведения. Зачем же создавать новую теорию об «условном словесном знаке»? Писатель использует для создания образа, для выражения мысли все средства родного языка. Разумеется, многие из этих средств не имеют прямых соответствий в другом языке — таковы, например, специфические особенности грамматического строя, морфологии, характерные явления синтаксиса. Другие, напротив, вполне могут быть воспроизведены: например, риторические фигуры — вопросы, восклицания, обращения, анафоры, все явления так называемой синтаксической композиции. Впрочем, дело не только в этом. Перевод — всегда сопоставительная стилистика⁴⁴ двух языков. Перевод — проблема литературоведческая и одновременно лингвистическая в такой же степени, как

42. «Конечно, надо сразу договориться о том, что речь идет не об историко-литературном понятии, не о реалистическом стиле, а о методе передачи стиля, и дело, конечно, не в том, чтобы, скажем, романтический стиль подлинника подгонять в переводе под реалистические нормы, а в том, чтобы реалистическим методом верно передавать стиль переводимого произведения» (Кашкин И. А. В борьбе за реалистический перевод. С. 125).

43. Имеется в виду статья А. М. Лейтеса «Художественный перевод как явление родной литературы», помещенная в сборнике «Вопросы художественного перевода» (1955) перед статьей Кашкина.

44. Для Эткинда, автора докторской диссертации «Стихотворный перевод как проблема сопоставительной стилистики», это положение принципиально важно.

наука о синонимических средствах языка относится и к той и к другой областям филологии.

Теория, игнорирующая языковую форму литературного произведения, фактически обезоруживает переводчика. От последнего требуется воспроизвести некую реальность, стоящую за «условным словесным знаком». Но спрашивается: как познать эту реальность, если не через этот самый «словесный знак»? И далее: если еще можно как-то представить себе, что переводчик сумеет постичь действительность, прорвавшись сквозь «заслон» словесной ткани реалистического произведения, то что делать переводчику произведений романтических или, скажем, символистских? Какая, например, действительность должна предстать взору переводчика, проникшего в «затекст» фантастической сказки Гофмана «Золотой горшок»?⁴⁵

Заканчивает Эткин убийственно:

Именно потому, что И. Кашкин стоит на ложных теоретических позициях, и примеры, приводимые им в обоснование теории, совершенно неубедительны. Например, он пытается сопоставить два перевода баллады Шиллера «Ивиковы журавли» — Жуковского и Заболоцкого, причем новый перевод кажется ему более совершенным якобы потому, что наш современник может прочесть подлинник «в свете его социалистического, революционного миропонимания и мироощущения», может увидеть действительность «не просто в развитии, а в развитии направленном, в революционном развитии». Всего этого из сопоставления переводов не видно. Перевод Заболоцкого кое в чем лучше, а кое в чем и значительно хуже гениального перевода Жуковского. Характерно, что И. Кашкин оба перевода соотносит не с оригиналом, но непосредственно с изображенной в стихотворении действительностью: «Так по-разному, — пишет он, — Жуковский и Заболоцкий увидели и показали читателю греческий амфитеатр». Но ведь греческий амфитеатр увидели не эти переводчики, а Шиллер, и читателю важно не столько то, как переводчики увидели Грецию, сколько то, как они увидели и показали читателю Шиллера.

В том-то все и дело, что теория И. Кашкина тянет ее автора к тому, чтобы игнорировать стиль, своеобразие переводимого писателя, и критерием перевода выдвигает большее или меньшее соответствие переводимого произведения непосредственно изображенной действительности. Нечего и говорить о том, насколько опасной может быть такая теория для практики наших переводчиков. Впрочем, результаты налицо, — их можно было бы наглядно показать на анализе некоторых работ переводчиков, принадлежащих к так называемой школе Кашкина⁴⁶.

45. Эткин Е. Г. Вопросы художественного перевода // Звезда. 1957. № 5. С. 196–200.
46. Там же. С. 198–199.

Таким образом, теория, требовавшая от переводчика изображать не слова подлинника, которые суть не более чем «условный знак», а увиденную действительность, причем не просто, а «в развитии направленном, в революционном развитии», оказывалась противоречивой и вряд ли состоятельной. Более того, понятие реалистического перевода обесмысливалось и тем, что слишком часто употреблялось просто в оценочном смысле — как синоним хорошего перевода. На это указывал, например, чешский теоретик Иржи Левый:

Другие советские авторы склоняются к тому, что для них понятие «реалистический перевод» просто заменило прежние термины «адекватный» и «эквивалентный», «полноценный», короче говоря, «хороший» перевод, и, следовательно, лишено конкретного смысла⁴⁷.

И даже американский переводчик и теоретик перевода Лорен Лейтон, переведший на английский «Высокое искусство» Чуковского и в целом очень почтительно относившийся к советской школе перевода, писал в том же ключе:

Наверное, немарксисту сложно понять, что именно представляет собой реалистический перевод, как его описывают Кашкин и Гачечиладзе... В итоге реалистический перевод невозможно отличить от художественного — видимо, поэтому Гачечиладзе использует эти два термина как синонимы. Более того, совершенно не обсуждаются очевидные вопросы, вызываемые его рассуждениями об отражении действительности: что делать с тем, насколько оригинал *не отражает* действительность? Как быть с произведениями, основная эстетическая задача которых состоит в том, чтобы исказить действительность?⁴⁸

ПОПРАВКА ГАЧЕЧИЛАДЗЕ

Кашкинскую теорию реалистического перевода впоследствии развивал грузинский переводчик Гиви Ражденович Гачечиладзе. Если для Кашкина термин «реалистический перевод» оставался (действительно или только на словах) лишь «удобным рабочим термином», то Гачечиладзе настаивал, что именно этот термин и должен использоваться для описания советского метода художественного перевода, потому что он удачнее остальных. В частности, Гачечиладзе указывает на преимущества терми-

47. Левый И. Искусство перевода/Пер. с чешского Вл. Россельса. М.: Прогресс, 1974. С. 43.

48. Friedberg M. Literary translation in Russia: A Cultural History. Pennsylvania State University Press, 1997. P. 106–107.

на «реалистический перевод» перед набравшим популярность термином «адекватный перевод». Если «адекватный» перевод, — рассуждал Гачечиладзе, — это перевод «лучший», «полноценный», то каждый метод художественного перевода, в том числе и любой «нереалистический» метод, даст свой «адекватный» перевод. Однако поскольку «реалистический» метод перевода заведомо лучше любого нереалистического, то и перевод, адекватный реалистическому методу, будет лучше перевода, адекватного любому другому методу. «Традиционное понимание адекватности есть довольно абстрактное понятие лучшего перевода, в которое каждый метод может вложить свое содержание, а реалистический перевод — лучшая конкретная форма адекватности в нашем понимании»⁴⁹. Следовательно, не лучше ли так и говорить — «реалистический перевод»?

В основу своих рассуждений Гачечиладзе кладет представление о мышлении как об отражении действительности, в том виде, как об этом писал Ленин: «Познание есть отражение человеком природы». «Также и создание художественного перевода, — подхватывает Гачечиладзе, — является творческим актом отражения объективного мира, который в данном случае представлен оригиналом, т. е. предметом познания для переводчика»⁵⁰.

Тут — важное отличие Гачечиладзе от Кашкина, которое (видимо, потому, что и Кашкин, и Гачечиладзе избегали четких формулировок) не всегда осознавалось современниками: если Кашкин утверждал, что переводчик должен проникать сквозь текст оригинала к чувствам и мыслям писателя и к «действительности», которую он отражает (то есть к тому, что видел, слышал и ощущал автор), то для Гачечиладзе «действительность» — это само художественное произведение. Отражать эту действительность переводчик может по-разному, в зависимости от своего мировоззрения и избранного метода:

Если перевод — это отражение переводимого произведения, то мы увидим множество различных методов отражения в соответствии с эпохой и мировоззрением переводчика: дословные переводы дают разновидности натуралистического метода, которые созданием фотографических безжизненных копий пытаются достичь сходства с подлинником. Среди вольных переводов отмечается субъективизм, навязывание собственной художественной системы переводимому автору, необоснованное, бессистемное и произвольное отношение к подлиннику и т. д.; все это характерные черты модернистского, декадентского метода⁵¹.

49. Гачечиладзе Г. Р. Вопросы теории художественного перевода. Тбилиси: Литература да хеловнеба, 1964. С. 82.

50. Там же. С. 81.

51. Там же. С. 114.

Но, конечно, самым верным отражением будет отражение реалистическое — производимое советским переводчиком, опирающимся на метод социалистического реализма. Это и есть, по Гачечиладзе, реалистический перевод.

Если подлинник — действительность, а перевод отражение этой действительности, то метод нашего отражения должен быть реалистическим, воссоздающим подлинник в единстве его содержания и формы. Предполагается, что реалистический метод не только постигает существенное, типичное и характерное для действительности подлинника и репродуцирует его в соответствующей форме, но и придает новому произведению особенно сти творческой индивидуальности переводчика⁵².

В такой интерпретации теория реалистического перевода не столь резко порывала с собственно текстом оригинала, как это было у Кашкина. Впрочем, приобретая в логичности, теория реалистического перевода в варианте Гачечиладзе теряла свое первоначальное обаяние. Из методологического понятия, под-сказывающего, каким образом нужно переводить, реалистический перевод превращался у Гачечиладзе в оценочное понятие, в отражение действительности (то есть оригинального художественного произведения) *самым лучшим* методом, в *самый адекватный* из всех адекватных переводов. Когда же приходилось наполнять этот термин методическим содержанием и объяснять, *каким именно образом* должен происходить реалистический перевод, Гачечиладзе возвращался обратно к Кашкину:

... может возникнуть законный вопрос: что же означает конкретно отражение художественной действительности подлинника?

... Отражение начинается с живого представления того, что отражено автором в его произведении. В этом представлении, возникающем в мысли переводчика, участвует не только то, что сказано в подлиннике, то есть содержание, но и то, как оно сказано, то есть художественная форма. Все это находится в органическом единстве и в таком же единстве отражается в мышлении переводчика. Это значит, что, оживив перед мысленным взором художественную действительность подлинника, переводчик приобретает право выразить все это словами, лексических эквивалентов которых, может быть, и нет в подлиннике. Он как бы должен пересказать своему слушателю все это, перевыразить на понятном тому языке⁵³.

52. Там же. С. 110–111.

53. *Он же*. О реализме в искусстве перевода // Актуальные проблемы теории художественного перевода. Материалы Всесоюзного симпозиума (25 февраля — 2 марта 1966 г.). Т. 1. М., 1967. С. 47.

и там же:

Переводчик не был бы творцом, если бы он ограничивался словами текста и их воссозданием и не оживил бы в своем воображении то, что автор видел в свое время. Переводчик должен видеть опосредованную подлинником живую жизнь⁵⁴.

ТЕОРИЯ РЕАЛИСТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА В КОНТЕКСТЕ ЛИТЕРАТУРНОЙ БОРЬБЫ

Развивая идею реалистического перевода, Кашкин опирался на «лучших советских переводчиков» (которые, очевидно, потому, что усвоили метод социалистического реализма, переводят реалистически) и противопоставлял их другим переводчикам — так сказать, врагам реалистического метода. Среди этих врагов, которых наметил Кашкин, упомяну о двух важнейших: это очень похожие и в то же время совершенно различные переводчики Евгений Львович Ланн и Георгий Аркадьевич Шенгели. Друзья со студенческой скамьи, они оба застали краешек уходящего Серебряного века, оба усвоили то стремление к невозможнейшей переводческой точности, которое было тогда распространено. Но из-за разного материала своей работы точность они понимали по-разному.

Ланн переводил прозу. Он требовал от переводчика⁵⁵ точности в воссоздании не только содержания произведения (это разумелось само собой), но и стиля автора, а этого предполагалось достичь максимально точным воспроизведением всех авторских приемов, всех авторских находок и всех авторских огрехов. Запрещалось что-либо приписывать к авторскому тексту (то есть, например, разъяснять темные места непосредственно в тексте, что нередко делают переводчики) и запрещалось также что-либо из него убавлять (например, разбавлять часто повторяющееся слово синонимами, поскольку повтор есть черта авторского стиля). При переводе автора-классика требовалось соответствующим образом архаизировать язык, чтобы он соответствовал той эпохе, в которую жил автор. Поощрялись многочисленные иноязычные заимствования, чтобы не допустить потери смысла при слишком обтекаемом и приблизительном переводе бытовых реалий. Переводной текст получался непривычным для читательского восприятия, ощутимо ино-

54. Там же. С. 45.

55. В двух опубликованных статьях «Стиль раннего Диккенса» (Литературная учеба. 1937. № 2) и «Стиль раннего Дикенса и перевод „Посмертных записок Пиквикского клуба“» (Литературный критик. 1939. № 1).

странным — и Ланн вполне это понимал. Он полагал, что настоящая — и труднейшая — задача переводчика состоит в том, чтобы «придать идеям и чувствам иностранный вид в отечественной форме»⁵⁶. Переводчик, по Ланну, «должен с предельной ясностью сознавать, что форма выражения Бальзака окрашена в национальный французский цвет, а у Диккенса — в английский, а каждый из этих цветов имеет множество оттенков, соответствующих индивидуальным стилевым особенностям писателя»⁵⁷ — и вместе с переводчиком это должен слышать его читатель. Нетрудно заметить, что Ланн стоял на позиции очуждающего перевода — стоял твердо и не отступил от нее, несмотря на резкую критику в его адрес в начале 1950-х годов.

Шенгели же, переводивший поэзию, был, скорее, наоборот, сторонником осваивающего метода. Он требовал точности и старался не упустить в переводе ни капли исходного смысла, но, связанный рамками стиха, вынужден был изобретать хитроумные способы уложить этот смысл в наличествующее стиховое пространство, приспособляясь к заданному автором размеру и схеме рифмовки. И если стих Шенгели получался «тяжеловесным» (постоянный повод для упреков), то это было вызвано не воспроизведением непривычного, чужого стиля, а попыткой как можно плотнее насытить свой перевод содержанием оригинала. Шенгели высказывался против воспроизведения иноязычного синтаксиса (так, он не принял «Энеиду» в переводе своего учителя, Брюсова) и против многочисленных лексических заимствований, если они сильно очуждали перевод⁵⁸. Даже от формальных особенностей стиха, блистательно воспроизводимых им в одних переводах, он в других готов был отступить, если

56. РГАЛИ. Ф. 2210. Оп. 1. Д. 67. Л. 5.

57. Там же.

58. Показательно в этом смысле письмо Шенгели в издательство Академии наук СССР с отрицательным отзывом на перевод «Рамаяны», сделанный академиком А. П. Баранниковым. «Публикация этого перевода в его настоящем виде невозможна», — решительно заявляет Шенгели, говоря, что русский текст перевода загроможден «бесчисленными микродетальями. Почти все имена, например, снабжаются почтительной приставкой „шри“ или почтительной надставкой „джи“; можно было без ущерба опустить эти словечки, сотнями пестрящие текст. Очень часто встречается слово „гуны“, означающее вообще свойства и качества; почему не сказать просто „свойства“? Очень часто упоминается „гуру“, наставник; почему не сказать просто „наставник“?.. Очень часто упоминается „сансара“ — иллюзорный мир, „мир бывания“, как его определяет переводчик... не проще ли говорить „призрачный мир“, „видимый мир“, отодвинув пояснение в комментарий?.. Итак, важнейшее свойство перевода, его доступность, переводчиком не реализовано» (РГАЛИ. Ф. 2861. Оп. 1. Д. 95. Л. 73–76, 147–148).

считал, что иные, не авторские, свойства стиха будут лучше передавать содержание перевода.

Однако, несмотря на столь выраженные различия между ними, оба (Ланн — как сопереводчик и редактор романов Диккенса; Шенгели — как переводчик «Дон Жуана» Байрона) в начале 1950-х годов попали под критический огонь Кашкина⁵⁹, предъявившего им те упреки, которые сторонник осваивающего метода перевода предъявляет сторонникам очуждающего: в сложности, неестественности, нарочитости языка перевода, склонности к иноязычным заимствованиям, к «засорению языка». Критик не ограничивался переводческими аргументами, прибегая и к обвинениям политического характера: Ланн (намекнами) обвинялся в приверженности марризму и намеренном усложнении Диккенса (чуть ли не в угоду английской буржуазии); Шенгели — в искажении образа великого русского полководца Суворова и, таким образом, в оскорблении советского читателя.

Много сторонних факторов усложняет анализ этих нападок Кашкина на Ланна и Шенгели: помимо борьбы за утверждение и распространение своих взглядов на перевод тут была и борьба за издательские заказы, и, по-видимому, личная ссора, да и условия, в которых находились критик и критикуемые, были заведомо неравными⁶⁰. Как бы то ни было, кашкинские статьи начала пятидесятых знаменуют собой период торжества осваивающего метода в советском переводе, торжества безраздельного, не оставляющего места сторонникам перевода очуждающего или недостаточно осваивающего. Потребуется еще почти двадцать лет, чтобы М. Л. Гаспаров в статье «Брюсов и буквализм» сказал, что и у очуждающего метода есть свои достоинства и что полезна не окончательная победа осваивающего метода над очуждающим, не их синтез в поисках «золотой середины», а сосуществование обоих методов.

59. Против Ланна — статья «Ложный принцип и неприемлемые результаты» (Иностранные языки в школе. 1952. № 2); против Шенгели — статьи «Удачи, полуудачи и неудачи» (Новый мир. 1952. № 2) и «Традиция и эпигонство» (Новый мир. 1952. № 12); против обоих — статья «О языке перевода (Литературная газета. 1 декабря 1951). Тут стоит отметить, что в 1936 году Кашкин также писал критический отзыв на перевод Диккенса, выполненный при участии Ланна (Мистер Пиквик и другие // Литературный критик. 1936. № 5), но по своему стилю он был гораздо профессиональнее и безобиднее, чем статьи начала 1950-х.

60. И Ланн, и Шенгели писали ответные статьи на критику Кашкина: Ланн, по-видимому, в «Литературную газету», Шенгели — в «Новый мир», но они не были опубликованы. С 1947 года Ланн — постоянный объект нападок в связи с кампанией по борьбе с космополитизмом; за Шенгели же с 1950 года закрепился слух, что он посягнул на Суворова.

Способы идеологической адаптации переводного текста

О ПЕРЕВОДЕ РОМАНА Э. ХЕМИНГУЭЯ
«ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ»

ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА



РЕДИ многочисленных факторов, влияющих на процесс перевода и определяющих характер переводного текста, не последнюю роль играют факторы идеологического порядка. С особой очевидностью вопрос о влиянии идеологии встает при анализе переводов, выполненных в условиях жесткого идеологического контроля и ограничения свободы слова. В некоторых случаях можно говорить о своеобразной идеологической адаптации текста, которая осуществляется с помощью целого ряда приемов. В настоящей статье мы рассмотрим использование этих приемов на примере перевода романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол», выполненного Н. Волжиной и Е. Калашниковой. Изданию этого перевода предшествовала долгая цензурная история: подготовлен он был в 1941 году, а увидел свет (после многочисленных попыток публикации) только в 1968-м. Претензии к содержанию романа выдвигались на разных этапах и, что облегчает анализ, отражались в официальных документах. Масштаб расхождений перевода с оригиналом в данном случае достаточно значителен, что дает возможность выявить определенные тенденции в использовании адаптационных приемов, а также поставить вопрос об общем характере трансформации текста. Наконец, наличие неопубликованных редакций этого перевода позволяет сопоставить адаптационные стратегии, использовавшиеся при попытках публикации романа в разные годы.

Цензурная история перевода романа «По ком звонит колокол» неоднократно становилась предметом исследований. Известно, что в 1940 году, после публикации в США, роман вы-

звал возмущение участников бригады Линкольна. В конце 1940 г. их открытое письмо Хемингуэю было напечатано в журнале «Интернациональная литература».

Тем не менее, в Советском союзе, по воспоминаниям Р. Д. Орловой, уже к марту 1941 г. переводчики кашкинской школы Н. Волжина и Е. Калашникова подготовили перевод романа для публикации в Гослитиздате и журнале «Знамя». В фонде журнала «Знамя» в РГАЛИ сохранилось два варианта машинописи предложенного к публикации текста с правкой переводчиков. В качестве редактора перевода указан И. А. Кашкин. Обе редакции названы по имени главного героя — «Роберт Джордан. Главы из романа „По ком звонит колокол“», и обе значительно сокращены по сравнению с оригинальным текстом. Собственно идеологическая адаптация в них налицо и проявляется в гораздо большей степени, чем в позднейших версиях. Следует также отметить, что в машинописи встречаются фрагменты текста, не связанные с контекстом по смыслу (при правке они зачеркивались). Наличие этих фрагментов, по всей видимости, свидетельствует об уже существовавшей на тот момент более полной (возможно, что и окончательной, завершенной) редакции перевода.

Однако даже сильно адаптированный вариант опубликован не был. Как указывал А. В. Блюм, судьба романа «По ком звонит колокол» обсуждалась в Управлении пропаганды и агитации ЦК партии. Дело о его издании было заведено за двадцать дней до начала войны, 2 июня 1941 г. Как сообщает Блюм, к делу были подшиты «докладная записка Рокотова Жданову, курировавшему идеологию, резолюция Управления и обширные выдержки („выпечатки“, как указано в деле) из романа, содержавшие особо „криминальные“ места». Повод для критики очевиден: прежде всего, роман осуждался за сочувственное изображение Каркова, прототип которого, Михаил Кольцов, в 1940 году был расстрелян по доносу бывшего генерального комиссара интербригад Андре Марти, а также за «клевету» на участников интербригад (в том числе на самого Марти). В итоге, несмотря на то, что в редакции 1941 г. ни Карков, ни Марти вообще не упомянуты, роман решено было не печатать, более того, о нем вообще запрещалось упоминать.

Как писала Р. Д. Орлова, тогда же, в самом начале войны, перевод романа ходил по рукам. При этом в ходу было как минимум два варианта перевода. Со ссылкой на свидетельство И. А. Кашкина Орлова отмечала, что в 1941 году солдаты в Минской и Новгородской областях читали выделенную из романа «повесть о партизанах». Далее Орлова указывает: «То, что из романа была выделена некая повесть, подтвердилось. Один человек

читал ее в Москве, другой — в Ташкенте». При этом по разным городам разошлась и «подлинная рукопись перевода романа». Что такое «повесть о партизанах», сказать трудно. Не исключено, что имеется в виду та самая неопубликованная редакция 1941 г., в которой действительно отсутствует большая часть эпизодов, не связанных непосредственно с партизанским отрядом. «Подлинная» же рукопись, как отмечала Орлова, «после пятьдесят шестого года вылилась в начинающийся самиздат».

Новые попытки публикации романа предпринимаются уже после смерти Сталина. Тогда же о «Колоколе» вновь начинают писать. В апрельском номере журнала «Иностранная литература» за 1956 год публикуется обзорная статья И. А. Кашкина «Перечитывая Хемингуэя», где «По ком звонит колокол» разбирается подробно и с цитатами.

Самое непосредственное отношение к судьбе перевода имели некоторые события, произошедшие после смерти Сталина. Это реабилитация Кольцова и последовавшее уже в 1953 году осуждение и исключение из французской компартии Андре Марти. Столь кардинальное изменение положения двух деятелей теоретически увеличивало вероятность публикации. Тем не менее, несмотря на все старания Н. Волжиной и Е. Калашниковой, дело на долгое время ограничилось лишь разрешением упомянуть роман. О попытках опубликовать его свидетельствует записка отдела культуры ЦК КПСС от 25 января 1958 года, приложенная к постановлению комиссии ЦК КПСС «О мероприятиях по устранению недостатков в издании и критике художественной литературы». Составители записки сообщали: «На практику издательств и литературных журналов нередко влияет давление переводчиков и рецензентов, которые исходят из субъективных взглядов, эстетских вкусов, а иногда и личной заинтересованности. <...> Переводчики и близкие к ним люди настойчиво рекомендовали издательствам роман Хемингуэя „По ком звонит колокол“, описывающий события 1936–1938 годов в Испании с позиций, враждебных прогрессивным силам».

В 1960 году опубликовать роман пытается ленинградский журнал «Нева». В феврале в газете «Советская Россия» появилось сообщение о том, что Хемингуэй дал согласие на публикацию романа в «Неве» и что это должно произойти в ближайшее время. Однако новость вызвала недовольство партийного руководства. В упомянутой выше записке ЦК от 12 марта 1960 г. осуждается и заметка в газете, и «самый факт обращения „Невы“ к Хемингуэю». Критикуя роман, составители записки Д. Поликарпов и Н. Казьмин, заведовавшие на тот момент отделом культуры и отделом науки, школ и культуры соответственно, возлагали основную вину за «организацию шумихи» вокруг романа

на и. о. главного редактора «Невы» Е. Серебровскую. При этом сообщалось, что редакция журнала собиралась «опубликовать роман в сокращенном варианте, исключив некоторые эпизоды и предпослав вступительную статью, а также письмо Хемингуэя, которое редакция намерена запросить у писателя, продолжив с ним переписку». В итоге публикация была запрещена, а Е. Серебровскую вызывали в ЦК для «беседы».

В 1962 году по приказу Идеологического отдела ЦК КПСС роман был опубликован в Издательстве иностранной литературы так называемым «закрытым изданием». Оно предназначалось партийному руководству и распространялось по специальному списку, для чего каждый экземпляр нумеровался. Р. Д. Орлова, работавшая в то время в журнале «Иностранная литература», писала после, что видела в редакции экземпляр № 82. Действительно, издание 1962 г. получил главный редактор «Иностранной литературы» А. Б. Чаковский, сославшийся на него в своем письме в ЦК партии. Судя по цитатам в письме, а также различным свидетельствам, издание это вышло без купюр и содержало, таким образом, наименее адаптированную версию перевода, найти которую нам, к сожалению, не удалось.

2 июля того же года в «Известиях» было опубликовано написанное еще в 1946 году письмо Хемингуэя Симонову, где вновь упоминался роман «По ком звонит колокол». В этом письме Хемингуэй давал свое согласие на публикацию романа в СССР «с небольшими изменениями или пропуском некоторых имен». Вскоре после этого попытку опубликовать роман предприняли журналы «Иностранная литература» и «Новый мир». Их главные редакторы А. Б. Чаковский и А. Т. Твардовский обратились в ЦК КПСС практически одновременно, 5 и 7 июля. Просьбы были рассмотрены, и разрешение на публикацию получено, однако роман решили издавать не в «Иностранной литературе» или «Новом мире», а в Гослитиздате (после 1963 г. — Издательство «Художественная литература»). Редактирование перевода поручили К. Симонову, он же выступил автором предисловия.

К концу 1963 г. роман был подготовлен к печати, однако и на этот раз попытка публикации завершилась бесславно. Как и в 1960 году, причиной вновь стало недовольство иностранных коммунистов. Так, в части верстки 1963 г. на полях возле эпиграфа к роману (сам эпиграф выделен) написано: «Снято нрзб. Возможна реакция компартии Испании». Далее указаны необходимые действия: «1. Справка об Испании и коммунистах. 2. Показать все Ибаррури. 3. Слабо учитывали возможную реакцию Испании». Действительно, упоминаемая в романе испанская коммунистка Долорес Ибаррури (Пассионария) резко воспротивилась публикации произведения в СССР, пусть и с купю-

рами. Как сообщалось в записке секретаря ЦК КПСС Л. Ильичева, Ибаррури «заявила при этом, что роман Хемингуэя антикоммунистический и антинародный, в котором фашизм представлен в розовом свете, а республиканцы изображены клеветнически». В итоге руководство ЦК предпочло не портить отношений с испанской компартией, и уже готовый набор был рассыпан.

Публикация романа состоялась лишь в 1968 году в третьем томе собрания сочинений Хемингуэя, выпущенного издательством «Художественная литература». Перевод вышел под редакцией К. Симонова (что в целом приближает его к редакции 1963 г.) и с его же вступительной статьей. Впоследствии редакция 1968 г. многократно перепечатывалась.

Таким образом, в нашем распоряжении имеются четыре редакции перевода: две машинописи 1941 г., часть верстки (с правкой) 1963-го и окончательный вариант 1968 г. Перейдем к анализу адаптационных средств, использованных при переводе и подготовке текста к публикации. Наиболее заметное и очевидное из них — многочисленные купюры. Даже в редакции 1968 г. их насчитывается более двадцати, в редакции же 1941 г. — гораздо больше. Документы позволяют проследить, как решался вопрос о включении или исключении тех или иных фрагментов: так, в сохранившейся части верстки 1963 г. присутствует текст, который был впоследствии вырезан.

Причины купирования, как правило, вполне очевидны: политическая целесообразность или нарушение норм приличия (зачастую и то, и другое вместе). Значительная часть неприемлемого содержания, таким образом, не доходила до читателя. Простым изъятием части текста купирование, однако, не ограничивалось. На наш взгляд, при анализе купюры как адаптационного приема интересно не только и не столько то, что именно вызывает претензии и вымарывается, но и то, каким образом изменяется оставшийся текст.

Наиболее заметен смысловой сдвиг в ранней редакции, в которой объем купюр сопоставим с объемом оставленного текста. Вероятнее всего, именно поэтому было решено изменить название и озаглавить опубликованный вариант «Роберт Джордан. Главы из романа „По ком звонит колокол“». Исправления в сохранившейся машинописи свидетельствуют о том, что скорее всего поначалу издание и мыслилось как подборка отдельных глав, опубликованных под теми же номерами, что в оригинале. Вместе с тем, в процессе правки решение изменилось: совпадающие с оригиналом номера глав ликвидируются, и устанавливается своя, сплошная, нумерация. Показательно при этом, что переводчики стремятся сохранить нейтральные с идеологической точки зрения эпизоды, находящиеся в купированных гла-

вах: так, пейзажная зарисовка, открывающая удаленную главу, была перенесена в конец следующей.

В итоге из сорока трех глав оригинала в переводе остались двадцать две. Приведем краткую таблицу с перечнем глав, опубликованных полностью. Отметим лишь, что этим перечнем список крупных купюр в редакции 1941 г. далеко не исчерпывается.

Номер главы	Основное содержание (кратко)
Глава 5	Разговор главного героя с цыганом Рафаэлем. Рафаэль спрашивает у Джордана, почему тот не убил Пабло
Глава 10	Расправа Пабло над фалангистами
Глава 12	Джордан, Пилар и Мария возвращаются от Эль Сордо. Пилар говорит об отношениях Марии и Джордана
Глава 13	Любовная сцена. Размышления Джордана (о Марии, войне и т. д.) Разговор Джордана и Марии с Пилар
Глава 14	Воспоминания Пилар о ее жизни с матадором
Глава 17	Разговор в пещере — в отсутствие Пабло, которого Джордан обещает убить (в этот самый момент Пабло возвращается)
Глава 26 (кроме последнего предложения)	Джордан просматривает документы убитого офицера. Внутренняя речь Джордана (в частности, размышления о том, оправдана ли война)
Глава 31	Любовная сцена
Глава 32	Сцена у Гэйлорда. Карков узнает, что о готовящемся наступлении уже известно. Разговор об Ибаррури
Глава 34	Андрес пробирается к штабу республиканских войск
Глава 35	Любовная сцена. Внутренняя речь Джордана (в том числе воспоминания и дурные предчувствия)
Глава 36	Андрес на республиканской территории
Глава 40	Андрес в штабе республиканских войск
Глава 42	В штабе республиканских войск. Карков и Марти

Даже эта, далеко не полная, таблица купюр позволяет наглядно представить, сколь значительной частью текста были вынуждены пожертвовать переводчики (под прямым давлением цензуры или руководствуясь собственными опасениями) в угоду публи-

кации романа. При знакомстве с редакцией 1941 г. становится очевидной тенденция убирать из текста все, что может выглядеть хоть сколько-нибудь сомнительным.

Как отчасти видно из таблицы, в первую очередь опускаются все намеки на то, что судьба партизанского отряда каким-либо образом связана с ошибками командования. В сущности, из всех эпизодов, в которых упомянуто республиканское военное командование, сохранен (в адаптированном виде) только тот момент, где главный герой получает приказ взорвать мост (разговор с Гольцем в начале). Далее все подобные эпизоды купируются. Из восемнадцатой (в переводе — двенадцатой) главы вырезаны воспоминания главного героя о Гэйлорде (так же, как и глава, действие которой происходит в этом отеле). Полностью убрана сюжетная линия, связанная с попыткой Джордана передать донесение Гольцу и походом Андреса в штаб дивизии. Помимо вырезанных глав (34-й, 36-й, 40-й и 42-й) последовательно снимаются все прочие упоминания о попытке Джордана связаться со штабом. При этом делаются как крупные купюры, так и более мелкие. Как свидетельствуют исправления в машинописи, некоторые эпизоды были удалены уже после набора.

В результате подобной правки теряются не только отдельные высказывания или определенные сюжетные ходы, но и целый ряд персонажей (собственно, в редакции 1941 г. отсутствуют почти все персонажи-коммунисты, оставлены только Гольц и Кашкин). Намеки на причастность командования к поражению удаляются крайне тщательно, вплоть до мелочей. См., например, следующее характерное исправление:

<p>When a thing is wrong something's bound to happen. You were bitched when they gave Golz those orders. That was what you knew and it was probably that which Pilar felt.</p>	<p>Когда что-нибудь делается не так, рано или поздно должна случиться беда. Твоя песенка была спета, еще когда Гольц ты получил этот приказ. И ты это знал, и это же, должно быть, чувствовала Пилар.</p>
--	--

Как видно, в переводе этого фрагмента указание на участие командования изначально несколько затушевывается. До некоторой степени помогает отвлечь внимание читателя использование двусоставного предложения с подлежащим «Гольц» вместо возможной (и формально более близкой к оригиналу) неопределенно-личной конструкции («Гольцу дали приказ...»). Таким образом, исчезает возможный полунамека на тех, кто именно приказ отдавал. Вместе с тем, чисто синтаксические средства позволяют замаскировать информацию о виновности командования лишь отчасти. Как можно предположить, это вызвало у пере-

водчиков сомнения в «благонадежности» текста, потому и было сделано исправление.

Столь же тщательно удаляется все, что предположительно может быть истолковано в сколько-нибудь негативном для Советского Союза ключе. См., например, следующее исправление (возможно, сделанное ради перестраховки). Речь идет о Кашкине: «Просто у этого ~~русского~~ товарища нервы были не в порядке, потому что он слишком много времени провел на фронте. Он участвовал в боях под Ируном, а там, сами знаете, было плохо». В более поздней машинописи зачеркнутое слово отсутствует.

Помимо упоминаний о республиканском командовании, последовательно удаляются эпизоды, которые можно считать неприличными. Так, вырезаны практически все постельные сцены Джордана и Марии, кроме первой, и то, как видно, насчет возможности ее публикации у переводчиков и редактора возникли сомнения: на полях стоит зачеркнутая помета «рогно». Опять-таки, устранение из текста неприличных моментов проводилось весьма тщательно. Характерны сомнения переводчиков (или редактора) относительно эпизода, где Джордан убивает подъехавшего к лагерю фашистского офицера. В спальном мешке вместе с ним в этот момент находится Мария, и, как свидетельствуют исправления, переводчики и редактор не сразу приняли решение, «оставлять» ли ее в тексте. См. зачеркивания в черновом варианте машинописи:

*Мария, — сказал он и тряхнул девушку за плечо, чтобы она про-
снулась. — Спрячься в мешок. — Он застегнул одной рукой во-
рот рубашки, а другой схватился за револьвер, опустив предо-
хранитель большим пальцем. Он видел, как ~~стриженная голова~~
~~девушки нырнула в мешок, а потом~~ увидел всадника, выезжаю-
щего из-за деревьев.*

Последующие упоминания о Марии в этом эпизоде также зачеркнуты. Впрочем, в итоге Марию было решено «оставить» в тексте: на полях написано «надо!»

Характерно (и в целом закономерно), что жесткое ограничение свободы переводчиков парадоксальным образом оборачивается вольностью в обращении с текстом. Как свидетельствуют примечания на полях, переводчики, вынужденные конструировать русский вариант романа исключительно из «благонадежных» эпизодов, одновременно и сами (разумеется, лишь до некоторой, весьма небольшой, степени) начинают определять, что именно в этом тексте нужно.

Удалены, в отличие от собрания сочинений 1968 г., и фрагменты с религиозным содержанием. Так, были вырезаны рассуждения Ансельмо о грехе убийства. При этом в одном из слу-

чаев перед нами пример купирования, резко меняющего смысл оставшегося фрагмента. См., например, следующий эпизод:

Да, думал он, я одинокий человек. Но таковы все солдаты, и жены всех солдат, и все те, кто потерял свою семью или своих родителей. Жены у меня нет, но я рад, что она умерла до начала движения. Она бы не поняла его. И детей у меня нет и никогда не будет. Если я ничем не занят, я чувствую себя одиноким и днем, но больше всего мне бывает одиноко, когда наступает темнота. И все-таки есть одно, чего у меня никто не отнимет, ни люди, ни бог, — это то, что я хорошо потрудились для Республики. Я много труда положил для того, чтобы потом, когда кончится война, все мы зажили лучшей жизнью. Я отдавал все свои силы движению с самого его начала, и я не сделал ничего такого, чего можно было бы стыдиться.

Эта мысль понравилась ему, и он улыбался в темноте, когда подошел Роберт Джордан.

В оригинале, однако, герою понравилась совсем другая мысль:

But I think this of the killing must be a very great sin and I would like to fix it up. Later on there may be certain days that one can work for the state or something that one can do that will remove it. It will probably be something that one pays as in the days of the Church, he thought, and smiled. The Church was well organized for sin.

Это лишь конец длинного внутреннего монолога, полностью вырезанного.

Как можно заметить, подобный способ купирования позволяет достичь двойного результата: не только снять «сомнительное» место, но и подчеркнуть преданность Ансельмо республиканскому движению — то есть качество, идеально вписывающееся даже в соцреалистический канон. Ориентацию на этот канон (судя по всему, вынужденную), на наш взгляд, можно проследить в переводе в целом. Проявляется она, в частности, в тенденции к четкому разграничению персонажей на «положительных» и «отрицательных» и своеобразному прояснению (путем купирования) их жизненных позиций. Сомнительные с точки зрения господствующей идеологии действия и высказывания «положительных» героев последовательно вымарываются. Следует отметить, впрочем, что проводимая здесь аналогия с соцреализмом не безусловна. Соцреалистический канон включал в себя постепенное достижение героем «сознательности» (как отмечала, в частности, К. Кларк), а потому предполагал наличие у положительных героев некоторых «отрицательных» черт, при условии, что они, во-первых, недвусмысленно оцениваются автором как отрицательные и, во-вторых, преодолеваются по ходу рома-

на. Но поскольку «По ком звонит колокол» таких оценок и тем более такого «развития» не предполагает, то вполне закономерно, что при адаптации его к сложившимся к весне 1941 г. идеологическим требованиям, переводчики и редактор были вынуждены (или сочли необходимым) максимально приблизить образы героев к однозначно «положительным» или «отрицательным», одновременно сделав их более статичными, чем в оригинале.

Прежде всего, как нетрудно догадаться, при таком подходе значительно сокращается внутренняя речь главного героя. В частности, убрана большая часть терзающих его сомнений (в том числе, например, размышления о том, убивать Пабло или нет). Если учесть, что многие эпизоды, удаленные из-за «недолжного» изображения членов интербригад, тоже даны глазами главного героя, то можно понять, что размышлений Джордана остается намного меньше, в результате чего образ героя существенно трансформируется. По всей видимости, необходимость четко разграничить союзников и врагов, коммунистов и фашистов, заставляет опять-таки полностью удалить из текста главу, в которой описана расправа Пабло над франкистами. Тенденция к «прояснению» характеров прослеживается, однако, и в других, менее значительных, на первый взгляд, эпизодах. Так, Пилар в редакции 1941 г. еще может сказать: «А я и над флагом могу пошутить» и «По-моему, надо всем можно шутить», но озвучить шутку уже не может. Ср. в оригинале: «I could make jokes about a flag. Any flag», the woman laughed. «To me no one can joke of anything. The old flag of yellow and gold we called pus and blood. The flag of the Republic with the purple added we call blood, pus and permanganate. It is a joke». В другом эпизоде зачеркнуто упоминание о попытке партизана ограбить убитого офицера:

He looked through the trees to where Primitivo, holding the reins of the horse, was twisting the rider's foot out of the stirrup. The body lay face down in the snow and as he watched Primitivo was going through the pockets. «Come on», he called. «Bring the horse».

Он посмотрел сквозь деревья, туда, где Примитиво, держа лошадь под уздцы, высвободил ногу кавалериста из стремени. ~~Убитый висел, уткнувшись лицом в снег, и Роберт Джордан увидел, как Примитиво обшаривает его карманы.~~

— Эй! — крикнул он. — Веди лошадь сюда.

Обилие купюр в редакции 1941 г. и произвольная (не соответствующая оригинальной) разбивка на главы позволяет сочетать купирование со своеобразной композиционной адаптацией текста. Приведем в качестве примера перевод отрывка из одиннадцатой (в оригинальном тексте) главы. Джордан, Пилар и Мария разговаривают с подростком Хоакином. В начале отрывка

Хоакин кончает свой рассказ о гибели родных: даже единственного из родственников, кто мог уцелеть, он не надеется застать в живых.

— А может быть все-таки он жив. — Мария положила ему руку на плечо.

— Кто знает. Все может быть, — сказал Хоакин.

Он не двигался с места, и Мария вдруг потянулась к нему, обняла его за шею и поцеловала. Хоакин отвернул лицо в сторону, потому что он плакал.

— Это как брата, — сказала ему Мария. — Я тебя целую, как брата.

Мальчик покачал головой, продолжая беззвучно плакать.

— Я твоя сестра, — сказала Мария. — И я тебя люблю, и у тебя есть родные. Мы все твои родные.

— И даже Inglés, — прогудела Пилар. — Верно, Inglés?

— Да, — сказал Роберт Джордан мальчику. — Мы все твои родные, Хоакин.

— Он твой брат, — сказала Пилар. — А, Inglés?

Роберт Джордан обнял мальчика за плечи.

— Мы все братья, — сказал он.

— Верно, — сказала Пилар и зашагала вперед. VIII

— А вон он, — сказала Пилар. — Hola, Эль Сордо!

Показательно, что в оригинале этот отрывок находится внутри одной главы. Кроме того, в редакции 1941 г. сделана объемная купюра. Не будем полностью цитировать этот фрагмент в оригинале, приведем лишь совсем небольшую его часть:

«Yes», Robert Jordan said to the boy, «We are all thy family, Joaquin».

«He's your brother», Pilar said. «Hey Inglés?»

Robert Jordan put his arm around the boy's shoulder. «We are all brothers», he said. The boy shook his head.

«I am ashamed to have spoken», he said. «To speak of such things makes it more difficult for all. I am ashamed of molesting you».

«I obscenity in the milk of my shame», Pilar said in her deep lovely voice. «And if the Maria kisses thee again I will commence kissing thee myself».

Нетрудно заметить, что слова Джордана «We are all brothers» в оригинале не несут особенной смысловой нагрузки и теряются в потоке диалога. В переводе, напротив, эта реплика акцентируется. При помощи купюры «лишний» контекст устраняется, а разбиение главы на две позволяет поставить эти слова в сильную концевую позицию. Наконец, вводится отсутствовавшее в тексте добавление — реплика Пилар, дополнительно усиливающая эффект слов Джордана. При этом следует от-

метить, что сама по себе тема родства людей и ответственности друг за друга, бесспорно, играет в романе важную роль, о чем прямо свидетельствуют его название и эпиграф (опущенный в присталинской редакции и вызывавший сомнения даже при подготовке несостоявшегося издания 1963 г.). В данном же примере слова Джордана начинают звучать как лозунг. Это, опять-таки, возможно трактовать как ориентацию на каноны соцреализма и стремление представить героев возможно более «положительными».

В более поздних редакциях купюр меньше, сюжет в общих чертах сохранен. Вместе с тем, общая особенность купюры адаптационного приема — способность ощутимо трансформировать смысл оставшегося текста, в полной мере присутствует и здесь. Приведем один пример (воспоминания главного героя о Листерере):

They were Communists and they were disciplinarians. The discipline that they would enforce would make good troops. Lister was murderous in discipline. He was a true fanatic and he had the complete Spanish lack of respect for life. In a few armies since the Tartar's first invasion of the West were men executed summarily for as little reason as they were under his command. But he knew how to forge a division into a fighting unit.

Они были коммунистами и сторонниками железной дисциплины. Дисциплина, насаждаемая ими, делает из испанцев хороших солдат. Листер был особенно строг насчет дисциплины, и он сумел выковать из дивизии настоящую боеспособную единицу.

Как можно заметить, в данном случае купирование изменило смысл отрывка практически на противоположный. Кроме того, помимо купирования в приведенном отрывке использован другой адаптационный прием («murderous» переведено как «особенно строг»). Подобного рода приемы, когда слово или словосочетание передаются при переводе единицей, близкой по значению, но с ослабленной степенью проявления признака или ослабленным эмоционально-оценочным компонентом, встречаются в переводе регулярно. «Ослабленность» того или иного компонента значения в данном случае и является определяющим признаком этого адаптационного приема, который мы условно будем называть «смягчением». Слово это (и требование «смягчить» определенные выражения при переводе) встречается в партийной записке от 9 ноября 1962 г., посвященной изданию романа. Авторы записки считали нужным «не нарушая смысла, заменить некоторые политически сомнительные и двусмысленные формулировки». При этом, как можно понять, критерий «сомнительности» оказывается весьма расплывчатым,

охватывающим самые разные явления. Так, в качестве примера «сомнительной формулировки» приводилась характеристика Гэйлорда, в которой слова «пристанище русских», по мнению авторов записки, следовало заменить на «место пребывания». При этом показательно, что в процитированном в записке закрытом издании 1962 г. это выражение уже подверглось переводческой (или редакторской? — Е. К.) адаптации, ср.: «The hotel in Madrid the Russians had taken over».

Примеры использования этого приема встречаются и в редакции 1941 г., и в собрании сочинений 1968-го. В целом, для версии, вошедшей в собрание сочинений, этот прием, пожалуй, более характерен, так как позволяет адаптировать тот или иной эпизод с меньшим ущербом для смысла. Можно предположить, что в 1941 г. подобным образом адаптировать сомнительные эпизоды было небезопасно, и потому чаще они полностью опускались. Позже, при подготовке более полного текста, степень «неблагонадежности» того или иного эпизода иногда могла обсуждаться, и в зависимости от этого выбиралось средство адаптации. Так, в партийной записке 1962 г. предлагалось «содержащиеся в размышлениях героя слова о „русской интервенции“ <...> заменить упоминанием об участии „русских“». Как позволяет судить сохранившаяся часть верстки 1963 г., вначале так и сделали, но позже решили опустить целый фрагмент.

Оригинал

Редакция 1963 г.

Редакция 1968 г.

But there was another story that Karkov had not written. He had three wounded Russians in the Palace Hotel for whom he was responsible. They were two tank drivers and a flyer who were too bad to be moved, and since, at that time, it was of the greatest importance that there should be no evidence of any Russian intervention to justify an open intervention by the fascists, it was Karkov's responsibility that these wounded should not fall into the hands of the fascists in case the city should be abandoned.

Но были и такие вещи, о которых Карков не писал. В «Палас-отеле» находились тогда трое тяжело раненных русских — два танкиста и летчик, оставленные на его попечение. Они были в безнадежном состоянии, и их нельзя было тронуть с места, а так как в то время считалось важным не оставлять никаких доказательств участия русских, Каркову необходимо было позаботиться о том, чтобы эти раненные не попали в руки фашистов в случае, если город решено будет сдать.

Но были и такие вещи, о которых Карков не писал. В «Палас-отеле» находились тогда трое тяжело раненных русских — два танкиста и летчик, оставленные на его попечение. Они были в безнадежном состоянии, и их нельзя было тронуть с места, Каркову необходимо было позаботиться о том, чтобы эти раненные не попали в руки фашистов в случае, если город решено будет сдать.

Приведем еще примеры «смягчений» в тексте собрания сочинений.

1. It would have been very interesting for Robert Jordan to have heard Pablo speaking to the bay horse but he did not hear him because now, convinced that Pablo was only down checking on his horses, and having decided that it was not a practical move to kill him at this time, he stood up and walked back to the cave.

Роберту Джордану было бы очень интересно услышать, о чем говорил Пабло с гнедым жеребцом, но услышать ему не пришлось, так как, убедившись, что Пабло пришел сюда только проверить, все ли в порядке, и, решив, что убивать его сейчас было бы неправильно и неразумно, он встал и пошел назад, к пещере.

2. But I still believe that political assassination can be said to be practised very extensively.

Но все-таки можно считать, что метод политических убийств применяется довольно широко.

Прием «смягчения» часто используется одновременно с купированием. Собственно, именно так он использован в последнем примере: в частности, вырезан фрагмент диалога, речь в котором идет о политических убийствах: «It is practised very extensively», — Karkov said. «Very, very extensively». «But».

Как и купюры, «смягчения» зачастую используются таким образом, что довольно существенно меняют общий смысл фрагмента текста. Ср., например:

«...One man who could keep his mouth shut could save the country if he believed he could».

...Хоть бы один человек нашелся, умеющий держать язык за зубами. Он мог бы спасти страну, если б только сам верил в это.

«Your friend Prieto can keep his mouth shut».

— Ваш друг Прието умеет держать язык за зубами.

«But he doesn't believe he can win. How can you win without belief in the people?»

— Но он не верит в то, что можно победить. А как победить без веры в народ?

«You decide that», — Karkov said.

— Вы правы, — сказал Карков.

«I am going to get a little sleep».

— Ну, я иду спать.

В оригинале, отвечая «You decide that», Карков дает собеседнику понять, что не желает продолжать разговор. Но поскольку, вероятно, пренебрежительное отношение к «вере в народ» было сочтено недопустимым, в переводе Карков сначала соглашается с собеседником и лишь потом завершает диалог.

Еще один адаптационный прием — особого рода «прояснения смысла», отчасти сродни известному в переводоведении приему экспликации. Специфика этого приема в том, что он используется не столько для объяснения потенциально непонят-

ных читателю мест, сколько для своеобразного идеологического «прояснения» некоторых моментов. В итоге смысл оригинала, порой достаточно неопределенный, заменяется на более однозначный. Ср.:

(Диалог Ансельмо и Джордана)

«I do not like to kill men».

— Я не люблю убивать людей.

«Nobody does except those who are disturbed in the head», — Robert Jordan said. «But I feel nothing against it when it is necessary. When it is for the cause».

— Этого никто не любит, разве те, у кого в голове неладно, — сказал Роберт Джордан. — Но я не против, когда это необходимо. Когда это надо ради общего дела.

(Диалог Джордана и цыгана Рафаэля)

«Kill him now», — the gypsy urged.

— Убей его сейчас, — настаивал цыган.

«That is to assassinate».

— Это будет убийство из-за угла.

«Even better», the gypsy said very softly. «Less danger. Go on. Kill him now».

— Тем лучше, — сказал цыган совсем тихо. — Риску меньше. Ну? Убей его.

«I cannot in that way. It is repugnant to me and it is not how one should act for the cause».

— Я так не могу. Это подло, а тем, кто борется за наше общее дело, подлость не к лицу.

(Размышления Джордана)

It would be ideal if she would kill him, or if the gypsy would (but he will not) or if the sentry, Agustinn would. Anselmo will if I ask it, though he says he is against all killing. He hates him, I believe, and believes in me as a representative of what he believes in.

Лучше всего было бы, если б она сама его убила, или цыган (только он не убьет), или часовой Агустин. Ансельмо сделает это, если я скажу, что так нужно, хоть он и говорит, что не любит убивать. По-моему, он ненавидит Пабло, а мне он доверяет и видит во мне представителя того дела, в которое верит.

Можно заметить, что приведенные примеры достаточно неоднородны. Так, во втором случае смысловое различие между переводом и оригиналом весьма ощутимо. Прежде всего, характерен перевод «the cause» словосочетанием «наше общее дело» (тем более в сочетании с глаголом «бороться»). Кроме того, показательна интерпретация «repugnant to me» в моральном ключе — как «подло» (что к тому же усиливается повтором: «подлость»). Все эти трансформации привносят в речь Джордана пафос, в целом ей несвойственную, и снимают характерный для стиля Хемингуэя эффект недосказанности. Таким образом, как

можно предположить, слова героя приводятся в соответствие со стереотипными представлениями об освободительной борьбе и связанными с этими представлениями речевыми клише.

В последнем примере, напротив, приращение смысла ощущается меньше (хотя и здесь, судя по всему, содержится отсылка к очень значимому для советской идеологии концепту «дела»). Вместе с тем, следует учитывать, что идеологические экспликации используются в тексте неоднократно. Апеллируя к распространенным представлениям об освободительной борьбе и «общем деле», они тем самым позволяют до некоторой степени адаптировать текст. Функция подобных экспликаций — не избавление от идеологически «чужого», а акцентирование (и отчасти привнесение) идеологически «близкого».

Наконец, помимо текстовых средств адаптации, важное значение придавалось такому внетекстовому приему, как вступительная статья, которую еще в 1962 году поручили подготовить К. Симонову, редактировавшему и перевод (о том, предполагалось ли сопроводить предисловием или послесловием публикацию романа в «Знамени», нам, к сожалению, ничего не известно). В деле, содержащем часть правки 1963 г., эта статья приводится в разных вариантах и с многочисленными исправлениями. В предисловии к третьему тому собрания сочинений Хемингуэя (включающему в себя не только «По ком звонит колокол») под названием «Испанская тема в творчестве Хемингуэя» воспроизведен, с некоторыми изменениями, тот же текст.

В предисловии Симонова, как и во многих советских предисловиях того времени, выдержан баланс между одобрением и критикой романа: с одной стороны, необходимо показать смысл его публикации, с другой — предостеречь читателя от «неверного» понимания. При этом акценты, судя по всему, расставлены довольно умело. Основным достоинством романа названа его антифашистская направленность, «непримиримая и действенная ненависть Хемингуэя к фашизму», и именно эту тему Симонов развивает особенно глубоко. Несомненно, такой ход (в целом достаточно распространенный, а в данном случае имеющий основание в самом тексте) был весьма удачным. Одновременно с этим Симонов рассматривает «заблуждения» и мировоззренческие противоречия как самого Хемингуэя, так и главного героя романа:

Роберт Джордан беззаветно сражается за дело народа, и в то же время в своих мыслях, думая о народе, революции, коммунизме, часто и многое судит со своих, не разделяемых нами позиций. Нет нужды проследить за всеми ходами мыслей Джордана и анализировать их противоречивость. Ибо противоре-

чивость — в самой сути его общественной личности и потому на всем протяжении романа не только психологически оправдана, но и логична.

В дальнейшем эта противоречивость неоднократно подчеркивается.

Как позволяют судить черновики предисловия, при подготовке издания 1963 г. от Симонова требовали еще большего усиления названных выше тенденций. Так, весьма показательное одно исправление (впрочем, так и не вошедшее в текст предисловия 1968 г.): «Рисуя сложную, противоречивую картину лагеря Республики и многое в этой картине рисуя ~~не таким, как это видим мы~~ очень субъективно, Хемингуэй [вставлено: однако] на протяжении всего романа никогда не выпускает из виду самого главного». Точно определить автора исправления, нам, к сожалению, не удалось, понятно лишь (из примечаний на полях), что принадлежит оно не Симонову. Характерно в данном случае, что более мягкое противопоставление разных точек зрения предлагается заменить на оппозицию «субъективное — объективное». Таким образом, авторской позиции противопоставляется не другая возможная точка зрения, но сама реальность и верный способ ее истолкования. Одновременно с усилением критической составляющей требовали увеличить и число «патриотических» пассажей. Показательно, например, следующее исправление: «Хемингуэй отдает должное героизму ~~русских~~ советских людей, участвовавших в борьбе испанского народа». Или другой пример: Симонов пишет о гибели сына Ибаррури под Сталинградом (приведем цитату по собранию сочинений):

Но в том «тихом месте», куда мальчиком приехал сын Ибаррури, он, едва перешагнув за двадцать лет, пошел в бой с тем же самым фашизмом, с которым воевала его мать, и сражался как герой и умер у стен Сталинграда за свободу России, за свободу Испании, за свободу всего человечества. Хемингуэй был исторически неправ в той сцене (сцене разговора партизан) своего романа, и сама история сказала потом об этом.

Как можно видеть, строки эти, во-первых, довольно патетичны, во-вторых, вполне «ясны» в идеологическом отношении. Тем не менее, комментатор на полях требует добавления: «Страна, куда приехал мальчик, была главной антифашистской силой». Одновременно те, кто правил статью, требовали убрать из предисловия пассаж Симонова о сталинских репрессиях, что в итоге и было сделано.

Отдельный интерес представляет соотношение предисловия и собственно текстовых способов адаптации. Соотношение это

весьма неоднозначно. Отчасти статья Симонова используется как альтернатива купированию: именно такую роль выполняет процитированный выше отрывок о сыне Ибаррури. Как свидетельствует уже приводившаяся выше записка отделов ЦК КПСС, объяснение в предисловии позволило сохранить в тексте один из разговоров партизан, нелестно отзывающихся о Долорес Ибаррури.

В других случаях в предисловии объясняются уже «адаптированные» эпизоды. Так, достаточно подробно Симонов пишет об эпизодах, связанных с отелем «Гэйлорд» и советскими участниками войны — эпизоды эти подверглись существенной адаптации. На некоторые из них мы смотрим глазами главного героя, при этом, как уже отмечалось выше, в предисловии подчеркивается уость его точки зрения. Таким образом, мировоззрение Джордана преподносится читателю как чуждое, но приемлемо чуждое.

Как можно заметить, различные адаптационные приемы применяются совокупно и в употреблении их можно проследить определенные тенденции, позволяющие говорить о целостной адаптации переводного текста и об особых стратегиях этой адаптации. Как нам представляется, стратегии эти на разных этапах подготовки текста были разными.

В редакции 1941 г. заметна тенденция к максимальному «идеологическому освоению» текста и, возможно, даже ориентация на соцреалистический канон. При подготовке текста к публикации последовательно и тщательно устраняется чуждое и подчеркивается (а порой и приносится) «свое». Подобный подход, вполне вероятно, связан с исторической ситуацией, когда любая «инаковость» могла быть истолкована как нелояльность и враждебность. Кроме того, надпись на архивном деле и сохранившаяся правка заставляют предположить, что адаптацией текста занимались непосредственно переводчики и редактор. Если это действительно так, то вполне понятно, что в существующих обстоятельствах они предпочли наиболее «безопасную» адаптационную стратегию: попытка провести в печать даже условно «неблагонадежные» эпизоды, вероятно, была бы сопряжена с большим риском.

Следует отметить, что, даже жертвуя значительной частью текста, переводчики стремились доступными способами передать его своеобразие. Об этом, в частности, свидетельствует приведенный выше пример с перенесенной в другую главу пейзажной зарисовкой. Кроме того, редакция 1941 г. весьма интересна в стилистическом отношении. Как ни парадоксально, именно в ней делается попытка передать некоторые существенные стилистические черты оригинала, которые в позднейшей, книжной, ре-

дакции будут заметно «сглажены». Так, в частности, на этом этапе работы над текстом переводчики пытаются хотя бы отчасти передать нарочитую «странность» текста, когда структура испанского языка, на котором говорят персонажи, воспроизводится средствами языка английского. См. характерное употребление «woman» вместо (и помимо) испанского «mujer», обозначающего одновременно женщину и жену (например, «woman of Pablo»). В редакции 1941 г. эта особенность сохранена (так, регулярно встречается, «женщина Пабло»), в позднейших редакциях она исчезает, и «woman» в подобных контекстах переводится как «жена» или же заменяется испанизмом. Прослеживается попытка передать и другие стилистические черты оригинала (те, которые будут утеряны в дальнейших редакциях). Подробно останавливаться на проблеме передачи такого рода стилистического своеобразия мы не будем — проблема «сглаживания» текста и его возможной идеологической составляющей весьма не проста и требует отдельного рассмотрения. Здесь же отметим только, что в редакции 1941 г. отчетливо прослеживаются две отчасти противоположные тенденции: тенденция к возможно большей адаптации текста и стремление к передаче своеобразия оригинала.

В редакции 1968 г. (как и в неопубликованной редакции 1963-го) стратегия адаптации принципиально иная. С одной стороны, в этом варианте сохранена значительно большая, чем в машинописи 1941 г., часть текста. С другой стороны, как мы показали выше, влияние идеологического фактора весьма ощутимо и в этом издании. При этом, как уже отмечалось, в предисловии Симонова подчеркивается противоречивость и субъективность взглядов как главного героя романа, так и самого Хемингуэя. Таким образом, «чуждое» в романе не устраняется полностью, а напротив, акцентируется. Вместе с тем, за счет текстовых адаптационных приемов достигается некая «приемлемая» степень этой чуждости. Эта установка на «приемлемую чуждость», при которой конструируется специфический образ «своего чуждого», и является, на наш взгляд, основной адаптационной стратегией в редакции 1968 г. При всем различии адаптационных стратегий и несопоставимости текстовых «потерь» и ранняя, и поздняя версии перевода позволяют говорить о том, что адаптация затрагивает не отдельные фрагменты текста, но весь текст как целое, подвергая его существенной трансформации.

У дверей гамбургского трибунала над переводчиком

Вячеслав Данилов



ВЯЗЬ философии с переводами наиболее болезненным образом переживается, наверное, только в одной стране мира, где даже тележурналисты (лучшие из них — с филологическим образованием) все 90 минут футбольного матча вместо игры команд готовы обсуждать особенности произношения фамилий игроков. Скандал о переводах — национальный вид интеллектуальной забавы, который наиболее ярко проявляется в трех направлениях человеческой деятельности: в литературе, спорте и философии. Поругаться из-за переводов: но вряд ли для того, чтобы познакомиться и стать друзьями, скорее, чтобы расстаться врагами навсегда.

Литературные скандалы о том, как лучше переводить «The Catcher in the Rye» — «Над пропастью во ржи» или «В овраге под пшеницей», или кто именно имеет право переводить сагу о Гарри Поттере, а кого нужно за «такой» перевод сослать в ГУЛАГ, встречаются часто, но ничто не сравнится с местной философией по накалу страстей и той готовности, с которой бросаются обсуждать «правильные переводы».

Уже давно не платят за переводы серьезные деньги, сама профессия переводчика все больше теряет статус, перевод давно уже — не форма эксклюзивного доступа к тексту, а часто — и к переводимому автору. Сегодня кажется, что все, в общем-то, уже выучили языки и не нуждаются в переводчиках, а утопия Александра Пятигорского о России без переводов вроде бы начинает сбываться. Но, тем не менее, жанр переводческого скандала не умирает и, кажется, будучи чуть ли не единственной формой консолидации местных интеллектуалов, рискует пережить всех нас.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ НОВЕЙШИХ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ СКАНДАЛОВ

Любой российский гуманитарий, а получивший философское образование в особенности, так или иначе соприкасается с миром переводов, неважно, пассивный он их потребитель или же активный производитель. Достаточно часто для того, чтобы иметь статус академического философа в России требуется наличие переводческих навыков и изданных переводов. Заниматься философией — не значит ли просто-напросто переводить? А вести философский диалог — не означает ли тогда всего лишь вступать в поле взаимоотношений относительно переводов? А потому не так уж и трудно неведомо для себя либо оказаться в эпицентре очередного скандала о переводах, либо стать его вольным или невольным свидетелем.

Многие из подобных скандалов не становились публичными, в особенности, если речь шла о неоплаченной работе переводчика или редактора или же об издании перевода вообще без редактуры или корректуры. Что-то публиковалось без прав, кто-то просто воровал переводы и издавал под своей или подставной фамилией — таких историй в философской академии вам могут рассказать много. Иногда о кипящих за воротами издательств страстях можно узнать лишь по незначительным сигналам, таким, например, как исчезновение имени научного редактора (Олега Аронсона) с титульного листа нового издания перевода книги Делёза о кино¹, которое вполне присутствовало в издании 2004 года. Лишь малая часть переводческих скандалов была вынесена на публику. И в основном это скандалы из-за того, из-за чего, в связи с вышеперечисленным, ругаться имело бы смысл в последнюю очередь — из-за «качества» переводов.

Примером такого непубличного скандала стала история с первым изданием «Логики смысла» Делёза на русском языке². Перевод книги свалился на читающую публику неожиданно — прежде всего для тех, кто, как тогда говорили, долго готовил это издание в другом переводе. Книге предъявили массу обвинений. В частности, утверждалось, что «Логика смысла» перевели с английского, а не французского, что переводчик вообще ничего не понял в переводимом материале, что понял — то перервал, а что не понял — то дал подстрочником. Отчасти эти — как оправданные, так и вымышленные — обвинения были сняты последующими переизданиями с коррекцией перевода (1998,

1. Делёз Жиль. Кино/Пер. с фр. Б. Скуратова. М.: Ad Marginem Press, 2012.

2. Он же. Логика смысла/Пер. с фр. Я. Свирского. М.: Академия, 1995.

2011). Как заявил в личном разговоре сам автор перевода, дискуссия о переводе книги исчерпала свой предмет. Но осадок все же остался.

Впрочем, переводческие скандалы, как правило, не имеют ничего общего с реальными проблемами качества переводов, а уж к проблемам «непереводимостей» и «идиом» тем более. Обычно они возникают тогда, когда нарушается чей-либо воображаемый копирайт на переводческую активность. Иногда за этим стоят различные финансовые интересы, порядки распределения грантов и тому подобное.

Типичным примером такого замешанного на деньгах скандала оказалась история с переводом одной важной книги Жака Деррида. В 1999 году Дмитрий Кралечкин, имевший на тот момент статус выпускника философского факультета МГУ, за несколько месяцев перевел — причем довольно прилично, хотя и не без огрехов, разумеется, — и опубликовал свой перевод «Письма и различия»³ быстрее, чем сразу трое авторитетных специалистов⁴, трудившихся над книгой несколько лет. Курьез состоял в том, что и московская (Кралечкин), и питерская (Лапицкий) публикация «Письма и различия» состоялась в двух разных издательствах... с одним и тем же названием — «Академический проект». Нетрудно понять обиду трех мэтров, которые готовили перевод культовой книги на средства грантов, ведь какой-то никому доселе не известный студент сделал все то же самое за, вероятно, меньший гонорар. Рынок переводов в случае с Деррида и Делёзом неожиданно раскрылся, и старым игрокам было необходимо что-то противопоставить демпингующим новичкам, не вступая в прямую конкуренцию.

Возможно, именно поэтому скандал не вышел быстро на страницы научной прессы, в отличие от некоторых других. На представительном круглом столе, где будут обсуждаться переводы Деррида⁵, перевод Кралечкина будет обойден молчанием так, как будто бы его и не было вовсе. А одному облеченному академическим статусом известному переводчику — Наталье Автономовой — достанет смелости обозвать московское издание «Письма и различия» «пиратским»⁶.

3. Деррида Ж. Письмо и различие/Пер. с фр. Дмитрия Кралечкина. М.: Академический проект, 2000.

4. Он же. Письмо и различие/Пер. с фр. А. Гараджи, В. Лапицкого, С. Фокина. СПб.: Академический проект, 2000.

5. Наш Деррида? (Анализ рецепции и стратегии перечтения) «Круглый стол» в редакции «НЛО» 22 ноября 2004 г. // Новое литературное обозрение. 2005. № 72.

6. Автономова Н. Урок письма // Там же. С. 101.

Впрочем, далеко не всегда за заботой о чистоте переводческих рядов грезится материальный интерес. Иногда речь идет и о моральной защите дисциплинарного копирайта. Пожалуй, самой нашумевшей за последние годы стала история с переводами понятия *proposition* в текстах англо-американских философов XX века. Дело «Ледников против Суровцева» имело серьезнейший резонанс, а письма с обвинениями и почти что эксплицитной лексикой публиковались в реферируемых журналах ВАКовского списка⁷. Душа профессионального философа науки и логика по образованию Евгения Ледникова не выдержала такого, с его точки зрения, издевательства над русским языком и логическим смыслом рассуждений Рассела, Рамсея и Куайна в переводах «Томской школы». (Ледников — Суровцеву: «Ваша научная нечистоплотность, г-н Суровцев, становится очевидной любому непредвзятому читателю»; «Г-н Суровцев! Во-первых, перестаньте врать! Не надейтесь, что вам удастся долго вводить в заблуждение философское сообщество по поводу уровня вашей квалификации»⁸). Однако борьбой на публичном фронте Евгений Ледников не ограничился. Скандал о переводах плавно перетек в борьбу «с филологами», которые не только «неправильно переводят» аналитиков, но и «неверно трактуют» их учение. Пострадавшей стороной оказались «филологи» Максим Лебедев и Алексей Черняк, выпустившие к тому моменту монографию в аналитическом стиле⁹. Ледников сделал все, чтобы Максим Лебедев не смог защитить докторскую диссертацию. Но все-таки не совсем всё.

История этого конфликта показательна для демонстрации реального той переводоведческой метафизики, которая скрывается обычно за высокопарными рассуждениями о просветительской миссии. «Логики» (разумеется, в рядах «логиков» были не только профессиональные специалисты) уличили «филологов» (хотя в их рядах собственно филологов не так уж и много) в том, что те игнорируют сложившуюся практику переводов ключевых понятий. Но умалчивалось то, что эта практика сложилась в довольно узком дисциплинарном пространстве, как и то, что с тех пор данное пространство существенно деформировалось под влиянием новых работ, которые «логики» то ли не могли, то ли не хотели переводить на русский.

7. См., напр.: Логос. 2003. № 2 (37); Вопросы философии. 2000. № 7 и 2001. № 12.

8. Ледников Е. О стиле ведения полемики г-ном Суровцевым В. А. // Логос. 2003. № 2 (37). С. 159.

9. Лебедев М., Черняк А. Онтологические проблемы референции. М.: Праксис, 2001.

Поле, где реализуются усилия переводчика, никогда не нейтрально. Оно уже заранее расчерчено силовыми линиями персональных интересов и институциональных инвестиций, которые находятся в конфликтном, но все-таки поддерживающемся балансе. Причем баланс символического поля достигается не за счет уравнивания интересов, компромиссов, разделения сфер влияния и подвижного консенсуса, то есть всего того, что определяет стандартную публичность. Наоборот, речь идет о контроле всего поля целиком, всего пространства интеллектуальных инвестиций и символических игр. Новому участнику рынка переводов предлагается принять определенные правила игры, которые могут быть сколь угодно запутанными и невротичными. Предполагается, что эти правила не взялись откуда-то с небес, но являются продуктом серьезной школы, где для определенных текстов и авторов выработан способ их ретрансляции. В него входит не только система правильных переводов терминов — это лишь верхняя часть айсберга, уходящего во внутри-институциональные глубины и тусовочные тайны.

Перевод профессиональной литературы — это не просто техника автозамены терминов, иначе с нею бы справился Google Translate или... любой литературный переводчик. Но последние игнорируют пространство смысла, которое может быть развернуто лишь благодаря «традиции» (даже если такой еще нет). В то же время институционализируемая профессиональная группа или, если проще, традиция перевода имеют свои отношения с источником, переводя их в режим интимности. Так что новичку остается лишь смотреть через щелку на «первичную сцену» перевода, не понимая, что же именно там творится, и волнуясь, не пора ли звонить в милицию. В этом смысле любой внешний для структурированного поля агент оказывается в незавидном положении. Его усилия в работе над продуктом, каким бы качеством он ни обладал, ни за что не получают признания, поскольку литературный перевод, если переводчик не был подключен к «традиции перевода», всегда заведомо окажется в проигрыше, ведь такой переводчик попросту «не понимает» того, что видит в тексте, он буквально смотрит на него *невооруженным* глазом. Подобные переводы навсегда останутся «детскими», продуктами интеллектуальной мастурбации. Ведь у переводчика-«ребенка» нет никакого доступа к телу «источника», каким бы тот ни был (либо он не может распознать в источнике источник). *Источник* может быть похож на кого угодно и что угодно — на автора, на событие (какой-нибудь «великий семинар» в Дубровнике), на место или отрезок времени, маркируемый поколенчески, на институт (ИИЕТ или ИМРД), на кафедру или сектор, на группу друзей. В конечном итоге источник уни-

кален, а «традиция перевода» — это способ сохранить его уникальную природу и не допустить к нему всяких «хулиганов», которые буквально готовы «лишить зрения» — средства верного чтения и понимания источника.

Описанный случай — один из тех, когда «хулиганами» объявляются выходцы из иного дисциплинарного лагеря. Схожий случай произошел с изданием книги Эрвина Гофмана «Ритуал взаимодействия». Здесь социологи и психологи не смогли «поделить» важного автора. В результате дискуссии с различными рецензентами от грантодателей издание перевода этой книги тянулось с 1999 года¹⁰. В этой дискуссии отразилось множество идеологических алиби, которые академические полицейские эксплуатируют при защите своих воображаемых прав. Здесь и ссылки на традицию перевода Гофмана, которой к 1999 году еще толком не возникло, претензии к «качеству» перевода, разговоры о том, что перевод не должен быть «подстрочником» и — наоборот! — претензии к тому, что он «слишком вольный», и даже удивительные требования учесть взгляд иной научной дисциплины на автора, который посредством данного перевода будет «наконец-то» представлен публике.

Однако описанный выше кейс сделал свое дело — монополия логиков на перевод, издание и интерпретацию текстов аналитической философии, в отношении которых они вели себя как собака на сене, была если не разрушена, то всерьез поколеблена. Забавно, но в удержании дисциплинарного копирайта были заинтересованы зачастую далеко не только носители титульного дисциплинарного этоса. Для примера: разгром уже вышеупомянутым Валерием Суровцевым уличенных в «логической безграмотности» переводов Витгенштейна¹¹, которые были выполнены Вадимом Рудневым в конце 90-х.

Переводческие скандалы вокруг неожиданно ставшей снова модной в 2000-е годы фигуры Фридриха Ницше демонстрируют обе традиционные составляющие: и материальный интерес, и «не могу молчать», которое скрывает обыкновенно претензии на корпоративный копирайт. Талантливый и злой рецензент Игорь Чубаров (ИФ РАН) успел здорово отметить в конфликте с Владимиром Мироновым (МГИМО), спродюсировавшим еще один «нелегальный» перевод и издание Ницше¹². (Чуба-

10. См. подробнее: Леонтьев Д. А., Богомолова Н. Н., Трубицына Л. В. Как переводить Эрвина Гофмана: история этой книги/Гофман Э. Ритуал взаимодействия. Очерки поведения лицом к лицу. М.: Смысл, 2009.

11. Суровцев В. А. Божественный Людвиг? Бедный Людвиг// Логос. 1999. № 2.

12. Ницше Ф. Воля к власти/Пер. с нем. Е. Герцк и др. Сост. и общ. ред. В. Миронова. М.: Культурная революция, 2005.

ров — Миронову: «ницшевед-энтузиаст», «экстремальный политолог», «...причитает т. Миронов», «новоявленный дерессентиментор» и т. д.; Миронов — Чубарову, угрожающе: «...философ Чубаров рискует остаться без работы»; «Нам, в отличие от нашего рецензента, неизвестно, любит ли Б. А. Березовский заглядывать в ницшеанские „бездны“, но приватизация в постсоветской России была проведена вполне по-ницшеански»¹³).

Чуть более поздний случай обсуждения переводов Ницше не таков. Хотя о причинах, которые послужили поводом для атаки уральским профессором философии Александром Перцевым классических для советского читателя переводов Ницше в исполнении армяно-немецкого мыслителя Карена Свасьяна, также остается лишь догадываться (Перцев — Свасьяну: «Переводчиков Ницше следует делить на русских и Свасьяна»¹⁴). Однако последовавший обмен репликами благодаря усилиям участников все-таки приблизился именно к стандартам академической дискуссии, а не к практике коммунальных выяснений отношений, хотя без перца не обошлось и тут (Эбаноидзе — Перцеву: «Перцев озвучил все „пацанские“ ассоциации не хуже эстрадного юмориста»¹⁵; Свасьян — Перцеву: «Я бы поостерегся сказать, к чему еще, кроме философии, нельзя подпускать Перцева»¹⁶).

На фоне этих громких и относительно недавних историй почти забывается вялотекущая тяжба о бибахинских переводах Хайдеггера, вопрос права на издание переводов Гуссерля, как и вообще права говорить о таких мэтрах без лишних придыханий и прочей диакритики, а ведь этим темам «Логос» отводил гигантские площади еще в ранних «толстых» номерах. Сегодня уже трудно без ностальгической улыбки читать пространные рассуждения их участников об «удивительном языке хайдеггеровской мысли»¹⁷.

Вероятно, материалы переводческих скандалов могли бы стать хорошим предметом для социолога науки, анализирующего девиации дискурса российских гуманитариев. В особенности интерес могли бы представлять техники публичного оскорбления коллег по цеху — это, согласитесь, большое искусство — написать статью так, чтобы и в рецензируемом журнале опубликовали, и чтобы адресат ее был всерьез обижен. Оскор-

13. По поводу нового издания «Воли к власти» Фридриха Ницше// Критическая масса. 2005. № 3–4.

14. Перцев А. В. О русских и русскоязычных переводчиках// Хора. 2008. № 3.

15. Эбаноидзе И. Ницше — между переводом и интерпретацией// Пушкин. Русский журнал о книгах. 2009. № 2.

16. Свасьян К. Перцев и Ницше// Там же.

17. Философия М. Хайдеггера: Круглый стол. Участники: В. Бибахин, В. Подорога, В. Молчанов, В. Малахов и др. // Логос. 1991. № 2.

бить и унижить — но остаться в рамках приличий — нетривиальная задача. Возможно, показательной будет дискуссия между Андреем Олейниковым и Мариной Кукарцевой о переводах голландского философа истории Фрэнка Анкерсмита. (Олейников — Кукарцевой: «Жаль, что столь „сверхъестественные“ напасти обрушились на такую хорошую книгу»¹⁸. Кукарцева — Олейникову: «Рецензия, написанная Андреем Олейниковым, есть неосмысленное соединение бездоказательных заявлений, глупых претензий на монополию в понимании, переводе и интерпретации идей Франклина Анкерсмита и безудержного самолюбования»¹⁹).

Но все это — кейсы, где между дискутирующими есть время и пространство письма, тогда как, к примеру, в случае с обсуждением перевода книги Делёза «Складка»²⁰ известный филолог и пропагандист постструктурализма Сергей Зенкин столкнулся с критиками лицом к лицу. Но даже непосредственное присутствие коллеги по цеху не слишком-то позволило удержаться в рамках академических приличий (Зенкин — Сабуртало: «Поскольку я по квалификации филолог, то меня Григорий Сабуртало заранее записал в кастраторы, так что я теперь должен соответствовать...»). Иначе бы не пришлось непрерывно «обнулять» ситуацию диалога риторикой о взаимном уважении, напоминающей стилистически беседы подвыпивших мужчин (Скуратов — Зенкину: «Я берусь найти ошибки разного плана даже в переводах уважаемого мной специалиста экстракласса С. Н. Зенкина». Вопрос: зачем?²¹). На том же мероприятии, консенсус все-таки был найден в образе очередных врагов — «нелегитимных» переводчиков Мишеля Фуко Светланы Табачниковой, Андрея Пузыря и Сергея Фокина из Петербурга, штампующего переводы- (якобы) подстрочники французских постмодернистов.

У большинства состоявшихся переводческих скандалов есть одна интересная особенность — они завершились ничем²². Дис-

18. Неприкосновенный запас. 2004. № 4 (36).

19. Неприкосновенный запас. 2004. № 6 (38).

20. Делёз Ж. Складка. Лейбниц и барокко/Пер с фр. Б. М. Скуратова. М.: Логос, 1997.

21. Круглый стол в секторе аналитической антропологии ИФ РАН: Русские переводы Ж. Делёза, Ф. Гваттари, М. Фуко, Ж. Батая и др. Участники: В. А. Подорога, М. К. Рыклин, С. Н. Зенкин, Н. Б. Маньковская и др. // Логос. 1999. № 2.

22. Кроме, разве что, одной забавной подробности. Многие из раскритикованных переводов впоследствии переиздавались, причем неоднократно. Перевод Вадимом Рудневым «Винни-Пуха» был переиздан четыре раза (1994, 1996, 2001, 2010). Перевод Дмитрием Кралечкиным «Письма и различия» Деррида — два раза. Перевод Яковом Свирским «Логика смыс-

куссия, если ее так можно назвать, спускается обратно ко дну, где постороннему не видна подводная часть айсберга институциональных разборок, межгрупповых конфликтов и персональных амбиций. Но если полагать, что публичные проявления активности интеллектуалов обладают презумпцией на титульные квалификации, то можно, почти не боясь ошибиться, утверждать, что все происходящее в отечественной философии сегодня — это лишь продолжение войны переводов другими средствами. Вопрос лишь в том, является ли такая война чем-то, что определяет «идиом» национальной философии, или же у нее есть еще что-то «непереводимое»?

ЭТО ФИЛОСОФИЯ, ДЕТОЧКА, ЗДЕСЬ МОЖНО ВСЕ

Возможно, каждый уважающий себя российский интеллектуал обязан выпустить хотя бы один номер «Логоса». Номер 5/6 за 2011 год поручили сделать одному из самых продуктивных и одновременно обижаемых переводчиков французских постструктуралистов — Сергею Фокину. На рубеже 1990-х — 2000-х состоялось немало разнообразных «товарищеских судов» над переводчиками, их стенограммы любезно публиковали интеллектуальные журналы. На «стороне добра» обычно выступали самозванные держатели виртуального копирайта на импорт текстов, на «стороне зла» — самозванные нелегализованные контрабандисты, в числе которых временами оказывался и Фокин. Так случилось, что большую часть критики переводы Фокина получали от вполне определенной группы столичных интеллектуалов, оформившейся внутри и вокруг сектора аналитической антропологии ИФ РАН и ее лидера — Валерия Подороги. В номере «Логоса» Сергей Фокин получил шанс нанести ответный удар от «пиратской империи» и выразить свою личную позицию, которая на подобных судилищах звучала редко. Ибо суд этот, Гамбургский трибунал по вопросам перевода, готов был заседать не только в отсутствие адвокатов, но и в отсутствие подсудимых. Часто имена этих подсудимых даже не озвучивались, но имелись в виду.

ла» Делёза — четыре раза. Книги аналитических философов, переведенные «Томской школой» также впоследствии были переизданы. Нужно отметить, что и как в случае переиздания «Кино» Жюль Делёза, в переводы часто необходимые или желательные исправления не вносились. Впрочем, это нужно оставить на совесть издателей. В сухом остатке: если ваш перевод раскритикован, то не отчаивайтесь, ждите его переиздания в том же самом виде!

И шансом этим Сергей Фокин сумел воспользоваться. В статье «Перевод как незадача русской философии: Шестов. Бахтин. Подорога... Пушкин» он обвиняет Подорогу в... невнимании к проблемам перевода. Когда «русский мыслитель лоб в лоб сталкивается с проблемой перевода», то «делает вид, что не видит этой проблемы, что это не его проблема, что перевод — не задача философа, который озадачен исключительно истиной»²³. Претензии Сергей Фокин предъявляет к «неверному переводу» известного фрейдовского *Das Unheimliche* (принятый перевод — «жуткое») в качестве «чуждого» в первом томе «Мимесиса»²⁴ Валерия Подороги. Какая страшная ошибка! На основе этого примера Фокин не делает, но явно подразумевает вывод о том, что вся философия Подороги (как и, возможно, его круга) — это просто ошибочный перевод западной (и уже — французской) философии. Тезис не новый и весьма распространенный внутри философской академии по ту сторону дверей сектора аналитической антропологии.

Впрочем, ничего страшного в этом тезисе нет. В своей риторической ипостаси он приписывает Подорогу к традиции русского и советского философского просвещения, которое, разумеется, было исключительно «переводным», то есть состояло в переводах с Запада. Со стороны этической, данный тезис также нейтрален, поскольку известно, как в отечественной философской классике принято работать с западными источниками.

Сергей Фокин пытается «взять в клещи» философскую работу Подороги. С одной стороны теоретическое движение Подороги обвиняется в волюнтаризме — неправомерном применении «западных технологий», на основе которых строится некое «лжетолкование», с другой — в формализме, отсутствии «трепетного чувства в отношении языка». Работа Подороги в такой перспективе оказывается дважды ошибочной, причем неважно, что обвинения не когерентны. Куда интереснее то, что прямой ответ на любое из них немедленно помещает обвиняемого в ловушку другого.

Эта «дилемма переводчика» — он либо «все списал», представил подстрочник, либо «все придумал», подменил источник — выполняется на любом массиве философской работы. Структура критикуемой работы постоянно удерживается на периферии двойной претензии «все списал/все придумал», которая, с одной стороны, позволяет говорить о «вечно тупом переводчике»,

23. Фокин С. Перевод как незадача русской философии: Шестов, Бахтин, Подорога... Пушкин// Логос. 2011. № 5–6 (84). С. 227.

24. Подорога В. Мимесис. Материалы по аналитической антропологии литературы. М.: Культурная революция; Логос; Logos-altera, 2006. Т. 1.

но с другой — оставляет поле смысла открытым, куда врывается вся мощь философской интерпретации. Нечто подобное произошло с «Лекциями о Прусте»²⁵ Мераба Мамардашвили, имеющими очевидные параллели с книгой Делёза «Пруст и знаки». Михаилу Рыклину в свое время удалось спровоцировать скандал, когда его доклад на одной из конференций, посвященных памяти Мамардашвили²⁶, в котором указанные параллели отмечались, стал откровением для людей, считавших себя специалистами по творчеству философа. Тезис Рыклина был неверно понят. Дескать, он утверждал, что Мамардашвили просто «плохо перевел Делёза». И это непонимание вполне симптоматично. Провокация, которую (возможно неосознанно) организовал Рыклин, подрывала культ «одинокого философа», артикулируя одну из позиций «дилеммы переводчика» — если уж Мамардашвили не «все придумал сам», то, очевидно, он «все списал», что лишь подтверждается сокрытием реального «источника» «перевода» или «списывания».

Наличие параллелей, как и тот факт, что Мамардашвили практически нигде не упоминает Делёза, несколько не умаляет ценности его философской работы. Но, с другой стороны, не является ли «Психологическая топология пути» Мамардашвили настоящим *переводом* книги «Пруст и знаки» Делёза? И если это действительно так, если в нем выполнены все требования к переводу, в частности о «рождении текста в другом языке и культуре» и «внимательном чувстве языка», то тогда чем являются многочисленные тексты — продукты переводческой активности — подписанные не именами переводчиков, а именами переводимых авторов?

Возьмем другой случай. Вот фрагмент текста одного из семинаров Валерия Подороги:

Вечные объекты вечны и неизменны, но, чтобы извлечь их и использовать в своих целях, нам необходимо испытывать аффекты, в том числе и аффект от-вращения, отвращения к тем или к тому, что делает эти объекты своей собственностью и как бы говорит, что они могут быть представлены во всей своей полноте только таким образом, но не иным... Кстати, под аффектом я буду понимать высвобождение симпатической системы организма от парасимпатических эмоциональных нагрузок. Кража вечных объектов — она не прекращается. От-вращение — это тоже вид кражи, присваивание себе вечного объекта с помощью определенных визуальных приемов и техник. Отвращение позволяет

25. Мамардашвили М. Лекции о Прусте (психологическая топология пути). М.: Ad Marginem, 1995.

26. Рыклин М. Стратегии паука// Произведенное и названное. М.: Ad Marginem, 1998.

нам не только обнаружить отвращаемое, но и ввести его в собственный опыт переживаний, хотя и со знаком минус, но как существующее положение дел. Мы от-вращаемся, а это значит, что обычно наша эмоциональная жизнь идет степенно и сбалансированно по часовой стрелке, мы вращаемся, отвращение — это попытка избежать не столько самого от-вратительного объекта, сколько от-вратиться от него, покинуть эту сферу «вращения», совершить некий скачок в сторону от порядка вращения, вызывающего отвращение. И этот скачок приносит нам другой эмоциональный строй, но на той же волне энергии, совращение. Мы позволяем совратить себя отвратительному объекту, так как мы уже вышли из поля того вращения, что неизбежно вызывает в нас чувство отвращения²⁷.

А вот фрагмент одного из переводов, выполненных Сергеем Фокиным:

Преобразование символов в метафоры и аллегории. Символ — это конкретная космическая сила. Народное сознание, даже в Апокалипсисе, хранит некое чувство символа, обожая при этом грубую Власть. А ведь сколь велико различие между космической силой и идеей верховной власти... Лоуренс набрасывает поочередно некоторые черты символа. Это динамический процесс, направленный на расширение, углубление, растяжение чувственного сознания, это все более и более сознательное становление, противостоящее замкнутости морального сознания на навязчивой аллегорической идее. Это метода Аффекта, интенсивная, кумулятивная интенсивность, которая лишь отмечает порог какого-нибудь ощущения, пробуждение какого-нибудь состояния сознания: символ ничего не обозначает, его, в отличие от рассудочной аллегории, не надо ни объяснять, ни растолковывать. Это вращающаяся мысль, в которой, в противоположность линейной аллегорической цепи, группа образов все быстрее и быстрее вращается вокруг какой-то таинственной точки²⁸.

Совпадения или, если угодно, параллели, видны невооруженным глазом. Разумеется, текст доклада Подороги не является столь «адамичным», каким он мог казаться художникам, участвовавшим в семинаре. И хотя прямых отсылок к Делёзу там нет, есть основания говорить о том, что эти работы связаны скрытой полемикой, возможно даже общей генеалогией, поддающейся восстановлению. Впрочем, возможно, это просто совпадение. Или все-таки — это своего рода *перевод* Подорогой Делёза, вы-

27. Мастерская визуальной антропологии. 1993–1994. М.: Художественный журнал. 2000. С. 47.

28. Делёз Ж. Критика и клиника/Пер. с фр. С. Фокина. СПб.: MACHINA, 2002. С. 69–70.

полненный в определенных обстоятельствах и преследующий собственные цели?

Обвиняя Подорогу в невнимании к проблеме перевода, Сергей Фокин наносит слабый удар. Он вроде бы бьет прямо по цели — в техническое ядро интерпретации, некий «сгиб» от Фрейда к Гоголю, который выполняет Подорога. Но Фокин, видимо, не понимает, что этот интерпретативный ход — и есть та философская ставка, которую делает Подорога. За счет применения подобного методического приема, который профессиональному переводчику видится в тексте профессионального философа как переводческая ошибка, выполняется важная работа — резонанс перспектив, который позволяет заново прочитать Гоголя (и, возможно, Фрейда) и не только прочитать, но построить машину чтений Гоголя, изнутри которых можно порождать различные новые интерпретации. В «переводческой ошибке» «жуткое/чуждое» нет речи о переводе, это вообще никакой не «перевод». Подорога изымает у Фрейда модель описания аффекта для переноса в другое место и другое время — из летней Италии в зимнюю Малороссию. И нельзя сказать, что этот ход Подороги запрещен или непродуктивен. Тем не менее, у Фокина существуют возможности для нанесения вполне реального удара по позициям «аналитической антропологии». И связаны они именно что с проблемами перевода. Но никак не с подобными найденным Сергеем Фокиным «ошибками».

К исследовательской программе аналитической антропологии, в той форме, в которой она была частью заявлена, а частью — реализована, вероятно, можно было бы предъявить достаточно вопросов, если поместить ее в фокус подозрения. Не слишком ли она порой неотличима от герменевтики с ее нормативным требованием верной интерпретации, абстракции единства произведения, репрессивными стратегиями привилегированного доступа к архиву или спецхрану, а также к телу и голосу? Является ли сокрытие источников необходимым условием проекта аналитической антропологии? Насколько фигура окруженного учениками, но все-таки одинокого мыслителя, позиция мэтра, коррелятивна фигуре привилегированного читателя, который заперт в библиотеке больших произведений с галереей бюстов великих авторов? Определены ли границы ее применения лишь такими большими произведениями? Каким образом осуществляется селекция объектов аналитической антропологии и кто (и на каком основании) имеет право на авторство? Как технологии медленного чтения связаны с переводческими практиками? Как запрет на интертекстуальное чтение, крайне значимый для аналитической антропологии, соотносится с академической практикой авторской специали-

зации? И, наконец, является ли аналитическая антропология в той мере, в какой она озабочена феноменологией чтения, еще и дериватом определенных институциональных практик, определивших лицо нынешней отечественной философии в ее публичном представлении? В том числе в отношении политик чтения и стратегий производства переводов.

ПЕРЕВОДЫ: слишком много и слишком мало

Существует расхожее определение советской и вообще русской философии как затянувшегося до бесконечности введения в философию. Если это действительно так, то воображаемый курс такой философии введения в философию мог бы состоять из двух томов. Первый том — введение в философию, второй — хрестоматия к нему. Тогда проблема перевода — это проблема наполнения такой хрестоматии. Задача же местных философов — за счет ресурсов импортозамещения насытить первый том «дженериками» западной мысли и заодно проконтролировать работу переводчиков.

Этот вечный «двухтомник» определяет и политики чтения, и политики философского письма. До определенного момента «двухтомником» ограничивает все, что необходимо прочитать. Этот набор значащих текстов не запрещает обращение к другим источникам, но прочитаны они могут быть — то есть после чтения обрести свои следы изнутри «двухтомника» — лишь в горизонте, обозначенном базовым набором. Далее же все, что будет произведено в качестве собственно местной философии, либо будет отобрано в двухтомник, либо исчезнет.

Поскольку перевод — это работа на просвещение, а не простая трансляция на русский каких-то текстов, то вниманию и контролю подвергается лишь небольшая часть переводов. Остальные имеют почти исключительно «колониальное» значение — они служат для «знакомства» с некоторыми содержаниями. Перевод — «это очень важно». Нельзя давать переводить кому попало, нельзя доверять «несертифицированным» переводчикам. В противном случае может случиться хаос.

Подобный кошмар описала Дина Хапаева, автор симптоматичной книги «Герцоги республики в эпоху переводов». Она жалуется вслед за Ароном Гуревичем на то, что переводов вышло за 90-е и начало 2000-х слишком много (!)²⁹. Что перево-

29. Хапаева Д. Герцоги республики в эпоху переводов. М.: НЛО. 2005. С. 104.

ды «не осмысляются» и часто издаются без предисловия редактора и послесловия переводчика — этих необходимых реверансов советской культуры перевода — это только часть проблемы. Куда важнее, что нет никакой программы переводов и нет «специально обученных людей», то есть профессионалов, которым можно такую программу доверить. Весь этот ужас дополняется эпической картиной «растерянности перед огромным количеством переведенных книг», которая, скорее, является проекцией отчаяния тех самых «профессионалов» при виде полок книжного, качественное и количественное заполнение которых они уже не в состоянии контролировать.

Впрочем, не все переводы имеет смысл ставить под контроль, но лишь те, которые все еще обладают «просвещенческим потенциалом», могут попасть в «хрестоматию». Существует определенная группа текстов, которые цитируются и обсуждаются. Выбор их часто определяется случаем, но стоять за этим текстом обязательно должна фигура большого автора. В результате практика бесконечного введения в философию в случае включения западных текстов в местный оборот приобрела особые характеристики, скрытые для большинства участников процесса и приводящие к неоднозначным последствиям. Из забавного: переводчик и комментатор небольшого текста может стать академической знаменитостью, как это случилось с Алексеем Гараджой в связи с его переводами статей Деррида, опубликованными в начале 90-х. Тогда как переводчик большой и значимой работы будет оставаться в тени, и более того, на цитирование перевода может быть наложено негласное вето (как вышло с переводом «Письма и различия» Кралечкина), что означает, что текст работы вообще не будет «читаться», по крайней мере, «в знающих кругах» (чтение произвольной публики, например, студентов, в данной диспозиции никого не интересует). Именно из-за подобных вещей происходят анекдотичные казусы, когда, например, достаточно маргинальный текст крупного западного автора воспроизводится в курсах, обильно цитируется и читается как чуть ли не центральный, о чем сам автор потом с удивлением узнает.

А вот классику может переводить любой, если только классика вдруг не стала актуальной в связи, например, с выходом новой книги большого автора или общим смещением поля академического интереса. В такой ситуации необходимо возвращать контроль. Очевидно, что новейшие переводы и пере-переводы Вальтера Беньямина³⁰ появились по-русски не в связи с непо-

30. См.: Беньямин В. Улица с односторонним движением/Пер. с нем. И. Болдырева. М.: Ad Marginem Press, 2012.; Он же. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения/Пер. с нем. колл. перев. М.: РГГУ, 2012.

средственным интересом к этому автору и не в связи с необходимостью «заполнить лакуну», но в результате появившегося запроса из модных областей — левой критики, урбанистики, культурной географии, появления новых модных авторов вроде Джорджо Агамбена или авторов, выведенных из-под цензуры, вроде Карла Шмитта. Забавно, что инициативу по переводу и изданию Беньямина у тех, кто непосредственно занимался им в силу академической специализации, перехватил своеобразный кооператив переводчиков, частично включив этих людей в свой состав, частично исключив, подчиняясь стадному инстинкту и следуя за интеллектуальной модой, далее ее же транслируя. Перевод Беньямина позволяет захватить культурный плацдарм, откуда затем осуществлять набег на сопредельные территории и собирать дань с тех, кто на этих территориях поселился.

Таким образом, перевод приобретает второе политическое измерение — на этот раз реальное, алибизацией которого выступает забота о просвещении публики и пополнении «хрестоматии». Теперь переводы не производятся ради самих себя или ради благих намерений. На такие переводы, пусть они сколь угодно хорошо оплачены, налагается своеобразный запрет — не их производства и издания, а тиражирования в ссылках и обсуждениях. Настоящий перевод производится в результате смещения экспансионистского фокуса локальной интеллектуальной группы. По новым переводным книгам — как по бакенам — можно судить о том, куда перемещается фарватер исследовательского или, если угодно, захватнического интереса доминирующих интеллектуальных групп. Одновременно происходит переоформление границ таких групп — включение новых членов, перевод старых в запас. Однако внутренняя конкуренция ограниченного числа интеллектуалов никак не влияет на политики доступа к «хрестоматии». Она по-прежнему остается под их общим контролем и определяет горизонт публичного присутствия «сертифицированной» философии, как и политики переводов.

КОЛЛЕКЦИЯ И СПЕЦХРАН

У «хрестоматии», впрочем, есть и иное название — коллекция. Некогда одно из ключевых понятий, наряду с большим автором, программы аналитической антропологии, тезисы которой были изложены в известном интервью главному редактору издательства Ad Marginem Александру Иванову Валерием Подорогой и Михаилом Ямпольским. Это коллекция разнообразных приемов письма, представленных, разумеется, текстами. Коллекция

предполагает быть весьма либеральной, составленной из различных предметов-текстов, ведь ее задача — вывести на первый план то, что было маргинализированно доминирующими тоталитарными практиками и должно бросить вызов «языку пост-тоталитарного общества»³¹. Однако коллекция также «делает попытку выделить свою нормативность, указав на разрыв, существующий между западной традицией»³² и собственно Россией. Эта «нормативность» коллекции, очевидно, победила другую задачу, обозначенную в программном интервью, а именно — «отразить в своих изданиях... процесс становления других, краевых мыслительных практик»³³. Когда незадачливый издатель Иванов на самом деле приступил к публикации «других мыслительных практик», вроде романов Александра Проханова, ему немедленно предъявили повестку в трибунал³⁴.

Коллекционирование — не невинное занятие. Это колониальная, по сути, практика, а в контексте российского просвещения ее воспроизводство выглядит угрюмо автореферентным. Но сейчас важно другое: коллекционирование имеет непосредственную связь с техниками перевода и репрезентации в России текстов западной философии. Первое условие перевода и условие коллекционирования одно и то же — нейтрализация. Текст становится объектом, он изымается из естественной коммуникативной среды, переносится в среду с радикально иной природой. Из философских джунглей он переводится в музейфицированное пространство таможенного контроля и ограниченного доступа, превращаясь в источник, или произведение (другой крайне значимый для аналитической антропологии термин). Далее произведение подвергается аналитической обработке. Как таковой, текст-объект становится предметом текстурно-топологического анализа, конечным продуктом которого является собственно перевод, каким он должен быть. В процедуре анализа/перевода реконструируются условия чтения — телесные антропологические конфигурации, заключенные в текстах текста-объекта. Задача переводчика — сохранить эту текстуру насколько можно, чтобы уже на ее основании воспроизводить текст в пространстве русскоязычной культуры.

В целом, задача такого перевода долгая и в полном объеме, скорее всего, не реализуемая. Но ее выполнение облегчают не-

сколько факторов. Первый — редукция текста к речевым практикам. Необходимо наблюдать работу текста с телом, чтобы реконструировать затем те же конвульсии в другой среде. В связи с этим важно второе — непосредственный контакт с автором. И дело вовсе не в том, что автору приписывается право первой ночи со своими текстами. Автор как автор не обладает привилегией на интерпретацию своего текста, но необходим автор-тело, то есть даже не живой автор, не его имманентный персонаж в тексте, но некая телесная стратегия, благодаря которой может быть ясна фигура идеального читателя такого текста. Неважно какая, быть может, сам бог. Третий фактор — стать другом, не столько автора, сколько его воображаемого идеального читателя, если не самим таким читателем. Забавно поэтому наблюдать, как отечественные специалисты по западной философии привычно называют своих контрагентов друзьями.

Эти политики дружбы не отличаются дружелюбием. Ключевой пункт этих политик дружбы — ограничение доступа. Коллекция обращается тем, чем она исходно и была — спецхраном. Местом, где как концы в воду прячутся ссылки. Территорией ограниченного доступа для интеллектуальных элит.

Было бы интересно проследить, когда и каким образом начинает функционировать этот «спецхран». Ответ на этот вопрос мог бы, возможно, дать документальный фильм-исследование Александра Архангельского «Отдел», посвященный формированию шестидесятнических академических элит, если бы автор фильма не был чересчур очарован их нескромным обаянием. Продукция западных интеллектуалов оседала осадками на железном занавесе, с которого бережливые руки институтских сотрудников собирали ее в некий корпус недоступного, но желанного знания. И оттуда же организовывались его разнообразные утечки — в виде ли дефицитных инициативных сборников, тайных ксероксов, переводов или авторских текстов, скрывавших свое происхождение, но по сути осененных лучами Солнца, всходящего на Западе. Практически вся интеллектуальная жизнь была организована вокруг этих утечек. Сегодня можно услышать ностальгические жалобы людей, чьи читательские привычки сформировались в период дефицитного чтения — мол, нет более единого поля мысли, поскольку книг выходит слишком много, не то, что раньше, когда перевод небольшой статьи известного автора превращался в целое событие, обсуждавшееся месяцами.

Спецхран — это не буферная зона, порожденная политикой цензуры, разрушив которую можно получить академическую свободу. Это институт просвещения и одновременно условия публичности отечественной философии. Спецхран позволя-

31. Философия по краям. Интервью Александра Иванова с Валерием Подорогой и Михаилом Ямпольским// Ad Marginem '93. М.: Ad Marginem, 1994. С. 14.

32. Там же. С. 19.

33. Там же. С. 11.

34. См.: Беседа в секторе «Аналитической антропологии» ИФ РАН: К публикации книги «Господин Гексоген» Александра Проханова в издательстве «Ad Marginem»// Журнал № 1. Политика. Философия. Искусство. 2003.

ет собираться символическому полю, в котором производится фактически единственная практика, доступная для местных интеллектуалов — чтение/перевод.

Свободы 90-х и новые информационные технологии вроде бы должны были разрушить эту логику спецхрана. Но российские интеллектуалы с параноидальным упорством ее воспроизводят. В особенности та ее часть, которая по каким-то причинам считает связи с Западом своим конкурентным преимуществом. Впрочем, задача этих связей состояла по большей части в их замыкании на интеллектуальную группу, которая тем самым получала своего рода ярлык на просвещение. Последнее же оказывается алиби группы, занятой лишь удержанием своих привилегированных позиций по наполнению «хрестоматии». Причем, по преимуществу, и вправду, различными продуктами «краевых мыслительных практик» больших авторов. В результате автор — большой автор — должен не раскрываться благодаря переводам, а оставаться закрытым. Именно поэтому, как правило (а не как странная девиация российского книгоиздания) основные работы не переводятся, а переводятся небольшие трактаты по разным случаям, собираемые не в «зоопарк» западной мысли, а предельно частную «коллекцию». С переводом же больших текстов предпочитают тянуть, закручивая интригу до последнего. В итоге функционирование системы совпадает со своим собственным стагисом. Утечек из спецхрана становится все меньше, но лишь потому, что они все менее заметны на фоне настоящего океана информации, в той числе «переводной».

Критика

ФУНДАМЕНТ «НОВОГО ГОСУДАРСТВА»

Властные институты и должности в Европе в Средние века и раннее Новое время/Под ред. Т. П. Гусаровой. М.: Книжный дом Университет, 2010. — 600 с.



ПРОБЛЕМА генезиса и становления в Европе так называемого нового государства давно уже интригует историков, хотя сам термин еще не устоялся: можно встретить формулировки и «государство нового типа», и «современное государство», и даже порой «территориальное государство». Тем не менее общие контуры этого процесса не вызывают сомнений. В определенный момент времени европейские государства и их правители приступают к расширению сферы своей деятельности: начинают вмешиваться в экономику, претендовать на руководство духовной жизнью, создавать разветвленный аппарат управления страной и относительно независимые от центральной власти судебные органы. Ядром этой системы, ее фундаментом стали приобретавшие все более замысловатые очертания дворы монархов. Од-

новременно начался поиск новых доходов, уже не связанных с доменами государей и способных обеспечить функционирование все более усложняющейся государственной машины как в военное, так и в мирное время. Логика развития этого процесса приведет страны Европы в XVII веке к возникновению абсолютных монархий, профессиональных армий и бюрократии, а в XVIII веке и к попыткам всеобщей регламентации жизни населения.

Гораздо менее ясны как спусковой механизм, так и отдельные детали этого явления. Что первично? Увеличение доходов монархов позволило им приступить к созданию государственного аппарата или, напротив, новые структуры потребовали нетрадиционных доходов казны? Действительно ли, как утверждал Ф. Бродель, задачи государства со временем не изменились, а изменились лишь ис-

пользуемые средства? Или же, напротив, сам круг задач существенно расширился? Что считать примерной датой зарождения «нового государства»? XII–XIV века, когда стали структурироваться королевские дворы? XVI–XVII века, когда монархи повсеместно приобретали высшую и безраздельную власть над подданными? Или нечто среднее, последние десятилетия XV века (самый, пожалуй, общепринятый вариант), когда государственные машины начали активно перестраиваться и совершенствоваться?

При всей модности темы для западной исторической науки, при всем обилии обобщающих работ, при всей «очевидности» самого феномена, до сих пор между историками и политологами нет согласия даже относительно того, что именно следует считать «современным государством». Как иронизирует Кристофер Пирсон, профессор Ноттингемского университета и автор одной из популярных работ, посвященных этому сюжету, невольно вспоминается один из членов Верховного суда США, который, хотя и признал, что не в силах юридически определить, что такое «pornoграфия», заявил: «Когда я ее вижу, я понимаю, что это она и есть». Точно так же обстоит дело и с «новым государством»: его сложно точно определить, но легко распознать.

В отличие от западного, российский читатель не избалован трудами, посвященными «новому государству». Тем больший интерес вызывает книга «Властные институты и должности в Евро-

пе в Средние века и раннее Новое время», вышедшая недавно под редакцией известного специалиста по раннему Новому времени, доцента Исторического факультета МГУ Т. П. Гусаровой. Эта, пользуясь оксюмороном советских времен, «коллективная монография» представляет собой попытку собрать под одной обложкой полтора десятка очерков, посвященных структурной основе, фундаменту европейских «государств нового типа» — дворам монархов и потестарным институтам.

При том, что по стилю изложения книга балансирует между обобщающей работой, справочником и учебником, она позволяет читателю стать свидетелем генезиса весьма увлекательного процесса. Показывая своеобразный горизонтальный срез, охватывающий множество европейских стран, она дает возможность проследить, как именно и из какой завязи развилась всеильная ныне государственная машина. Чрезвычайно интересной оказывается возможность заглянуть в сам исток, увидеть королевскую власть как завоевание, когда доля короля в военной добыче равна доле его воинов, сильны личные отношения (воплощенные, в частности, в клятве) между монархом и подданными, управление страной осуществляется при помощи соратников и традиционных связей между патроном и клиентом. Преобразование этого зародыша в систему, при всем многообразии региональных особенностей, происходит практически по одной и той же схеме. Власть получает

мощнейшее обоснование своего существования через ясно выраженную божью волю; растет в численности персонал, обслуживающий двор монарха, усиливается его специализация; приближенные короля образуют королевский Совет, из которого впоследствии выделяются многочисленные органы управления страной. Логическим стержнем системы становится реализация права короля судить и повелевать, а также необходимость выполнения им одной из главных своих обязанностей — защищать подданных.

Помимо демонстрации подробной и объемной картины государственной власти во всех ее проявлениях, книга выполняет и еще одну функцию, не столь очевидную, но не менее важную. Занимаясь историей других стран, постоянно сталкиваешься с проблемой адекватного отражения на русском языке местных реалий. Когда речь идет об экзотических явлениях и терминах, это не вызывает удивления. Между тем, аналогичные проблемы испытывают и все те, кто затрагивает в своих работах такой весьма банальный институт власти как королевский двор любой европейской страны, не говоря уже о центральных государственных учреждениях.

Причина этого во многом кроется в особенностях генезиса российского княжеского, царского, а затем и императорского двора и соответствующих органов. Если Европа опиралась на традиции Римской империи (причем и в варварских королевствах потестарные институты формируются еще

в раннем Средневековье в довольно четком виде), то в России они долгое время оставались аморфными. В результате термины, которые использовались для придворных должностей, то и дело видоизменялись, наполняясь разным содержанием. Окольничьи XIII и XVII веков, по всей видимости, имели мало общего как по статусу, так и по функциям, пройдя путь от своеобразного аналога квартирмейстера до влиятельного администратора. Если для XVII века «стряпчий» — придворный чин, то к концу XVIII-го — это судебный чиновник, а столетием позже и вовсе не государственный служащий. Кроме того, для значительной части этих «придворных чинов» использовались слова, которые давно уже вышли из активного употребления. Применять их для описания европейских аналогов абсолютно бессмысленно, поскольку догадаться без словаря об их значении — задача нетривиальная. Если не сложно предположить, чем занимались ключники, конюхи или чашники, то за что отвечал сытник уже не столь очевидно, а сурначей — так и вовсе не понятно.

Другая сложность в переводе западных реалий на русский язык связана с разрывом в терминологии структур двора, произошедшим с петровскими реформами и, в частности, с принятием Табели о рангах. С XVIII века большая часть придворных чинов получила немецкие названия. Некоторые из них (камергер, камердинер) нам понятны и ныне. Иные (мундшенк, тафельдекер) одноз-

начны, пожалуй, лишь для говорящих на немецком.

Все эти преобразования привели к тому, что любая попытка рассказа о французском, испанском, английском и пр. дворах даже с чисто филологической точки зрения представляет собой непростую задачу. Мало того, что зачастую не очевидно соподчинение различных должностей и их «вес» в придворном раскладе. Совершенно не ясно, как именно следует именовать многочисленных обладателей чинов и должностей, чтобы у читателя не возникло ощущения, что все они поголовно либо немцы, либо обитатели допетровской Руси. Ведь если переводчики над этим не задумываются, появляются на свет удивительные химеры: так, к примеру, в русском издании «Придворного общества» Н. Элиаса старший спальник и первый камергер мирно соседствуют в одном абзаце.

Одним словом, можно только порадоваться, что наконец-то вышла книга, выполняющая двойную задачу: она и фиксирует мутации европейских государственных структур (придворных, административных, судебных, местных), и задает определенные каноны для перевода их названий на русский язык. Тем более, что для научного редактирования «коллективной монографии» был приглашен один из наиболее авторитетных специалистов — В. В. Шишкин, долгие годы интересующийся системой организации власти во французском королевстве на рубеже XVI–XVII веков.

Очевидны и те проблемы, которые должны были встать пе-

ред авторами и, тем более, перед редакторами. Как это неминуемо случается в подобных изданиях, одни авторы посвятили потестарным институтам немало лет своей жизни, тогда как другие сталкивались с ними лишь эпизодически. Невозможным оказалось и втиснуть обзоры политических систем различных стран и народов в единые хронологические рамки. Отправной точкой стал где V в. (римская церковь, Испания), где VI в. (франки), где VII в. (Венеция), где VIII–IX вв. (Англия), где XI в. (Дания, Венгрия, Милан), где XII в. (Флоренция), а где и XIII в. (Швеция) ... Причины понятны: отсутствие сохранившихся источников, а то и самих государств, различные темпы формирования органов власти и обретения ими некоторой (определенной или неопределенной) структуры, стремление показать сам процесс зарождения столь различных государств. И все же мне видится, что такая ситуация нуждается в дополнительных оговорках.

На поверхности лежит и другой вопрос: что заставило авторов остановиться на той или иной фазе развития потестарных институтов? По большей части изложение доведено до XVII века, однако мне так и не удалось обнаружить в книге никаких размышлений, что это за рубеж и почему он был избран. Конец раннего Нового времени? Это довольно неочевидно и, в любом случае, также нуждается в пояснениях, поскольку никакого консенсуса между историками о том, чем было это раннее Новое время, когда оно началось,

когда закончилось, да и существовало ли оно вообще, не просматривается. Если рубеж — переход к абсолютным монархиям, то в ряде регионов это происходит уже в XVI веке. Если наступление новой волны коренных изменений, то, напротив (и это видно из самих текстов), во многих местах они появляются лишь в XVIII в. К тому же, если было решено заканчивать рассказ веком XVII-м, то почему же тогда история Венецианской республики доведена лишь до XV-го, а Флоренции — до первой половины XVI века (автор обеих глав И. А. Краснова)? И, конечно же, обращает на себя внимание прерывающийся в XV веке (а по сути даже раньше) рассказ о системе власти в Англии. Причем прерывающийся настолько неожиданно, что заставляет предположить: глава об Англии в XV–XVII веках была изначально запланирована, но потом по каким-то причинам из сборника выпала.

Во введении Т. П. Гусарова поясняет, что за отправную точку была взята история возникновения аппарата управления у франков во времена Меровингов и Каролингов, ставшая своеобразной матрицей для других европейских государств, в том числе и находящихся на периферии: для Венгрии, скандинавских стран. А применительно к XIII–XIV векам уже можно говорить «о появлении относительно устойчивой и развернутой системы управления» (С. 9), о зарождении «современного государства». Однако логичным казалось бы дать какое-то обобщение,

касающееся и возникновения абсолютных монархий — когда это произошло, что именно авторы считают абсолютизмом, в чем заключалась суть этого феномена. Не вызывает сомнений, что при полной невозможности привести работы различных авторов к единому шаблону задача редактора такой «коллективной монографии» граничит с подвигом. Но все же именно в этих условиях, как мне видится, особенно возрастает значение прочной и солидной рамы для столь пестрой картины. Иначе для читателя возникает немалая опасность погрязнуть в частности, но так и не получить никакого внятного общего представления.

Произведенная авторами и редактором книги колоссальная работа по отбору и систематизации материала, сопряженная к тому же с необходимостью представить этот материал ясно, четко и доходчиво, также не может не вызывать уважения. Тем досаднее видеть в тексте недочеты и просчеты. Особенно часто, увы, этим грешат главы, посвященные Франции (Т. Ю. Стукалова, И. Я. Эльфонд). Это вдвойне грустно при том, что именно Франция берется в качестве своеобразной точки отсчета, модели, образца. Так, в рассказе об обряде помазания утверждается, что последним королем, принявшим его, был Людовик XVI (С. 17), однако это очевидно не верно: полвека спустя помазан был и Карл X. Не совсем удачным видится перевод *Conseil d'en haut* (Верхнего совета) как Верховного совета (С. 108). Он вызывает, как

говорили в свое время, «неконтролируемые ассоциации», особенно когда автор подчеркивает его статус как верховного органа, однако название свое совет получил лишь из-за помещения на втором этаже Версальского замка. Не менее спорным представляется и утверждение, что Ришелье входил в этот Совет по должности, как главный министр, тогда как на самом деле ситуация была обратной: он стал главным министром формально из-за того, что входивший в Совет кардинал считался выше по рангу, чем остальные заседавшие в нем министры. В качестве примера совмещения придворных и военных должностей приводится д'Артаньян, бывший одновременно и капитаном королевских мушкетеров, и главным смотрителем королевских фазанов (С. 93). Само сочетание «смотритель фазанов» видится довольно экзотичным, к тому же мне не удалось найти ни единого упоминания о том, что д'Артаньян занимал такую должность или что она вообще существовала. Рискну высказать гипотезу, что автор имел в виду должность «капитана-консьержа королевского вольера» (*capitaine-conciergerie de la volière royale*), как она переведена в книге Ж.-К. Птифиса «Истинный д'Артаньян». Правда, тогда пример оказывается дважды неудачным, поскольку д'Артаньян продает эту должность именно для того, чтобы наскрести денег на капитанство.

Однако прежде всего внимание привлекают вещи куда более концептуальные. Хотя Эльфонд и со-

глашается с мыслью известного специалиста по XVII веку В. Н. Малова, что во Франции и при Людовике XIV чиновников еще не было и не могло быть (С. 86), поскольку никто тогда не имел чина в российском понимании (дающего государство за определенные заслуги и предполагающего постепенное повышение в должности), это не мешает ей в другом месте утверждать, что «к середине XV века чиновничество предстает как особая корпорация» (С. 79) и постоянно употреблять слова «чины» и «чиновники» (С. 80, 88 и др.), что неизбежно внесет немалое смещение в умы читателей.

Как ни странно, мне не удалось в этих главах обнаружить никаких комментариев и к тому, как именно передавались должности при Старом порядке, а ведь это видится своеобразным ключом к пониманию взаимоотношений между властью и должностными лицами. Говорится лишь, что «особенностью процесса формирования государственного аппарата во Франции являлась легализованная продажа должностей»: подданный «направлял» лично королю «солидную сумму» и «в силу этого приобретал право распоряжаться должностью — продавать ее, передавать своему наследнику» (С. 89).

Между тем ситуация выглядела не совсем так (а, в определенном смысле, и совсем не так). Прежде всего, при Старом порядке различались два типа должностей: постоянные (*offices*) и временные (*fermes*/откупа и *commissions*/поручения). С середины XV века те, кто занимал постоянные должно-

сти, стали *de facto* несменяемыми, если только они не совершали преступлений или не демонстрировали вопиющее несоответствие своему посту. Примерно с XIV века обладатели должностей начали пытаться передавать их за плату: поначалу это было незаконно, но деньги продолжали переходить из рук в руки, и короли в конце концов решили взимать при передаче должности налог и в свою пользу. Так, если поначалу, к примеру, должностные лица судебного аппарата обязаны были принести специальную клятву в том, что получили свой пост не за деньги, то постепенно со времен правления Людовика XII и особенно Франциска I условием получения должности стала некоторая сумма, уплачиваемая королю. В XVI веке еще старались сделать вид, что это своеобразная форма займа монархии, а затем продажность должностей была признана как система официально.

Тем не менее, при такой системе проигравшей все равно оказывалась королевская власть: за исключением первоначального взноса от купившего должность, далее при всех переходах поста из рук в руки ей доставался лишь небольшой налог. Какое-то время с этим пытались бороться, используя следующее положение канонического права: уступка должности другому лицу не действительна, если отказывающийся от нее скончается в течение последующих 40 дней. В первую очередь это мешало передавать должности по наследству, поскольку предсказать точный день своей смерти дано

было не каждому. Разумеется, семьи всеми правдами и неправдами пытались обойти это положение, пока, в конце концов, в 1604 году при Генрихе IV королевский Совет не постановил, что большинство должностей могут передаваться по наследству при условии ежегодной уплаты определенной суммы, своего рода страховки. Р. Мунье в одной из книг рассказывал, что новый налог пользовался феноменальным успехом: как только приходил срок, должностные лица осаждали уполномоченных его взимать, настаивая, чтобы те продолжали работу и после наступления темноты, поскольку неизвестно, кому не повезет скончаться прямо среди ночи.

Таким образом, только с этого времени должность действительно становилась собственностью: ее можно было продавать, закладывать, порой даже и делить. А чтобы король не оказался в один прекрасный момент окружен бездарностями, формально считалось, что в собственности находилась не сама должность, а лишь финансовые обязательства с ней связанные. Иными словами, король всегда мог должности лишиться, если готов был вернуть уплаченные за нее деньги.

Немало сомнений вызывают и те страницы, где говорится о сущности королевской власти. Удивительным образом в тексте ни словом не упоминается, к примеру, что французский король считался «христианнейшим». А ведь это отличие от всех остальных монархов мира (кроме, пожалуй, испанского, носившего титул

«Его католическое Величество») было не просто признанием заслуг французских государей перед папским престолом. На него был завязан обширный комплекс представлений о самой сути власти монарха. Нет анализа фундаментальных законов королевства — комплекса основных принципов монархии Старого порядка. Все это, признаться, труднообъяснимо.

Вернее, объяснить, безусловно можно: тем, что за рамками книги было решено оставить все сюжеты, не связанные, собственно, с механизмами власти. Однако такое объяснение лишь переводит вопрос в другую плоскость: считать ли такими механизмами лишь материальные «шестеренки» и «приводные ремни»? Мне все же думается, что нет. Нет сомнений, что репрезентации, восприятие власти, церемониал и многое другое физически не могут поместиться под обложку одной книги. Но разве без знания фундаментальных законов можно осознать, как работает этот механизм? Не зная принципа: «Король во Франции всегда совершеннелетний», как понять, почему парламент склонялся перед волей пятнадцатилетнего Людовика XIV?

На мой взгляд, власть и в Средневековье, и в раннее Новое время, конечно же, не мыслима без нематериальной (в частности, религиозной) составляющей. Совершенно не случайно такой историк как Р. Мандру в самом начале своего рассказа о сущности королевской власти четко постулировал: «Монархия была мистической идеей». Между тем, в книге эта «духовная» составляющая хотя и обозна-

чена, но лишь мельком, вскользь, без создания целостной картины, да к тому же и очень неравномерно в разных главах. К примеру, в английском разделе (Е. В. Калмыкова) мне не удалось найти упоминаний не только о миропомазании, но и в принципе о коронации! В начале главы говорится о переходе к IX веку к наследственной королевской власти с обязательным утверждением монарха Советом уитанов (С. 212), и далее эта картина никак не корректируется, словно Совет уитанов продолжал давать свое согласие на воцарение монархов вплоть до Тюдоров.

Очевидно, что речь идет исключительно о приоритетах: едва ли можно предположить, что коллега никогда не слышала ни о помазании английских королей, ни об их способности исцелять наложением рук. Эти же приоритеты, по всей видимости, и обусловили увлечение авторов большинства глав описаниями структур и того, как они должны были функционировать, тогда как хотелось бы — почему бы и не по мечтать — увидеть и материал о том, как они работали в реальности. В наибольшей мере это реализовано, как мне видится, в рассказе об Испании XV–XVII веков (В. А. Ведюшкин), где и затрагиваются вопросы о личном участии монархов в управлении, и рассказывается о стоявших между государями и бюрократическими структурами фаворитах.

Иначе говоря, если чего-то в этом собрании очерков и не хватает, так это ментальных структур и, как модно нынче говорить, че-

ловеческого измерения. И не ради постмодернистских красот: все же шестеренки машины власти редко работают так, как нарисовано на чертежах. Материальный же фундамент возникшего на излете Средневековья «нового государства» описан, как мне показалось, ровно с такой степенью подробности, чтобы текст не успел

превратиться в сухой справочник, а остался интересным и местами даже интригующим. Все же до того, как Людовику XIV припишут фразу: «Государство — это я», а Ленин скажет: «Государство — это мы», должно было возникнуть и развиваться само государство. Именно этому процессу и посвящена книга.

Дмитрий Бовыкин

ЛЕБЕДИНЫЕ ПЕСНИ КАПИТАЛИЗМА

Nassim Nicholas Taleb. The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms. NY: Random House, 2010. — 112 p.

Успех книг Николаса Талеба, автора бестселлеров «Черный лебедь» и «Одуроченные случайностью», представляет собой пример того, как философия может расти даже из самого казалось бы неподходящего материала, например, суеты и шума финансового рынка. Минеральные окаменелости и отложения философских абстракций когда-то были частью живого мира, мира природы и науки, и они часто приобретают живой смысл только в контексте забытых конкретик, из которых они некогда выросли. Как известно, некоторые метафизические прозрения возникают путем экстраполяции и обобщения научных открытий. И в этом смысле философия, вырастающая из анализа инвестиционных рисков, ничем не хуже философии, вырастающей из аналитических кущей естественных наук.

Напомним, что своей невероятной популярностью Талеб, один

из самых желанных комментаторов экономических событий на телевизионных каналах мира, обязан отнюдь не философским идеям, а тому, что было воспринято как предсказание финансового кризиса 2008 года и в известном смысле успешной трейдерской стратегии. Одной из главных сфер его теоретизирования стала категория случайности и особый круг событий, которые он назвал «черными лебедями». Пытаясь разместить случайность в схеме одной из своих моделей реальности, считает Талеб, ученые и практики систематически ее недооценивают. В «Черном лебеде» в центре его внимания оказалась особая геометрия финансового пространства, его недостаточно очевидная фрактальная природа, которая выписывается иногда в реальный мир в виде черных лебедей. Это фрактальная геометрия и фрактальная статистика, которую его

учитель Бенуа Мандельброт при-
менил с свое время к анализу фи-
нансовых рынков¹.

В разборах статистики Талеб
делает различия между мирами
природы и культуры. Природа мо-
жет описываться статистическими
функциями, которые используют-
ся в стандартных статистических
правилах нормального распреде-
ления, построенных на горбооб-
разной кривой Гаусса. Эти собы-
тия характеризуются относительно
небольшой волатильностью. Но эта
статистика далеко не всегда при-
менима к явлениям человеческого
общества. Чем дальше в мир
расширения и ускорения, вызван-
ных глобализацией мира, тем ме-
нее подходящей кажется статисти-
ка, построенная на кривой Гаусса,
и тем более уместна гиперболи-
ческая кривая Парето. Примером
природных событий и явлений
могут служить вес или рост лю-
дей. Примером социальных собы-
тий может служить распределение
доходов. Распределение доходов
характеризуется более драмати-
ческими флуктуациями и отклоне-
ниями. В природе нет ничего
настолько большого, говорит Та-
леб, падение чего могло бы приве-
сти к поражению и кризису всего
природного мира. Например, истре-
бление синих китов, толщина
языка которых достигает трех
метров, а вес превышает вес сло-
на, не привело бы ни к каким не-

медленным катастрофическим ре-
зультатам для всего природного
мира. Иначе обстоит дело в сфере
экономики, где падение несколь-
ких гигантов (например, несколь-
ких крупнейших банков) может
привести к разрушению всей эко-
номической системы. Если бы эко-
номисты управляли природой, по-
ясняет Талеб, то у нас, возможно,
было бы только одно легкое.

Афоризмы из новой книги
вращаются вокруг той же самой
темы случайных событий. В цен-
тре внимания Талеба снова ока-
зывается ограниченность нашего
знания о мире, мире, перед кото-
рым так часто бессильны существ-
ующие модели и предсказания.
Наши знания, категории и модели
часто кажутся тем прокрустовым
ложем, в которое мы, как древнег-
реческий великан-разбойник, пы-
таемся уложить непослушное тело
реальности и часто платим страш-
ную цену за такую искусственную
подгонку. Многие наши идеи ста-
новятся расхожими товарами.

В своей новой небольшой кни-
ге автор апеллирует к философии
уже напрямую, без посредничест-
ва статистических и финансовых
концепций. Это собрание афориз-
мов, недоговоренностей из прош-
лых книг, обрезков и фрагментов
мыслей, случайных реплик, — сво-
его рода роскошный камзол, сшитый
из заплаток. Афоризмы не очень
благодатная почва для ре-
цензий. Это минное поле, где стиль
крепко повенчан с содержи-
мом и где прямая критика или раз-
бор тезисов кажется нелепостью
в контексте того праздника мыс-
ли и стиля, к которому приглашает

сам жанр афоризма. В афоризмах,
находящихся на границе литера-
туры и философии, содержание
и форма проникают друг в дру-
га; форма при этом может законно
господствовать над содержанием.
Впрочем, Талеб противопоставля-
ет афористику философии: фило-
соф говорит о вещах непонятных
и скрытых, афорист же говорит
об очевидном. Тем не менее, будет
уместно остановиться на несколь-
ких ключевых идеях и категориях
мысли Николаса Талеба, которые
щедро разбросаны по рубрикам
его афористики. Для пущей ясно-
сти я буду также обращаться к его
«Философским тетрадам», поме-
щенным в виде черновика на его
сайте и пока неопубликованным.

В книге перед нами предста-
ет левантийский мудрец, кото-
рый, несмотря на свой всецело
западный опыт, не устает указы-
вать на свою преемственную связь
с историческим фоном, забыты-
ми мыслителями и языками ле-
вантийского мира — греческим,
арамейским, ивритом и арабским,
единство которых превосходит се-
годняшнюю политическую и куль-
турную чересполосицу Ближне-
го Востока. Православный араб,
свою идентичность он описывает
почти гастрономически аппетит-
но в духе Кавафиса: «Сирийско-
ливанская кровь, арабский язык
и греческое сердце. Сын граждани-
на Франции, образованного в ие-
зуитском духе...» В левантийском
мире Талеба нет ни эллина, ни иу-
дея, и даже его учитель Бенуа Ман-
дельброт, литовский еврей, родив-
шийся в Варшаве и позже пересе-
лившийся во Францию, предстает

у него скорее эллином. Книга «Чер-
ный лебедь» была посвящена Ман-
дельброту, «греку среди римлян».

В числе главных историко-би-
ографических вдохновений Тале-
ба был и опыт гражданской вой-
ны в Ливане, в результате которо-
го его семья внезапно лишилась
положения и гарантий. В Талебе,
правда, мало велеречивости, по-
этической фантазии и восточно-
го праздномыслия некоторых его
компатриотов. Трудно предста-
вить себе, например, что-то более
чуждое Талебу, чем поэтичность,
пылкое воображение и чувствен-
ную мудрость Халиля Джебрана
(1883–1931), его знаменитого зем-
ляка и по малой, и по большой
родине, вдохновенного поэта, ху-
дожника и афориста в одном лице.
Люди более религиозного темпера-
мента наверняка стали бы описы-
вать черных лебедей в более апо-
калиптических тонах; люди более
иронического толка наверняка за-
говорили бы в этой связи о гадких
утятах. Парадокс состоит в том,
что наследник земли пророков
и прорицателей получил извест-
ность именно своим сомнением
относительно возможности всяче-
ских предсказаний. Он подхваты-
вает другую, более скептическую,
традицию арабской учености. Сре-
ди его иных друзей и учителей —
грек Пиррон, французы Паскаль
и Монтень. Среди его идейных
предшественников — даосы и те-
оретики хаоса. В его родослов-
ной также теория фальсифика-
ции Поппера (которая интерпре-
тируется в контексте нарративной
ошибки, соблазна ретроспектив-
ного объяснения любых собы-

1. Mandelbrot B. B. «How Fractals Can Explain
What's Wrong with Wall Street // Scientific
American. 15 September 2008. URL: [http://
www.scientificamerican.com/article.cfm?
id=multifractals-explain-wall-street](http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=multifractals-explain-wall-street).

тий каким-нибудь нарративом), а также французский химик и медик Клод Бернар, которого недолюбливал Достоевский и почему-то считал символом всей европейской науки. Недоброжелатели также добавляют в его родословную эпистемологического анархиста Поля Фейрабенда.

С точки зрения Талеба, современный мир является заложником своей веры в возможность познания непредвиденного и моделей случайных событий. «Средневековый человек был винтиком в системе, которую не понимал. Современный человек — винтик в более сложной системе, которую, как ему кажется, он понимает». В духе Поппера он проследживает родословную современного мира до Платона и Аристотеля (фундаментальную разницу между которыми он, кажется, не чувствует), хотя Талеб и оговаривается, что ему чужд не столько платонизм, сколько платонизм, постулирующий возможный доступ к миру форм и исключаящий то, что он называет смутностью, или непознаваемостью (*opacity*).

Критики социализма и коммунизма обычно знают своих врагов в лицо. Критики капитализма, системы по определению безличной, часто воздерживаются от именованья персоналий. Коммунизм — это своего рода поэзия, и у него есть конкретные авторы. Капитализм — проза или «пешая речь», система по преимуществу анонимная и безымянная как сила природы. Талеб принадлежит к тому недавнему поколению критиков, которые узнают в капита-

лизме, точнее в его последней редакции, конкретные лица, и не стесняется называть определенные имена. Злодеи Талеба — это председатель Федарального резерва Бен Бернанке, секретарь казначейства Роберт Рубин («самый крупный вор в истории»), компания Goldman Sachs, а также Нобелевские лауреаты по экономике Майрон Шолс, Роберт Мертон и Эдмунд Фелпс. Это авторы последней версии капитализма, которая потерпела фиаско. Все они одновременно являются примерами современных прокрустов, которые превращают реальную экономику в сферу действия своих моделей мира, а нередко и небескорыстных манипуляций.

Интересно указать в этой связи на некоторую созвучность идей Талеба некоторым тезисам другого недавнего критика капитализма, редактора журнала «Тайм» Анатоля Калецкого. Оба говорят об изъянах старой архитектуры капитализма, которую обнажил финансовый кризис. Архитектура эта требует кардинальных перемен и смены архитекторов. В интерпретации Калецкого капитализм оказывается своего рода инженерным проектом, который постоянно обновляется и редактируется на основе сбоев в системе. Он называет старую систему капитализмом 3.0². Капитализм как безальтернативная операционная система современного мира, согласно Калецкому, подлечит периодической реконструк-

2. Kaletsky A. Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis. NY: PublicAffairs, 2010.

ции, иногда с вмешательством хирургических методов. Подобно Талебу, он поименно и пунктуально идентифицирует и каталогизирует главных виновников недавних финансовых пертурбаций. При этом главным архитектором старой финансовой системы, согласно Калецкому, является секретарь Федерального казначейства США Генри Паулсон. Именно он, по мнению Калецкого, «сделал для крушения капитализма гораздо больше, чем Маркс, Ленин, Сталин и Мао Цзэдун вместе взятые». В своих инвективах против капитализма оба критика пытаются сделать зримой и осязаемой ту свирепую, анонимную и многократно мистифицированную «невидимую» руку капитализма, о которой писал когда-то Адам Смит. Точнее, речь идет о последней неудачной редакции капитализма, на смену которой, по Калецкому, неминуемо движется новый капитализм «с человеческим лицом» — «Капитализм 4.0», непреложный как следующая версия Windows.

Многие афоризмы в книге Талеба говорят о деградации современного мира, которая опознается далеко за пределами сферы экономики и в значительной степени определяется ориентацией на знание и технологию. Интересно, что эта критика оказывается при этом весьма близкой пафосу Ницше. «Современность — молодость без героизма, возраст без мудрости и жизнь без величия (*grandeur*)». Для уточнения закона Гордона Мура, изначально введенного для описания роста мощи компьютерных чипов, Талеб экс-

траполирует его с обратным знаком на весь современный мир. Если мощность чипа удваивается каждые два года, то коллективная мудрость человечества ополовинивается. Чем сложнее становится техника, тем глупее становится человек. «Технология наказывает нас дважды: она заставляет нас стариться до срока и жить дольше».

Другим источником бедствий является переоценка значимости информации. «Катастрофа века информации состоит в том, что токсичность данных возрастает гораздо быстрее, чем их польза».

Важной мишенью в системе институтов современного мира для Талеба также оказывается университетская наука, которая «относится к знанию так же, как проституция — к любви». Ученые могут быть полезны только тогда, когда они бесполезны, и становятся чрезвычайно опасными, когда они пытаются быть полезными. Наибольшую угрозу при этом представляет образование без мудрости. В духе Ницше он провозглашает, что лучшим учителем является сама эволюция, которая «учит разрушением, а не убеждением». При этом разным наукам и сферам интеллектуальной и духовной деятельности приписывается разная ценность. «Ум любознательный влечется к науке, ум чувственный и одаренный — к искусству, ум практический — к бизнесу; все, кто не попадает в этот список, становятся экономистами». Впрочем, даже занятия искусством не гарантируют особой эффективности. «Большинство писателей продолжают

писать в надежде, что однажды у них появится, что сказать».

В не меньшей степени Талебу отвратительна и современная политика, которую он критикует, противопоставляя ей политику древних и описывая постепенную деградацию «политического» от Катона Старшего к Саре Пэйлин.

Сам быт современных людей и эвклидова геометрия обитаемого ими пространства приглашают их быть квадратноголовыми. От коляски до гроба жизнь человека протекает в футляре — с коробками с едой, в офисных кубиках, прямоугольниках фитнес-клубов, футлярах машин и домов и в «квадратном» мышлении. При этом он непрестанно твердит о необходимости и ценности нестандартной мысли за пределами квадрата (*out of the box thinking*) ...

В современном квадратном мире доминируют знания шарлатанов. В этой связи Талеб проводит ряд параллелей между современным экономическим шарлатанством и шарлатанством и лженауками древности и средневековья. Он в частности замечает, что знания шарлатанов и лженауки по инерции продолжали доминировать часто столетия после того, как они, казалось бы, были убедительно опровергнуты. Так, в медицине теория гуморов тела продолжала торжествовать или играть значительную роль после убедительного опровержения этой теории Уильямом Харви в его обсуждении механизмов циркуляции крови в 1620-х годах и даже после открытий микробов Луи Пастером и кровопускания. К этой же катего-

рии лже-наук Талеб относит философские теории вроде постмодернизма и деконструкции, которые продолжают оказывать пагубное влияние на умы даже сегодня, после, казалось бы, убедительного их опровержения. Думаю, что вопреки своему анти-капиталистическому пафосу постмодернизм действительно содержал в себе нечто весьма созвучное виртуальной экономике последней версии капитализма, и такая оценка весьма уместна. Талеб мечтает о том времени, когда современная финансовая инженерия и модели оценки деривативов и других сложных финансовых инструментов будут оцениваться обществом по заслугам как своего рода современные лженауки. В общем, в проекции на ницшеанство христианство в качестве главной мишени заменяется Талебом на финансовые институты и их жрецов — экономистов, банкиров, регулирующие инстанции и манипуляторов рынка акций. Сама же религия, с точки зрения Талеба, часто служила не только опиумом народа, но и щитом на пути всеохватного и неумемного культа знания.

Из укрытия своих инвесторских барышей и щедрых гонораров (в газетах появилась информация, что за последнюю книгу он получил от издательства 4 миллиона долларов только в виде аванса) Талеб презирает постоянную работу, которую считает формой рабства и превозносит свободное время, провозглашая его высшей формой богатства: «Три самых вредных привязанности — героин, углеводы и ежемесячная зарплата».

Слово «работник» только респектабельно маскирует одну из форм рабства. «Визионер Карл Маркс прекрасно осознал, что раба гораздо легче контролировать, если внушить ему, что он является работником (*employee*)».

В системе Талеба более эффективны негативные мерки и характеристики. В теории морали более продуктивны и действенны негативные определения, такие, например, как ветхозаветные заповеди, а не позитивные моральные прескрипции. В системе медицины более действенны воздержания от определенных привычек и действий, чем медикаменты, направленные на излечение недугов (так, например, по свидетельству некоторых специалистов, воздержание от курения гораздо более эффективно лечит многие болезни в пропорции даже к самым сильным и хорошо зарекомендовавшим себя лекарствам). Избегание средних рисков более фундаментально в процессе достижения финансового благополучия, чем каждодневный детальный анализ всей поступающей информации. Правило воздержания относится также и к самому знанию. Для знания отказ от ложных представлений, которыми напичкана наша голова, гораздо более фундаментален, чем приобретение новых. Негативные определения часто эффективнее позитивных для уяснения сути дела. «Слово „богатство“ лишено смысла и не содержит в себе устойчивой абсолютной меры. Вместо него имело бы смысл пользоваться такой меркой как „небогатство“, то есть го-

ворить о разнице в любой момент времени между тем, что у тебя есть, и тем, что ты хотел бы иметь».

Метод, который используют финансисты и ученые, часто только создает иллюзию того, что хаос поддается дрессировке. Наиболее достойный метод работы с материалом — бриколаж, который описал в свое время Леви-Стросс на примере примитивных обществ, а также метод проб и ошибок. Америки обычно открываются по пути в Индию. История значительных открытий техники и фармакологии полна таких малых америк — факс, виагра, приклеивающиеся записки (*sticky notes*) ... Все эти открытия стали случайными результатами экспериментов, направленных на изготовление совершенно других продуктов. И вообще человеку гораздо лучше удается нестандартное действие (*out of the box action*), чем нестандартное мышление (*out of the box thinking*), учит Талеб. Теоретические вопросы обычно разрешаются в действии. Так, впрочем, думали уже Наполеон и Ленин.

Вопреки интуициям, риск в современном глобальном мире, считает Талеб, значительно возрастает, так как единая взаимосвязанная система и корпоративные и банковские консолидации («сверхоптимизация») гораздо более опасны по сравнению с множеством замкнутых или полужамкнутых систем. Зона риска в современном глобальном мире значительно расширилась. Вместо множества разнонаправленных малых и больших караванов, следующих своим путем, сегодня мир

превратился в единый рыночный караван капиталистической экономики. И в этом караване, согласно африканской поговорке, которая кажется созвучной левантской метафорике автора книги, всеобщая скорость зависит теперь от скорости последнего верблюда.

В силу парадокса знания, говорят и «знают» обычно те, кто не знает. Сам Талеб, вероятно, считает себя не человеком, а птицей. В исламской поэзии и философии птицам обычно приписывается особое знание. «Проблема знания состоит в том, что имеется гораздо больше книг о птицах, написанных орнитологами, чем книг, написанных птицами о самих себе или об орнитологах».

Вот еще несколько афоризмов, которые показались мне любопытными: «Удачная максима позволяет сказать последнее слово до того как начался разговор». «Я подозреваю, что Сократ был приговорен к смертной казни оттого, что есть нечто безумно непривлекательное, отчуждающее и нечеловеческое в ясной и отчетливой мысли». «Настоящей жизнью можно назвать ситуацию, когда предметом наибольшего опасения является то, что могло бы обратиться увлекательным приключением». «Игры создаются для того, чтобы у людей, чуждых героизму, возникла иллюзия победы. В реальной жизни, хотя мы никогда окончательно не знаем, кто выиграл или проиграл (за исключением тех случаев, когда это знание приходит слишком поздно), мы всегда можем отличить героя от негероя».

Многие афоризмы Талеба кажутся излишне высокомерными. Впрочем, в книгу встроена и своеобразная система самозащиты: «Обычные комплименты люди раздают тем, кто не угрожает их тщеславию. Словом „высокомерный“ они хвалят остальных». Другие кажутся натянуто хлесткими или искусственно провокационными: «Я принимаю горячую ванную после прочтения электронной почты от бизнесменов и журналистов, чтобы очистить себя от их профанизма». Третьи выглядят надуманно парадоксальными: «Социальные средства коммуникации антисоциальны, здоровая пища эмпирически нездорова, работники сферы знания невежественны, а социальные науки не являются научными».

Многие кажутся и вовсе неудачными и плоскими. На мой очень субъективный вкус к удачным можно отнести только один из восьми-десяти афоризмов. Но и это, опять же на мой субъективный взгляд, совсем не мало в таком требовательном, капризном и прихотливом жанре, где важен каждый стилистический завиток.

Люди охотнее прислушиваются к той философии или лжефилософии, которая хотя бы косвенно связана с финансовым или житейским преуспеванием. Гораздо практичнее усваивать уроки мудрости и философии от лица успеха, чем из уст писателей, профессиональных философов или каких-нибудь неудачников. К тому же успешные или ушедшие на покой финансисты и инвесторы, как оказывает-

ся, гораздо более склонны к философствованию по сравнению даже с самими философами, особенно ушедшими на покой. Успех гораздо более разговорчив, и оттого бизнесмены охотнее философствуют. Например, весьма любопытны некоторые афоризмы и реплики Уоррена Баффета, скорее, впрочем, житейского, чем сугубо философского свойства, интересен способ рассуждений Сороса и жизненные притчи Стива Джобса. Уникальность Талеба состоит в том, что он гораздо лучше, почти профессионально, владеет собственным философским материалом, обладает энциклопедическим умом и памятью, а его афористика насыщена реальными философскими знаниями.

Другая заслуга Талеба состоит, как мне кажется, в том, что своими афоризмами он приоткрывает узкую щелку — или игольное ушко — в мир философии, в том числе и всем тем многим, для кого мерилом мудрости и философичности служит житейское преуспевание. В контуре его лебедей, впрочем, угадывается не только необычный цвет, но и особая песня. Клики черных лебедей, по определению птиц непевчих и молчаливых, столь же неожиданны, как и их чернота. Быть может, они знаменуют конец старого капитализма и предвещают возникновение чего-то нового. По слову Эзопа: «Говорят, что лебеди поют перед смертью».

Вадим Росман

ГДЕ РАБОТАЮТ АРГУМЕНТЫ AD HOMINEM

«Южный парк» и философия: Толстый, длинный и всепроникающий. М.: Эксмо, 2012. — 304 с.

Американские философы и приносящие к этой касте прогрессивные эксперты в области гуманитарного знания более десяти лет назад сделали грандиозное открытие. Они осторожно предположили, что массовая, или так называемая низкая, культура — это не всегда что-то пошлое и неинтересное, во всем уступающее давно признанным образцам высокого искусства, но также и продукт, который требует серьезного, глубокого и именно философского осмысления. Отважные философы, не побоявшись того, что будто бы на-

носят тем самым непоправимый ущерб собственному статусу высокообразованных эстетов, способных наслаждаться самыми скучными и, казалось бы, отжившими свой век феноменами культуры, с жадностью бросились анализировать «Матрицу», «Сайнфелд», «Властелина колец», «Симпсонов» и далее по очень длинному списку, конца которому пока не видно. Благо, американские производители масскульты позаботились о том, чтобы обеспечить философов качественным материалом на годы вперед.

Оказалось, что и среди тех, кто работает над производством массовой культуры, затесались не самые глупые люди. Многие из них закончили престижные университеты, нередко даже философские факультеты. Не все знают, но, например, триумфатор Каннского фестиваля 2011 года Терренс Малик посвятил одну из своих дипломных работ (он пытался получить не одно высшее образование) философии Мартина Хайдеггера. Диплом, правда, он не защитил, но не потому, что плохо учился, а так как не сошелся со своим научным руководителем в вопросе верной интерпретации философа. Один из братьев Коэнов, Итан, учился на философском факультете в Принстоне и посвятил свой диплом философии Людвигу Витгенштейна. И это лишь самые очевидные примеры. Только представьте, сколько еще людей с фундаментальным образованием могут вращаться в сфере шоу-бизнеса! Конечно, речь не идет о том, что Терренс Малик и Итан Коэн во всех своих лентах пытаются кинематографическим языком поведать о сложных проблемах бытия и познания. Однако не ожидаешь от них и фильмов, которые обычно производит, скажем, Майкл Бэй или режиссер нескольких «Обителей зла» Пол Андерсон. Так что те, кто производит качественные объекты популярной культуры, и те, кто готов их качественно осмыслить, нашли друг друга.

Но вот в чем беда. С тех пор как философы стали подробнейшим образом изучать масскульт произошли кое-какие изменения. Те,

кто работает в сфере популярной культуры, стали создавать все более качественные продукты, над которыми все интереснее и одновременно все сложнее размышлять. А те, кто анализировал артефакты масскультуры, становились все ленивее. Ответственные же люди, понимающие, что некоторые феномены популярной культуры им не по зубам, боялись браться за их анализ. Однако книги серии «Массовая культура и философия» продолжали и по сей день продолжают выходить одна за другой. Сегодня авторами этих книг, как правило, числятся преподаватели не только заштатных вузов, не имеющие солидных публикаций, но часто просто некомпетентные люди. Так что многим продуктам масскультуры в итоге сильно не повезло, поскольку их философским анализом занялись те, кто не только не может, но и недостоин этого делать. Больше всего в этом отношении не повезло сериалу «Южный парк».

В конце 2000-х вышло несколько книг, посвященных «Южному парку». Среди них блестящая работа «О „Южном парке“ всерьез», а также более спорная «„Южный парк“ и философия. Знаете, я кое-что понял сегодня»¹. Однако до этого, в 2007 году, одной из первых книг, посвященных философскому осмыслению «Южного парка», стал сборник «„Южный парк»

1. См.: South Park and Philosophy: You Know, I Learned Something Today / R. Arp (Ed.). Malden; Oxford; Carlton: Blackwell Publishing, 2007; Taking South Park Seriously / J. A. Weinstock (Ed.). Albany, NY: State University of New York Press, 2008.

и философия: Толстый, длинный и всепроникающий»². Так как на русский язык было переведено несколько книг из серии «Массовая культура и философия», то поклонники «Южного парка» давно ждали появления на русском книги об их любимом сериале. И вот летом 2012 года чудо произошло. Издательство «Эксмо» опубликовало перевод «„Южного парка“ и философии: Толстый, длинный и всепроникающий»³. Сложно предположить, кто и по каким причинам выбрал именно эту книгу для издания в России, а знать эти причины хотелось бы, ибо книга представляет собой образцовый пример того, как (псевдо)интеллектуалам не надо писать о массовой культуре. Это именно тот случай, когда качество продукта массовой культуры на порядок превосходит попытку анализа, предпринятую авторами книги о нем.

Итак, почему эту книгу не следует читать и вообще неплохо было бы сжечь. Начнем с того, что все философы и вообще люди, имеющие представление о культуре публичных дискуссий, прекрасно знают, что использовать «аргумент к человеку», то есть отвергать позицию оппонента, обращаясь при этом к критике его персоны, а вовсе не позиции, вро-

де как нехорошо. Считается, что это запрещенный прием в практике аргументации. Однако иногда, к сожалению, информация об авторе позволяет заранее быть уверенным в том, что он не может написать что-то достойное. Давайте просто прочитаем, что говорят о себе сами авторы книги, и пусть каждый читатель решит самостоятельно, допустим ли в данном случае аргумент к человеку. Потому что такие CV вызывают не столько улыбку, сколько оторопь и изумление — что вообще могли написать о «Южном парке» все эти люди.

Итак, главный редактор книги и руководитель авторского коллектива, написавший большую часть глав, Ричард Хэнли.

У него имелись проблемы с позитивной дискриминацией. Он родился в Африке, но был белым. Да еще и мужского пола. Если этого мало, то он хотел стать американским академиком. А всем известно, что образовательная система США давно захвачена гребаными либералами и остро нуждается в позитивных мерах — то есть в системе квот и ограничений, — чтоб обеспечивать примерно равное количество консервативных профессоров и поклонников «хеви-метал». Конечно, по Джону Стюарту Миллю, не все консерваторы тупицы, но большинство тупиц консерваторы, что подтверждает, что предлагаемая система квот — еще известная как академический Билль о правах — будет способствовать некомпетентности в академических кругах. Ах да, а Хэнли — профессор в Университете штата Де-

2. См.: South Park and Philosophy. Bigger, Longer, and More Penetrating / R. Hanley (Ed.). Carus Publishing Company, 2007.

3. См.: «Южный парк» и философия: Толстый, длинный и всепроникающий. М.: Эксмо, 2012. Далее по тексту цифры в скобках обозначают страницы данного издания.

лавэр, поэтому не стоит там учиться (303).

Грубо говоря, автор считает, что хочет, чтобы в университетах Соединенных Штатов появилось как можно больше профессоров-тупиц, и фактически признается, что сам он — тупица, а потому не рекомендует учиться в вузе, где сам же и преподает. Если прочитать, что он пишет о «Южном парке», можно убедиться в том, что он не шутит, а предупреждает будущих студентов о серьезной опасности. Однако стоит все же подробно познакомиться и с остальными авторами, чтобы убедиться, что Хэнли — еще самый адекватный из них.

Рэндолл Э. Окзье навсегда выключил свой телевизор в 1994 году и не видел ни одного эфира «Южного парка» (все сезоны можно купить в магазине). Что еще хуже, он и «Друзей» не смотрел. Тогда как же он узнал, в чем его смысл? Да еще и перенес его в свою главу о любви и пришел к выводу, что Дженнифер Энистон слишком хороша, чтобы зарывать свой талант на телевидении. Рэнди можно легко найти на сайте Университета Южного Иллинойса в Карбондейл, где он преподает философию (301).

Весьма достойный итог для философских измышлений преподавателя университета: Энистон не место на телевидении. Не находите, что это слишком? Неужели у автора больше нет никаких заслуг перед философским сообществом США? Обычно в книгах на тему «массовая культура и философия» авторы стараются упомянуть все свои достижения и добавляют: печатался там-то и там-то,

регулярно пишет туда-то. И если кто-то об этом не упоминает, то скорее всего он не публикуется вовсе, так ведь? При этом «Рэндолл Э. Окзье», фигурирующий на с. 301 издания, где представлены сведения об авторах, маскируется в книге также под именами «Рэндалл И. Оксие» — на с. 232 и «Рэндолл Э. Огзьер» — на с. 249. Правда, это совсем не маскировка и отнюдь не вина Окзье/Оксие/Огзьер. В издании имя человека трижды транскрибировано неверно. Горячий привет переводчику, редактору-корректору и ответственному редактору книги!

Урожденная София Бишоп (Vishop) еще в детстве поняла, что женщине-католичке стать епископом невозможно, поэтому занялась философией и будет женщиной-философом, что тоже практически невозможно. Она женщина, да еще и студентка, да еще и из Делавэра [в цитате выше «Делавэр» был «Делавэром». Так в книге — А. П.] — естественно, ее никто не слушает, и, конечно, никто не будет читать то, что она пишет. Она надеется решить парадокс Маркса, при этом не вступая ни в одну выпускную программу по философии (301).

Комментарии излишни.

Ричард Дэлтон — литературный псевдоним известного блестящего интеллектуала, которого недооценивают и недопонимают его коллеги, СМИ, Фонд Макартура, Национальный фонд поддержки искусств, а также сценаристы Comedy Central. Обычно он постоянно борется за то, чтобы внести хоть толику правды

в наше видение этой бессмысленной каши, называемой поп-культурой. В остальное время он работает в видеопрокате в Лос-Анджелесе (где клиенты, особенно симпатичные, тоже не понимают его). В настоящее время он пишет пьесу о знаменитом английском зоологе, который стал культовой фигурой и целителем (302).

Наверное, что-то не так с «блестящим интеллектуалом», творчество которого отвергли все организации, куда он обращался. Даже клиенты в видео-прокате, где он работает, его не понимают. Однако в книгу его более чем посредственный текст взяли. Какой вывод мы можем сделать об этой книге и о ее редакторе?

Далее.

Аарон Фочен провел последние 10 лет своей жизни за просмотром мультимедиа и чтением философских трудов во время рекламы. Уже давно и он, и его семья признали, что с ним что-то не так. Но пока непонятно, влияние ли это Ницше или Кенни. Он или закончит к маю 2007 года свою кандидатскую диссертацию в Университете Южного Иллинойса в Карбондэйле, или умрет от голода в июне 2007-го, потому что ему перестанут платить стипендию. Среди его философских интересов метафизические процессы, политическая философия и прикладная этика. Его эссе «Жестокость и самопожертвование: Созидательный пацифизм в мире насилия» получило премию Илы и Джона Меллоу на ежегодной конференции Общества достижений американской философии как лучшая рабо-

та, освещающая современную американскую философию. Он надеется, что его кандидатская тоже будет иметь успех, и он сможет издаваться. Издаваться и продаваться — это круто, потому что это приносит деньги (302).

Это первое упоминание о том, что один из авторов книги имел хоть какой-то успех. Однако на то, чтобы публиковаться и продаваться, он лишь надеется. Нам же остается надеяться, что у него все получилось, и его участие в «„Южном парке“ и философии» стало хорошим стартом для карьеры.

При рождении Майкла Ф. Пэттона мл. назвали в честь его отца Майкла Ф. Пэттона ст. Если у него когда-нибудь будет сын, то его тоже постигнет такое же разочарование. У Майкла 3 телика, и он смотрит телевизор больше всех своих знакомых. Таким образом, он попадает в данный проект, хотя ему пришлось прервать просмотр «Звездного крейсера „Галактика“» на 15 минут, чтоб накропать свою главу. Майкл живет, любит и преподает (не обязательно в таком порядке) в Монтевалло, штат Алабама. Он благодарит свою жену Шерил за терпение и своих социопатических кошек за их помощь (303).

Если прочитать его текст в книге, то пассаж о том, что глава Майкла Ф. Пэттона мл. была написана за 15 минут, уже не выглядит шуткой.

Том Уэй — профессор информатики в Университете Виллановы. Специализируется на компьютерных нанотехнологиях. Страдает аллергией на лактозу. В начале 1990-х затянул со своей диссертацией,

вместо этого создал сайт DHMO.org. Этот сайт, к удивлению других, способствует продвижению идеи критического мышления. Женат. Имеет троих детей. Утверждает, что его газы пахнут хуже кошачьего лотка. Кот не согласен (303).

Даже если его газы пахнут лучше кошачьего лотка, писать об этом в CV философа представляется излишним. Или наоборот именно там про это писать и стоит?

Итак, кто же в итоге написал книгу о «Южном парке»? Странный консерватор, не рекомендующий студентам учиться в университете, в котором преподает. Еще более странный преподаватель философии, фанат Дженнифер Энистон. Студентка, которая знает, что философом ей не быть, но не унывает. Работник видеопроката, творчество которого отвергли во всех возможных институциях, куда он пытался его пристроить. Аспирант, который за просмотром мультфильмов не находит времени завершить диссертацию. Фанат телевизора, который накопил свое эссе за пятнадцать минут и рассыпался в непонятных благодарностях своим кошкам. Программист, который хотя и не написал диссертацию, зато может похвастаться особой зловонностью собственных газов. Создается ощущение, что это коллектив авторов, часть из которых уже находятся на закате карьеры, а другая — только начинает свой путь. В любом случае «самоирония» относительно Дженнифер Энистон и кошачьего лотка не делает философам чести. В других книгах подобной тематики в разделе «информация об авторах» тоже

присутствует самоирония, но, кажется, пока еще ни один из западных профессоров философии не догадался написать, что его газы пахнут хуже кошачьего лотка...

Что характерно, подобной стилистикой пронизана вся книга. В итоге эта попытка подражания самому «Южному парку», о котором пишут авторы, не увенчалась успехом. Можно вспомнить один из эпизодов «Южного парка» про курение, когда в школе группа артистов, неуклюже имитирующая молодежный стиль поведения, завершает свое выступление следующими словами, повергшими детей в шок: «Дети, если вы не будете курить, станете такими же, как мы!» В следующей сцене мы видим, как главные персонажи сериала лихо радочно достают сигареты из пачки и поторапливают друг друга: «скорее поджигай», «тянуть нужно глубже», «дай мне еще одну на всякий случай, не хочу быть такими же, как они». Грубо говоря, авторы книги «„Южный парк“ и философия» ведут себя так, что, преследуя определенную цель, достигают обратного эффекта. Только читатели этой книги в итоге возненавидят и «Южный парк», и философию. Лишь бы не быть такими же, как авторы книги. И если это произойдет, осуждать читателей будет трудно.

И все же объективности ради давайте обратимся к содержанию текста. Что такого плохого в этой книге, кроме стиля, хотя и одного этого достаточно? Ненормальным в книге является элементарная и полная некомпетентность авторов. Например, Ричард Хэн-

ли, рассказав о своей непростой жизни, утверждает, что авторы сериала не являются либертарианцами. Он пишет, что хотя в сериале «есть либертарианские штрихи, но большую часть эпизодов можно отнести к левому либерализму» (76). В пример автор приводит серию «Славные времена с оружием», в которой профессор Хаос, он же Баттерс, получает сюрриком в глаз, и все оставшееся время его друзья пытаются скрыть свой проступок от старших, в то время как Эрик Картман раздевается донага, воображая, будто он невидим. В итоге наказывают Картмана, а мальчиков оставляют в покое. Всем хорошо известно, что американских цензоров больше беспокоят вопросы секса, нежели насилия. На этот абсурдный элемент американской цензуры и попытались указать создатели «Южного парка». Пересказав этот эпизод, Хэнли заключает: очевидно, авторы — левые либералы. Из чего это вытекает, для читателя остается загадкой.

Начнем с того, что либертарианство — странная идеология, она сочетает в себе элементы американского консерватизма и левого либерализма — то есть борется за свободный рынок, против цензуры, критикует правительство и выступает за личную свободу каждого, в том числе на собственное тело. Если учесть, что сами авторы уже давно признали себя либертарианцами, то слышать от «аналитиков» рассуждения о том, что создатели «Южного парка» — либералы, довольно странно. Далее сам Ричард Хэнли начинает критиковать либертарианство и настаивает на том,

что правительство — это нормально. Так, во всех главах он предлагает свою точку зрения на те ли иные спорные моменты американского социально-политического дискурса, иногда прикрываясь ссылками на «Южный парк» или предлагая примеры из сериала. Но ведь книга называется «„Южный парк“ и философия», а не «Рассказ Ричарда Хэнли о жизни, сопровождаемый интересными примерами из сериала „Южный парк“»!

Благо, подавляющее большинство глав написал именно Ричард Хэнли. Почему же благо? Потому что его рассуждения об американских социально-политических проблемах — самые читабельные в книге. Кроме того, он старается избежать псевдоигривого и псевдомолодежного стиля письма. Вместе с тем фразы типа «лепешка говна», «задницы», «дырки», «хрены», «эпистемология» и т. д. часто встречаются и в его текстах. Хотя он самый скромный в своих стилистических амбициях автор, его это совершенно не оправдывает, поскольку в качестве редактора он позволил писать таким образом другим людям. И как же пишут эти другие люди?

В качестве примера я возьму самое близкое для меня по тематике эссе «Шеф, Сократ и любовь» (249). Автор этой главы полагает, что Сократ является прототипом Шефа в «Южном парке». С точки зрения автора, создатели мультфильма поступили так намеренно, но умолчали об этом. Чтобы объяснить, что именно «Огзьер» (так как его имя везде в книге пишется по-разному, возьмем один вари-

ант и будем писать его в кавычках) имеет в виду, автор вводит в текст фигуру «штрауссианцев». С точки зрения автора, штрауссианцы, последователи политического философа Лео Штрауса, представляют собой тайную секту, которая захватывает в Соединенных Штатах факультеты философии и политической науки, чтобы поставить туда своих людей. Они очень умны и общаются на собственном тайном языке. Именно поэтому, полагает «Огзьер», штрауссианцы похожи на сайентологов. Особенно приятно и любопытно читать в его тексте фразы типа: «Здесь есть над чем поразмыслить (иначе я бы уже давно закончил свою писанину, но за два абзаца мне вряд ли что-то заплатят, проверено)» (250). Грубо говоря, автор «нагоняет объем», когда пространно и фактически неверно начинает рассказывать о штрауссианцах, лишь бы получить гонорар за статью.

Далее «Огзьер» замечает, что в отличие от штрауссианцев он «не избранный, а обычный гопник» (255). Однако он уверен, что раз может распознать «философский заговор», то является не простым гопником, а штрауссианским. Он также настаивает, что и создатели «Южного парка» — неклассические штрауссианцы, то есть «штрауссианские гопники». «Огзьер» считает, что они убили шефа, как когда-то в «Афинах» был убит самый достойный гражданин города, Сократ, потому что Шеф — единственный вменяемый человек в «Южном парке». Далее следует абсурдная аргументация тезиса, почему Шеф — это Сократ. После

этого: обильное цитирование диалогов из шоу, а заканчивается все признанием в любви к Дженнифер Энистон. Дело в том, что, вероятно, для того же объема, автор на протяжении эссе постоянно упоминает имя Дженнифер Энистон и выражает надежду, что та полюбит его, прочитав эту книгу. В этом же эссе, между прочим, мы встречаемся с утверждением, что «в одном из диалогов, „Симпозиумов“...». Разумеется, речь идет о диалоге «Пир». Но получается, что платоновские диалоги — это все же «Симпозиумы», хотя чуть ниже речь уже идет о «Симпозиуме» в единственном числе. Еще раз горячее спасибо переводчикам!

Все это производит гнетущее впечатление и многое говорит о серии «философия и популярная культура». Авторы последних книг на эту тему часто либо делятся своими взглядами на мир, опираясь на сериалы, о которых идет речь, либо выдумывают идею типа «Шеф — это Сократ», то есть предлагают «ложную концептуализацию», заведомо неверную, кстати, а затем пытаются доказать ее и получают за это гонорар. Такое философствование на темы популярной культуры не нужно никому, даже в России.

Но есть у этой книги и один плюс. Благодаря всей этой компании авторов, пять тысяч человек, купивших книгу в России, смогут, наконец, понять, что философы действительно «странные» — в смысле английского слова «weird» — существа не только в нашей стране. Обычно те, кто знаком с философами поверхностно,

думают, что эти ребята в лучшем случае люди не от мира сего, в худшем — фрики, помешанные на теориях заговора, внеземной жизни, истинной религии и т. д. Познакомившись с этой книгой, те, кто думал, что философы — фрики, утвердятся в своем мнении; те, кто так не думал, будут посрамлены. Так что, внимательно изучив текст «Южный парк» и философия», вы поймете, что, конечно, философия в России не лучше американской, но, судя по всему, и не хуже. В том смысле, что странных людей, которые наивно полагают, что могут выдавать ценные мысли о том или ином явлении, и эти мысли окажутся не только верными, но и интересными, много везде.

Что странно, есть у этой книги и положительные отзывы. Дело в том, что для авторитетной оценки текста «Южный парк» и философия» была сформирована специальная комиссия из ведущих западных интеллектуалов. Эта комиссия состоит из авторов «Южного парка» и философии». Изучив текст, комиссия пришла к выводу, что книга «просто охренительная!» Что-что, а «охренеть» от нее можно легко и очень быстро. Проблема здесь в том, что авторы не ориентируются на иные мнения и уверены в том, что книгу будут читать все. Например, текст «О „Южном парке“ всерьез» редактор книги Эндрю Уайнсток начинает с рассказа о том, как он продвигал проект. Он цитирует, что в сети писали о его затее. Многие высказывали мнение, что если философы занимаются подобным, то с философией всем все ясно. Но он пытался доказать, что

и «Южный парк» — философское шоу, а ему и его коллегам есть что сказать о сериале⁴. Однако книга «Южный парк» и философия» вышла раньше, вот почему последующим авторам было сложнее издавать свои тексты на эту тему.

В целом же текст «Южный парк» и философия» является ярким контраргументом тезису Юргена Хабермаса, согласно которому интеллектуал — это тот, кто первым чувствует важное. Хотя рецензируемая книга стала одной из первых, посвященных «Южному парку», это не делает ее авторов «интеллектуалами»⁵. А если и делает, тогда, думается, многие интеллектуалы называть себя так расхотят. И вопрос, кто именно и почему именно решил выпустить эту книгу на русском, остается открытым. Журнал «Логос» искренне надеется, что хоть как-то попытается доказать, что «популярная культура» вообще и «Южный парк» в частности не только могут, но и должны быть философски осмыслены⁶. Но особенно «Логос» рассчитывает на то, что составил альтернативу книге «Южный парк» и философия», и не все в России будут плохо думать о философии и сериале.

Александр Павлов

4. Weinstock J. A. Introduction // Taking South Park Seriously / J. A. Weinstock (Ed.). Albany, NY: State University of New York Press, 2008.

5. См.: Хабермас Ю. Первым почуять важное. Что отличает интеллектуала // Неприкосновенный запас. 2006. № 3 (47).

6. См. соответствующий тематический раздел «Логоса» № 2 (86) за 2012 г.

ХАННА АРЕНДТ. Традиция политической мысли

Ключевые слова: религия, авторитет, традиция, политический опыт, политическое переживание, дополисная Греция, плюральность

Автор утверждает, что значительная часть политического опыта Запада оставалась неосмысленной в традиционной политической мысли с самого ее начала, и анализирует три политических опыта, которые лежали вне этой традиции и оставались без внимания политической мыслью: опыт действия как начала нового предприятия в дополисной Греции, опыт основания в Риме и христианский опыт взаимосвязи действия и прощения. Все они разделяют одну общую черту, касающуюся участи человека, без которой политика не была возможной или необходимой, а именно — факт плюральности человека в противовес единичности бога.

HANNAH ARENDT. The Tradition of Political Thought

Keywords: religion, authority, tra

dition, political experience pre-polis Greece, plurality

The author argues that a large part of political experiences had remained unthought in traditional political thought from its beginning and analyses three political experiences that lie outside the tradition and were bypassed by political thought: the experience of action as starting a new enterprise in pre-polis Greece, the experience of foundation in Rome, and the Christian experience of acting and forgiving as linked. They all share the one trait of the human condition without which politics would be neither possible nor necessary, that is the fact of the plurality of men as distinguished from the oneness of God.

МАЙКЛ УОЛЦЕР. Философия и демократия

Ключевые слова: политическая философия, демократическое законодательство, индивидуальные права, судебная сдержанность

Автор утверждает, что задача политической философии заключается в том, чтобы устанавливать ограничения на вмешательство в политику. Между демократией и концепциями, призванными защищать индивидуальные права, всегда существовало противоречие, поскольку демократии могут избирать такой образ действия, который пренебрегает указанными правами. Согласно автору, демократия является вопросом воли демоса, а не того, что определяется как правильное. Некоторые права, в частности, те, что делают демократический процесс возможным, но для этого необходимо вмешательство судей в демократическое пространство. Предлагаемое решение заключается в том, что судьи должны руководствоваться принципом «судейской сдержанности», отменяя законодательные решения только в редких и крайних случаях.

MICHAEL WALZER. Philosophy and Democracy

Keywords: political philosophy, democratic legislation, individual rights, judicial constraint

The author argues that political philosophy should exercise restraint in meddling in politics. There has always been a tension between democracy and any view that aims to safeguard individual rights. For democracies can vote for courses of action that trample on, or put aside, those rights. Democracy is, according to the author, a matter of what the people will, not a matter of what is right. Some rights need to be enforced, namely, those rights that enable the democratic process to function, but it invites judicial activity that is intrusive on democratic space. The answer is for judges to operate «judicial restraint», to pre-empt or overrule legislative decisions only in rare and extreme cases.

ЮН ЭЛЬСТЕР. Рынок и форум: три разновидности политической теории

Ключевые слова: социальный выбор, рациональное обсуждение, политическое участие, Джон Стюарт Милль, Юрген Хабермас, Карол Пэйтман

Автор сравнивает и критикует три подхода к политике и демократической системе: (1) теорию социального выбора с представлением о политическом процессе как об инструментальной деятельности и идей, что решающее политическое действие является частным, а не публичным; (2) теорию демократии обсуждения с ее представлением о политике как о рациональном соглашении, а не компромиссе и допущением, что решающее политическое действие предполагает участие в публичных дебатах для достижения консенсуса; (3) теорию демократии участия с ее утверждением, что целью политики является трансформация и воспитание участников. Автор предлагает новый взгляд на политику как на публичную по своей природе и инструментальную по своим целям деятельность.

JON ELSTER. The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory

Keywords: social choice, rational deliberation, political participation, John Stuart Mill, Jurgen Habermas, Carol Pateman

The author compares and criticizes three views of politics and of the democratic system: (1) social choice theory with the conception of the political process as instrumental activity and the idea that the decisive political act is a private rather than a public action; (2) deliberative democracy theory with its view of politics as rational agreement rather than compromise and the assumption that the decisive political act is that of engaging in public debate with the purpose of the emergence of a consensus; (3) participatory democracy theory with its claim that the goal of politics is the transformation and education of the participants. The author proposes the new view of politics as public in nature and instrumental in purpose.

ИБОН УРИБАРРИ. Немецкая философия в Испании XIX столетия: восприятие, перевод и цензура на примере Иммануила Канта

Ключевые слова: немецкая философия; переводная философия в Испании; цензурированная рецепция; системная цензура.

В рамках исследования о цензурной политике франкистского режима в статье рассматривается типичный случай из предьстории франкизма: рецепция Иммануила Канта в Испании XIX века. Здесь дается диахроническое описание взаимосвязи между рецепцией и переводом в период от первого упоминания «Манюэля Канта» в 1803 г. до первого прямого (т.е. не опосредованного французским), хотя и частичного, перевода его главного труда в 1883 г. Рецепция Канта была столь трудной и поздней

из-за отторжения его агностицизма со стороны традиционного истеблишмента. И кантовская «Критика», и испанская исследовательская литература, ей посвященная, были внесены в «Индекс запрещенных книг». Но услышать голос Канта мешали и его либеральные соперники. Рассмотрение данного кейса дополняется в статье размышлениями о переводе и рецепции, а также об интериоризованной предварительной цензуре.

IBON URIBARRI. German Philosophy in Nineteenth-Century Spain: Reception, Translation and Censorship in the Case of Immanuel Kant

Keywords: German philosophy, translated philosophy in Spain, censored reception, systemic censorship

In the context of the research on Franco's regime politics of censorship, the paper looks at one typical case of its pre-history: the reception of Immanuel Kant in 19th-century Spain. The paper describes diachronically the connection between reception and translation since the first mention of «Manuel Kant» in 1803 until the first direct (although partial) translation of his main work in 1883. The reception of Kant was difficult and somewhat delayed in 19th-century Spain due to Kant's agnostic views which were dismissed by the traditional establishment. Kant's Critique of Pure Reason and Spanish secondary literature were included in the *Index librorum prohibitorum*. Kant was also silenced by other competing liberal agents. The case study is completed with some ideas on translation and reception, and the extension of the idea of censorship into a constitutive censorship.

СЕРГЕЙ ТЮЛЕНЕВ. Что перевод системе? Что ему она?

Ключевые слова: перевод, социология, европеизация России, Никлас Луман, теория социальных систем

В настоящей статье перевод рассматривается как социально-функциональная (под) система (в терминологии теории социальных систем Никласа Лумана) и как *conditio sine qua non* европеизации России, особенно в петровский и постпетровский периоды. Опираясь на исторические документы и памятники, автор демонстрирует генезис перевода как подсистемы российской социально-функциональной системы. Выделяются три оси функционирования перевода в процессе европеизации России. Первая — это радикальное изменение доминирующего дискурса социальной системы: Россия начала учиться у Западной Европы. Перевод стал ключевым фактором в этом процессе. Это пример внутрисистемного значения перевода. Вторая ось — это опосредованное переводом самопроецирование России как системы на ее социально-системное окружение. Россия манипулировала своим окружением в немалой степени с помощью переводов на западноевропейские языки текстов с позитивной информацией о себе. Наконец, третья ось связана с интеграцией России в современную глобальную функциональную систему. Перевод сыграл опять-таки важнейшую роль в гармонизации функциональных подсистем российской социальной системы с подсистемами складывающейся мировой (тогда преимущественно европейской) мегасистемы. Вторая и третья оси демонстрируют внешнесистемные функции перевода.

SERGEY TYULENEV. What's Translation to the System and the System to It?

Keywords: translation, sociology, westernization of Russia, Niklas Luhmann, social systems theory

The article considers translation as a social function (sub) system in the terms of Luhmann's social systems theory and as the *conditio sine qua non* of Russia's modernization. Drawing upon Russian historical texts, the author shows

the genesis of translation as a subsystem of Russia's social function-based system. Three axes of translation's functioning in Russia's westernization are singled out. The first axis is the translation-facilitated radical change of the dominant discourse in social systemic communication — Russia began learning from Western Europe. This is an example of translation's intrasystemic workings. The second axis is Russia's translation-mediated self-projection into the social-systemic environment — Russia manipulated the environment by commissioning translation of positive information about itself. Finally, the third axis is Russia's integration into the modern global function system. Once again, translation has played a key role in making Russia's function subsystems «compatible» with and part and parcel of subsystems of the overall world mega-system. The second and third axes are extrasystemic involvements of translation.

АНДРЕЙ АЗОВ. К истории теории перевода в Советском Союзе. Проблема реалистического перевода

Ключевые слова: реалистический перевод, теория перевода, история перевода в России

В статье обсуждается один из ярких эпизодов в истории отечественного переводоведения, а именно появление понятия «реалистический перевод» и его использование в литературной борьбе. Рассматриваются содержание этого понятия, развернувшиеся вокруг него споры, а также изменения, происходившие с ним за недолгое время его существования. Прослеживается связь между изменениями в теории перевода, в результате которых возникло понятие реалистического перевода, и более масштабными изменениями в советской культуре.

ANDREY AZOV. Realistic translation in the history of Russian translation theory

Keywords: realistic translation, translation theory, history of translation in Russia

The article presents the once popular concept of realistic translation, which was formulated in Soviet Russia in the early 1950s and was used in the power struggle between different circles of translators. It shows the origin of this concept, presents the debate over it and analyzes the transformation it underwent during the brief period it was in use. The concept of realistic translation is analyzed within the context of greater changes which took place in Soviet culture.

ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА. Способы идеологической адаптации переводного текста: о переводе романа Э. Хемингуэя «По ком звонит колокол»

Ключевые слова: художественный перевод, идеология в переводе, адаптация, цензура

В статье рассматривается влияние на перевод факторов идеологического порядка. На примере перевода романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол», выполненного Н. Волжиной и Е. Калашниковой, анализируются различные средства, при помощи которых переводной текст адаптируется к определенным идеологическим требованиям. При этом к анализу привлекается несколько редакций перевода, созданных в разные годы (с 1941 по 1968). Ставится также вопрос о различных возможных стратегиях идеологической адаптации.

EKATERINA KUZNETSOVA. Methods of Ideological Adaptation of the Translated Text: On the Translation of Ernest Hemingway's «For Whom the Bell Tolls»

Keywords: literary translation, ideology in translation, adaptation, censorship

The article deals with the influence of ideological factors on the process of translation. On the example of Ernest Hemingway's «For Whom the Bell

Tolls» translated by N. Volzhina and E. Kalashnikova, the work examines various means of adapting the text to meet certain ideological requirements. Several versions of the translation made between 1941 and 1968 are analyzed. The article also looks into the variety of possible ideological adaptation strategies.

Вячеслав Данилов. У дверей гамбургского трибунала над переводчиком

Ключевые слова: аналитическая антропология, перевод, спецхран, интеллектуальные группы, скандалы

Статья посвящена анализу институциональных практик философской академии в России в 1990–2000-х годах, касавшихся производства переводов. Особое внимание уделяется широкой программе аналитической антропологии как способу легитимации таких практик. Высказывается тезис о том, что программа аналитической антропологии завела политику переводов в тупик. Проект аналитической антропологии связывается с логикой «спецхрана» — особым типом научной публичности, сформировавшимся в советской философии в 60-е годы XX века. Выдвигается гипотеза о непосредственной связи производства переводов и трансформациями в интеллектуальных группах. Дается также краткий обзор переводческих скандалов в новейшей истории русской философии.

VYACHESLAV DANILOV. In Front of the Doors of Hamburg Tribunal on Translator

Keywords: analytical anthropology, translation, archive, intellectual groups, quarrels

This article focuses on the wide program of analytical anthropology which has been dominating the translation of Western philosophy in the last 20 years in the «new» Russia. This program has brought the politics of translation to a dead end. The origins of the program of analytical anthropology are linked to the particular form the Russian public sphere in humanities took in the 60-s, that of the leaking archive. The author suggests translation productiveness depends on transformations amidst intellectual groups. A short overview of translation scandals in the recent history of philosophy is also given.

АВТОРЫ / AUTHORS

ИННА КУШНАРЕВА — переводчик, кинокритик, редактор журнала «Искусство кино». Публиковалась в изданиях: «Искусство кино», «Пушкин», «Синий диван», *The New Times*.

INNA KUSHNARYOVA is a translator, film critic and a contributing editor of *Iskusstvo Kino* magazine. Publications in *Iskusstvo kino*, *Pushkin*, *Siniy Divan*, *The New Times*. *E-mail*: inna.kushnaryova@gmail.com.

ХАННА АРЕНДТ (1906–1975) — один из наиболее влиятельных политических философов XX столетия. В 1933 г. эмигрировала из Германии в Париж, где прожила восемь лет, работая в различных организациях еврейских беженцев. В 1941 г. переехала в США. Вплоть до своей смерти работала в различных американских университетах. Наибольшую известность ей принесли две работы, оказавшие значительное влияние на академическое сообщество и более широкую аудиторию: «Истоки тоталитаризма» и «*Vita Activa*, или О деятельной жизни».

HANNA ARENDT (1906–1975) was one of the most influential political philosophers of the twentieth century. Born into a German-Jewish family, she was forced to leave Germany in 1933 and lived in Paris for the next eight years, working for a number of Jewish refugee organizations. In 1941 she immigrated to the United States, where she held a number of academic positions at various American universities until her death in 1975. She is best known for two works that had a major impact both within and outside the academic community: «*The Origins of Totalitarianism*» (1951) and «*The Human Condition*» (1958).

МАЙКЛ УОЛЦЕР — выдающийся американский политический философ и публичный интеллеktуал, заслуженный профессор Института углубленных исследований при Принстонском университете, соредактор журнала *Dissent*.

MICHAEL WALZER is a prominent American political philosopher and public intellectual, a professor emeritus at the Institute for Advanced Study (IAS) in Princeton, New Jersey, co-editor of *Dissent*. *E-mail*: walzer@ias.edu.

ЮН ЭЛЬСТЕР — норвежский социальный и политический теоретик, автор работ по философии общественных наук и теории рационального выбора; представитель «аналитического марксизма» и критик неоклассической экономической науки и теории общественного выбора.

JON ELSTER is a Norwegian social and political theorist who has authored works in the philosophy of social science and rational choice theory. He is also a notable proponent of Analytical Marxism, and a critic of neoclassical economics and public choice theory. *E-mail*: je70@columbia.edu.

ИБОН УРИБАРРИ — преподает в Университете Страны Басков, Витория-Гастейс, Испания.

IBON URIBARRI teaches at the University of the Basque Country, Vitoria-Gasteiz, Spain. *E-mail*: ibon.uribarri@ehu.es.

СЕРГЕЙ ТЮЛЕНЕВ — филолог, лингвист, переводовед, кандидат филологических наук (2000, МГУ им. М.В.Ломоносова) и PhD в переводоведении (Оттавский университет, 2009), работал в МГУ, РГГУ, Университете Макгилла (Монреаль), Кембриджском университете, London Metropolitan University; в настоящее время постдокторант Университета Свободной Провинции (University of the Free State, Блумфонтейн, ЮАР). Автор статей, нескольких словарей и книг по теории и практике преподавания английского языка и по переводоведению, в том числе «Теория перевода» (2004), «Applying Luhmann to Translation Studies: Translation in Society» (2011).

SERGEY TYULENEV holds a PhD in linguistics and is a former lecturer in translation and lexicography at the University of Moscow. In 2009 he completed a second PhD in translation studies at the University of Ottawa. He was a postdoctoral fellow at the University of Cambridge (UK). His scholarly interests include the history of translation in Russia and the sociology of translation, in particular, the application of Luhmann's social systems theory to translation. His major publications include «Stylistic Problems of Literary Translation» (2000); «Theory of Translation» (2004); «Applying Luhmann to Translation Studies» (2011). *E-mail*: sergeytnv@gmail.com.

АНДРЕЙ АЗОВ — филолог, переводчик, исследователь истории художественного перевода в Советском Союзе. Выпускник филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова (отделение русского языка и литературы). Автор ряда журнальных публикаций, в частности нескольких статей в переводческом журнале «Мосты».

ANDREY AZOV is a philologist, translator, researcher of history of literary translation in Soviet Russia. He graduated from the Moscow State University (faculty of philology, department of Russian language and Russian literature). Author of several journal publications, including articles in the Russian journal for translators «Mosty» («The Bridges»). *E-mail*: azang@mail.ru.

ЕКАТЕРИНА КУЗНЕЦОВА — филолог, аспирантка филологического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова.

Ekaterina Kuznetsova is a philologist, post-graduate student of Moscow State University. *E-mail*: catherine89@list.ru.

Вячеслав Данилов — старший преподаватель философского факультета МГУ имени М.В.Ломоносова, главный редактор сайта Liberty.ru, соавтор книг по эпистемологии, политической теории и новейшей политической истории России, включая «Наука и квазинаука» (2008), «Основы теории политических партий» (2008).

VYACHESLAV DANILOV is a lecturer at the Philosophy dep. MSU, editor in chief of Liberty.ru, co-author of several articles and books on epistemology, political theory and political history of new Russia, including «Science and Scientific Fraud» (2008), «Basics of Party Politics» (2008). *E-mail*: ivangog@mail.ru.

ЛОГОС В МАГАЗИНАХ ВАШЕГО ГОРОДА

МОСКВА

Киоски «Академия» в РАНХиГС, пр-т Вернадского, 82,
(499) 270-29-78, (495) 433-25-02 magazin@anx.ru

«Фаланстер», М. Гнезниковский пер., 12/27,
(495) 629-88-21 falanster@mail.ru

«Фаланстер на Винзаводе», 4-й Сыромятнический пер., 1, стр. 6,
(495) 926-30-42

«Книги» в кафе «Bilingua», Кривоколенный пер., 10 стр. 5, (495) 623-66-83

«Циолковский», Новая площадь, 3/4 (здание Политехнического музея)
подъезд 7Д, (495) 628-64-42 primuzee@gmail.com

Книжная лавка «У Кентавра» в РГГУ, ул. Чайнова, 15,
(499) 973-43-01 kentavr@rsuh.ru

«БукВышка», университетский книжный магазин (ВШЭ), ул. Мясницкая, 20,
(495) 628-29-60 books@hse.ru

«Гнозис» Турчанинов пер. д.4, тел. (499) 255-77-57

Киоск «Гнозис», МГУ, 1-й Гуманитарный корпус.

Киоск в Институте Философии РАН, ул. Волхонка, 14

«Dodo Magic Bookroom», ул. Таганская, д. 31/22, <http://dodospace.ru>

«Jabberwocky Magic Bookroom», ул. Покровка, 47/24, (495) 917-59-44

Газетно-журнальный киоск у метро «Чеховская», Страстной б-р, 4,
(495) 624-20-54

Оптовая торговля: издательство «Европа», Мал. Гнезниковский пер., д. 9,
стр. 3А, (495) 629-05-54 sales@europublish.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«Порядок слов», наб. р. Фонтанки, 15, (812) 310-50-36

«Все свободны», Мойка, 28, тел.: +7-911-977-4047

Магазин издательства СПбГУ, Менделеевская линия, д. 5,
(812) 328 96 91, 329-24-70

Оптовая торговля по Санкт-Петербургу: ИД «Гуманитарная академия»,
ул. Сестрорецкая, д. 8, (812) 430-99-21, 430-20-91

ВОРОНЕЖ

Книжный клуб «Петровский», ул. 20-летия ВЛКСМ, д. 54А, ТЦ «Петровский
пассаж», тел. (473) 233-19-28

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Приволжский филиал Государственного центра современного искусства,

Кремль, корпус 6 (здание Арсенала), (831) 423-57-41
РОСТОВ-НА-ДОНУ

Книжный салон «**Интеллектуал**», ул. Садовая, 55, Дворец творчества детей
и молодежи, фойе главного здания, (988) 565-14-35

ПЕРМЬ

«**Пиотровский**», ул. Луначарского, 51а, (342) 243-03-51

ЕКАТЕРИНБУРГ

«**Йозеф Кнехт**», ул. 8 Марта, 7 (вход с набережной), +7-909-015-79-68

«**Клейстер**», книжная лавка при филиале ГЦСИ, ул. Добролюбова, 19а,
(343) 380-36-96

КИЕВ

«**Архе**», Оранжевая ул., 3, +380-63-134-18-93

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ

<http://www.labyrinth.ru/>

<http://urait-book.ru/>

<http://urss.ru/>

<http://www.ozon.ru/>

<http://read.ru/>